

*Новый
Журнал*

126

*THE NEW
REVIEW*

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Аданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

Тридцать шестой год издания

РЕДАКЦИЯ:

Г. Андреев (Хомяков), Р. Гуль (главный редактор)
Секретарь редакции: Зоя Юрьева

NEW REVIEW, March 1977

Quarterly No. 126

2700 Broadway, New York, N.Y. 10025

Subscription Price \$20 — for one year

Publisher: New Review Inc.

Second Class Mail postage paid

at New York, N.Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>От редакции — Приветствие В.К. Буковскому</i>	5
<i>Последние стихи Д. Кленовского</i>	6
<i>О. Анстей — Рассказы</i>	10
<i>В. Перелешин — Стихи</i>	22
<i>П. Муравьев — Березовый гриб</i>	23
<i>Е. Росс — Стихи</i>	28
<i>И. Чиннов — Стихи</i>	29
<i>В. Енютин — Верка</i>	31
<i>А. Величковский — Стихи</i>	44
<i>Г. Табачник — У парома</i>	45
<i>О. Анстей — Стихи</i>	60
<i>Г. Андреев — Минометчики</i>	61
<i>Г. Глинка — Стихи</i>	79
<i>Б. Орлов — Стихи</i>	80
<i>В. Ильин — Судьба людей элиты в нашу эпоху</i>	81
<i>Ю. Иваск — Стихи</i>	87
<i>М. Крепс — Стихи</i>	88
<i>Л. Ржевский — О поэзии Ив. Елагина</i>	89
<i>Ю. Иофе — Стихи</i>	108
<i>Дж. Боулт — Русский конструктивизм и художественное оформление сцены</i>	109
<i>О. Ильинский — Стихи</i>	127
<i>В. Тетерятников — Старообрядцы — создатели русского народного искусства</i>	128

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>А. Бахрах — "По памяти, по записям". М. Алданов</i>	146
<i>С. Левицкий — Воспоминания о Лосском</i>	171
<i>Н. Ульянов — С. Ф. Платонов</i>	188

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>A. Авторханов — Глобальная стратегия Кремля</i>	198
<i>А. Федосеев — Советский уровень жизни через полвека социализма</i>	218
<i>Ф. Силницкий — Как происходило порабощение</i>	238
<i>Игумен Геннадий — Возможен ли христианский социализм?</i>	250
<i>Г. Хабе — Интеллектуалы и власть</i>	263
<i>В. Вейдле — Родная чужбина</i>	266
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>Р. Гуль — М. В. Вишняк</i>	273
<i>И. Гапанович — Д. В. Гришин</i>	275
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: <i>Г. Кочевицкий — Образное ассоциативное мышление в музыке. Р. Плетнев — О сопротивлении злу. От редакции</i>	278
БИБЛИОГРАФИЯ: <i>В. Зубов — Л. Чуковская. Записки об А. Ахматовой. Б. Прянишников — Дж. Эпштейн. Операция килемания. О. Ильинский — О. Анстей. На юру. С. Женук — Р. Вурмбранд. Был ли Маркс сатанистом?. С. Кульдинов — А. Бадмаев. Самоучитель старокалмыцкой письменности. Х. Гамбург — Ш. Черниковский. Стихи и идиллии. Б. Нарциссов — В. Робсман. Персидские новеллы. Р. Гель — А. Зиновьев. Зияющие высоты. Р. Г. — И. Зильберберг. Необходимый разговор с Солженицыным. Е. Климов — Н. А. Дмитриева. Краткая история искусств</i>	283

*Printed in U.S.A., by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011*

ПРИВЕТСТВИЕ В.К. БУКОВСКОМУ

Как все русские люди зарубежом мы горячо приветствуем приезд в свободный мир Владимира Константиновича Буковского, бесстрашного и несломимого человека, борющегося долгие годы за свободу людей в Советской России. Мы глубоко благодарны генералу Пиночету за освобождение Владимира Константиновича. Мы думаем, что именно В. К. Буковский достоин получить Нобелевскую премию мира 1977 года. И мы надеемся, что он ее получит.

РЕДАКЦИЯ

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ ДМ. КЛЕНОВСКОГО

*

Мы постоянно здесь живем
В каком-то трудном разочтении:
То с тайным спутником вдвоем,
То в пустоте, в уединеньи.

Мы здесь с нездешним наравне,
Здесь вперемешку прах и чудо.
Вот даже этот вздох во сне:
Ведь он и здешний и оттуда!

1976.

*

О том, что я уже дошел,
Что вот и там тебя целую,
Что мне там даже хорошо —
Сказать оттуда не смогу я.

Вот почему уже сейчас
За то что верю в это чудо,
Разрешено мне в первый раз
Тебе сказать о том отсюда.

1976.

26 декабря 1976 г. в Западной Германии скончался выдающийся поэт русского Зарубежья Дмитрий Иосифович Крачковский, известный под псевдонимом Дм. Кленовский. Мы получили эти стихотворения от его жены Маргариты Дмитриевны. Это — последние стихи Дм. Кленовского, написанные им незадолго до смерти. В своем письме М.Д. пишет, что Дм. Иос. хотел, чтобы эти его стихи были напечатаны в "Новом Журнале". Мы очень благодарны М.Д. за присылку последних стихов Дмитрия Иосифовича. РЕД.

*

Ты не забудешь никогда
 Того, что было,
Того, как радостно тогда
 Меня любила!

Пускай придет в свой должный срок,
 Сменяя лето,
Сухой осенний холодок,
 Прощальный этот —

Ты лучшее в своей судьбе
 Не позабудешь,
Ты задремавшее в тебе
 Порой разбудишь.

И зная, что и даль ясна
 И путь не страшен,
Захочешь ты вернуться на
 Цитеру нашу.

Ты ступишь на ее песок
 Уже не робко,
Легко отыщешь между строк
 В бывлое тропку.

И платье сбросив на бегу,
 Уже нагая,
Очнешься там, где берегу
 И жду тебя я.

Где жив еще и посейчас
 Наш летний вечер,
Где я тебя, как в первый раз
 Губами встречу.

1976.

МОЛЧАНЬЕ

Помолчать мне что-то захотелось
На моем любимом старом пне,
Где порою так легко мне пелось
А сегодня — не поется мне.

Помолчать? Но втайне кто не знает,
Что молчанье тоже говорит,
Что оно карает и прощает,
Позволяет, терпит и сулит.

Пусть в молчанье дремлет послушанье,
Но обида тоже в нем жива.
Вероятно где-то на молчанье
Пишут музыку, как на слова.

Может статься, что уже когда-то,
Кто-то мне незримым другом стал:
На мое молчание сонату
(Неплохую даже) написал.

И не здесь, а там, куда я свыше
Вероятно, доступ получу,
На концертной, меж других, афише
Я ее название прочту.

И войдя в обещанное зданье
На свидание с самим собой,
Я услышу там мое молчанье.
Самый сокровенный опус мой.

1976

AUFFORDERUNG ZUM GLUCK

Вот опять стоишь ты на подножке
Поезда, что может отойти.
Разберись же хоть сейчас немножко
В остановках на твоем пути!

Сколько было лишних и напрасных,
Но ведь сколько было и таких,
Что могли бы даже стать прекрасны
Если б лучше ты взгляделась в них.

Подожди, помедли хоть минуту!
Главное, в глаза мои взгляни,
В те, куда все чаще почему-то
Ты заглядывала в эти дни!

Спрыгни же с подножки посмелее
Хорошо бы — прямо мне на грудь!
И пускай твой поезд все быстрее
Без тебя летит куда-нибудь.

Дм. Кленовский, 1976

ФОНАРИК

I

Таля спала одетая, неловко подвернув под себя ногу, подмостиив под голову вместо подушки старенькую вязаную кофточку. Спала так неподвижно и беззвучно, что казалась свертком тряпья, брошенным на диванчик. Таким крепким, каменным сном спят только после смерти долго болевшего близкого человека. Таля чутьем знала, что в первый раз за много недель ей не надо спать чутко, в пол-глаза; не надо привычным движением хватать лежащую наготове у изголовья кислородную подушку.

Но и еще одно знала, чувствовала даже в своем каменно-крепком сне: что это ее последняя ночь с отцом. Потому ее спящая рука инстинктивно-цепко держалась за край пикейного покрывала, свисавшего с соседней кровати, где, с выражением бесконечного облегчения на разгладившемся лице, с руками, спокойно уложенными в глубокой впадине живота, лежал Алексей Ильич.

А непрочная ночь раннего лета шла на убыль. Полурастворенную балконную дверь качнул предрассветный ветер, и первыми завозились и хрюпали грачи на двух серебристых тополях под балконом. Им всегда на рассвете (когда воробыи еще спали) надо было куда-то по делам к Днепру.

Ночь быстро серела, и горевшая над столом вместо ночника матовая синяя лампочка была уже почти не видна. В смежной комнате — нелепом восьмиугольном пятиоконном "фонарике" — мутно поблескивали стекла буфета. Вокруг попрежнему не было ни звука, ни шороха. Два спящих тела не двигались. Одни вещи не спали. У вешей был осмысленный, бодрствующий вид.

Шприц с пантапоном. Полотенце. Рулон ваты. Талина раскрытая сумочка с полуувалившимися оттуда медяками, карандашами и рецептами. Синий том писем Блока, который еще вчера утром читал Алексей Ильич — все эти странные маленькие Лары как будто насторожились и прислушались. Но все было тихо. Вещи были на страже и охраняли сон хозяев.

Вещи не боспокоились. Они знали: скоро, очень скоро Таля вскочит, как подброшенная пружиной, и побежит по городу. Дела у нее спешные, — тяжелые, грустные дела. А сделать их кроме нее больше некому. Умные вещи знали: свидетельство от врача... Справка от домоуправления... Контора Загса... Похоронное бюро... Гроб... Место на кладбище... И всюду надо поспеть, и все одной. А посидеть и поплакать некогда. Пусть пока поспит. Умные вещи притихли, — не звякнут, не скрипнут: сторожат.

2

Тоненькие худосочные свечи, оплыv, превратились в бесформенные комочки: отец Александр, как всегда, служил долго. Он сам не замечал, как затягивал службы. Это выходило у него нечаянно, — просто потому, что то напряженное молитвенное состояние, которое бывает у священников обычно во время служения в церкви, — у отца Александра давно перелилось через края этих временных и пространственных рамок, и заполнило всю жизнь. Светясь, спотыкаясь и радостно всхлипывая, он будто не служил, а исходил, истекал словами службы, повторяя одно и то же, наизусть поминая всех умерших, каких он когда-либо отпевал, служа внешне неблаголепно, невнятно, восторженно-прищепетывающей скороговоркой. На людей, не разглядевших в отце Александре человека огромной внутренней силы и чистоты, он производил впечатление смешное.

Сухопарый, седоусый Николай Родионович, сослуживец Талиного отца, старый скептик, ницшеанец, в пику правительству уважавший религию, стоял как на часах, с усилием выпрямив туговатую спину, не крестясь.

Таля стояла как-то отупев, переминаясь с ноги на ногу, как будто не понимая слов панихиды. Вдруг в эту тупую тяжесть ворвалась резкая, как бритвой полоснувшая сознание, спазма

боли. Таля дернулась, смяла теплый огарок в руке, и, помотав от боли головой, стала внимательно рассматривать лицо псаломщицы — "кривой Нины", изуродованное нервным параличом, перекосившим ей рот и сплюшившим глаз. Нина, прижимая к себе, как младенца, черешневую палку и вытертую бархатную шапочку отца Александра, тянула верным жиценьким сопрано:

"По-окой,
Спа-се наш,
С пра-аведными
Ра-ба Твоего..."

И рефренно, почти плясовым напевом:
"Ра-а-ба-а Тво-е-го..."

Таля, проводив отца Александра, подбирала щеткой белые лепестки пиона, осыпавшегося у изголовья гроба. Николай Родионыч, надев на парадный пиджак вытащенные из кармана синие ситцевые нарухватники, аккуратно и сурово, как все, что он делал, вырезывал перочинным ножиком крест на крышке стандартного казенного гроба. Из прихожей донесся тоненький кислый звук звонка. Таля, не спеша, пошла было открывать, но ей навстречу по коридору уже двинулись шаги и голоса. "Вот сюда. Две комнаты у них. И с балконом..." — услышала Таля. Соседка Томочки, в низко вырезанном пестром сарафане, распиравшем ее упругие телеса, кого-то вела со скромным достоинством гида.

— Таличка, к вам из домоуправления! — объявила она, как будто сообщая очень радостную новость.

Близорукая Таля ожидала увидеть за Томочкиной спиной знакомую плутоватую, но добродушную физиономию управдома Виленского. Нет: из полутьмы коридора вышло существо в юбке. Эту коренастую фигуру в белом полотняном костюме *tailleur*, немилосердно обтягивавшем твердый зад, в мягких лосевых туфлях, с дорогим двойным, о четырех замках, портфелем в руке, Таля видела в первый раз.

— Это вы — Буслаева? Вас мне как раз и нужно.

Полные бледные губы, холодные серые глаза с тяжелыми веками — все дышало какой-то непобедимой уверенностью в себе. С апломбом переступали короткие увесистые ноги, с аплом-

бом размахивали на ходу холеные, нерабочие руки. Женщина смотрела не на Талю, а в карманный блокнот с какими-то заметками.

— Да, я Буслаева. Могу я спросить, кто вы такая? — сказала, опомнившись, Таля.

— Я должна осмотреть площадь. У вас кто-то умер, — не отвечая на вопрос, как будто вяло, небрежно, нараспев, но с тем же апломбом проговорила незнакомка, а Томочка благоговейно прошелестела: "Новая председательница домкома"...

Женщина по-хозяйски толкнула дверь, (Томочка деликатно осталась в коридоре), вошла в "фонарик", где на круглом обеденном столе стояла неубранная посуда, и, мимоходом, но зорко оглядевшись, произнесла, более в утвердительной, чем в вопросительной форме: "Это проходная". Затем решительно устремилась во вторую комнату, но, увидев открытый гроб, немного осеклась и остановилась на пороге. Однако Таля почувствовала, что остановиться женщину заставило не смущение, не естественный пиетет перед покойником, а чувство животного физического страха, а может быть и брезгливости.

— Я вас не понимаю, — оправившись, с прежним апломбом произнесла женщина: — вы зарегистрировали смерть утром семнадцатого, а сегодня восемнадцатое. Так я спрашиваю, зачем держать *это* в квартире?

Она сказала это таким тоном, как будто речь шла о ведре с помоями или об испортившейся провизии.

— У нас хоронят на третий день, — сухо ответила Таля. И сейчас же пожалела, что так ответила: такой недобрый огонек вспыхнул в глазах ее собеседницы. Своим лаконическим ответом Таля словно провела невытравимую черту религиозного и идеологического отмежевания.

— Он где-нибудь работал? — спросила женщина, указав пальцем на гроб. Теперь в ее тоне звучало откровенное презрение. Человек был пожилой, и — судя по обстановке — явно из бывших; худенькая девушка (согласно заметке в блокноте) работала в библиотеке: значит, церемониться было нечего.

— В Службе Погоды, на Софийской, — выдавила из себя Таля.

— В какой службе? Ничего не понимаю.

— На метеорологической станции, если это вам понятнее, — сказал Николай Родионыч.

— А ... — посетительница, видимо, совсем успокоилась. Учреждение тоже было не из важных, и, стало-быть, можно было не стесняться.

-- Лицевой счет на эту комнату на его имя? — Палец опять ткнул по направлению гроба.

-- А вы не можете выбрать другого времени для этого разговора? — вертелось на языке у Тали, но дрессировка лет работы в советском учреждении взяла свое. Она сдержалась и ответила:

— Обе комнаты были на имя отца. Но та, проходная — почти что не комната: там пять окон, нет печи, нет дымохода. Зимой там нельзя спать, мы там обедали только. Я, конечно, переведу вот эту комнату на свое имя.

— Это мы посмотрим. Получается крупный излишек площади.

В блокноте появилась жирная птичка химическим карандашом. Затем посетительница, удостоив Талю небрежного "пока", удалилась. От тяжелой грузной походки скрипел пол; раскачивался набитый внушительный портфель; уверенно и равномерно вилял влево и вправо полотняный зад.

Талия как-то всей кожей почувствовала, как этой женщине вкусно жить: все просто, все легко, все на местах и все удобно, как удобны сделанные на заказ лосевые туфли.

3

Трамвай, вплывавший глубже и глубже под своды зеленосерых майских городских сумерок, — был веселый, нарядный, праздничный трамвай, потому что он шел от кладбища. В нем трудно было повернуться от колючих белых букетов боярышника и больших бантов на детских головах.

"Меньше всего на кладбищах хоронят", — подумалось Тале. "Гораздо больше там устраивают пикники, назначают свидания, едят, пьют и целуются".

Трамвай плыл, мелодически-глухо дребезжа на стыках, сквозь уже напоенную электрическим светом листву.

"Но как они все быстро говорят, и смеются так громко..."

Им, очевидно, не трудно ворочать языком, вертеть глазами и шеей... А мне очень трудно. Хорошо, что мне уже не надо разговаривать. Можно молчать, молчать..." Таля вспомнила, как она, тихая и подавленная все эти дни, вдруг не выдержала и раскрычалась на Томочку, и после того как-то сразу устала еще больше. Деятельная Томочка сварила по собственной инициативе заупокойную рисовую кутью, утыкала ее изюминками, и настаивала, чтобы эту кутью торжественно несли во главе похоронного шествия. Таля сама не узнала своего голоса, когда резко оборвала Томочку, сказав, что ничего возмутительнее этого себе не представляет: чтобы перед покойником не несли креста (так как сослуживцы Алексея Ильича боялись идти по городу с религиозной процессией), — а ташили бы горшок с кашей!

"Теперь молчать... Прийти и лечь, не зажигая... Нет, зажечь лампу, только не верхнюю, а совушку на письменном столе, и лечь на диванчик. Балкон открыт, и город шуршит внизу. А у нас на башенке тихо... У нас с папой. У нас дома. Дома папа будет близко около меня, я знаю. Ведь не там же папа, не в яме, где корни, обрубленные заступом, и земля комками..."

К своей высокой одинокой башенке Таля с отцом привязались давно и крепко. Люблили ее стены, — холодные, наружные, но зато не пропускавшие ничьих назойливых голосов, и сплошь защищенные в мудрое живое тепло открытых полок с книгами. Люблили маленький балкон, о каменные перила которого терлась верхушка тополя: балкон, где стояли удочки Алексея Ильича, и где в душные летние ночи Таля по-царски спала, вынося тюфячок и подушку. Люблили, несмотря на дурацкий неотапливаемый фонарик, и на то, что часто приходилось таскать ведра воды из нижних этажей, когда напор воды не доставал до верхних...

Таля едва не проехала Сенного базара. Соскочила, как-то связанно, точно кукла на шарнирах, двигая руками и ногами. Тут опять можно было не думать, а предоставить этим странным, точно туго накрахмаленным ногам нести себя по нагретым за день кирпичным тротуарам, где знакома каждая выбоина, — и наконец — наконец — вправо и почти по обрыву — вниз — туда,

где, лиственным водопадом втекая в Бульвар, низвергается круча Нестеровской...

4

В окне и балконной двери был свет. Таля слишком устала, чтобы придумывать и угадывать, кто мог к ней прийти. С ее службы кто-нибудь... Она запыхалась, слишком быстро одолев четыре лестницы. Уже в коридоре ее поразил незнакомый запах. Густо пахло жареным луком и борщом на старом сале. Но пахло не из общей кухни, а как будто из их комнат. Кроме того, резко пахло мастикой и чем-то вроде смазных сапог. Навстречу Тале по коридору шла очень красная, возбужденная как на бое быков, Томочка.

— Таличка, вы знаете что? Вы только не волнуйтесь. Ничего нельзя было сделать, — у них даже два ордера. Один от жилотдела, а другой — от горпаркткома. Виленский вас хотел отстоять, но как второй ордер увидал — так тут уж никаких.

Самое странное было то, что Таля сразу поняла, в чем дело, и даже не очень удивилась. Она восприняла это, как прямое следствие недоброго огонька, проскользнувшего в глазах у той, полотняной. Безшибочнее же всего она поняла то, что это было совершенно непоправимо. Протестовать? Ее местком напишет бумажку? Кого она испугает, эта бумажка? Только смешной, унизительный вид. Все-таки она спросила, больше у себя, чем у Томы:

— Как же это так? Без меня?

— Ну въехали, ну что ты им скажешь? — горячо сказала Томочка. — Я вам скажу — у вас крупный ляпсус (Томочка любила это слово), что вы двери никогда не запираете. Если бы у вас висел замок, — они бы на такое дело не пошли без вас, они бы за это отвечали. А тут пожалуйте, не заперто. Я, что могла, сделала: четыре ваших полки помогла перетащить, а три еще там остались, они говорят — завтра. Но они говорят, чтоб вы скорей в фонарике вещи расставили так, чтоб проход был свободный, а то им проходить трудно, а они еще завтра зеркальный шкаф привезут.

— Фонарик? Причем фонарик? Ах да, это я в фонарике теперь буду жить... А как без печки зимой?

— А вы хлопочите, Таля! Надо ловчиться! За вас ни у кого голова не будет болеть. Вы можете даже в суд подать, это ваше право. Смешно! Определенно можете подать. А в крайнем случае можно времянку поставить и вывести в окно. Знаете, как она греет? Мирово! А что тесно, так что вам — танцкласс открывать? Книги попродаивать можно, большое дело!...

Таля вошла в фонарик. Томочка за ней по пятам. Там был полумрак, горела слепая синяя лампочка, но свет более яркой лампы из бывшей буслаевской комнаты слабо проникал через стеклянный верх двери. Двигаться здесь можно было, только перелезая через горы сваленных вещей, или ползком по столам и кровати. Кресло и два стула были поставлены на обеденный стол. Из их прежней комнаты доносился ровный гуд примуса и хнычущий голос: "Виктор, заведи-и! Виктор, заведи-и!".

Что-то звякнуло, зашипело, и гнусавый похабный патефонный голос невнятно затянул:

— А-х-о-о-о, а-х-о-о-о, о-х-о-х...

И затем грянул, как сорвавшись с цепи:

"На деревне заиграли провода!

Мы такого не видали никогда!"

И псевдо-русский хор играво подхватил припев.

— А лампочку они не отдали? — вспомнила Таля. — Здесь вчера перегорела, а я забыла купить, не до того было...

— Нет, они свою вкрутили, но только вашу нечаянно разбили, когда вывинчивали! — объяснила разгоряченная событиями Томочка.

Дверь распахнулась, и в нее вошла слепящая желтая полоса света. На пороге остановилась женщина лет сорока, не толстая, но вся какая-то обвислая, с полотенцем в руке. Из-за нее выглядывали два мальчика: один лет одиннадцати, другой маленький, лет пяти. Томочку позвал муж, и она — не без сожаления — ушла.

— Здравствуйте, — спокойно сказала женщина. — Вы конечно извините, — мы понемножку устраиваемся. А у вас папа умер? Он был больной?

— Как же это вы так... На живого человека въехали? — только и нашлась сказать Таля.

— А мы хоть и на мертвого въедем, мадам! — добродушно сказала женщина.

Ярко освещенная комната за ее плечами была почти пуста. Кроме трех буслаевских книжных полок, там стояла только очень большая, новая, сверкающая шарами и перекладинами английская кровать, две сложенные раскидочки, прислоненные к стене, да безобразный канцелярский бурый с тремя ящиками стол, на котором гудел примус. Носильные вещи были пристроены просто на гвозди на стене, и завешены чистой простыней. Паркет был покрыт свежим густым слоем красной мастики.

Постояв руки в бока, женщина молча вышла, прикрыв за собой дверь.

— Ты куда дела лисипед? Ты куда дела мой лисипед? — плаксиво кричал детский голос.

— На балкон занесла, не командуй! — отвечала женщина.

Таля присела на незаваленный кончик кровати. Ее глаза привыкли к полутьме, и она даже разглядела на столе тарелку со знаменитой кутьей. В кутье торчала ложечка. Таля целый день ничего не ела, и теперь попыталась приняться за кутью. Но ее замутило от приторного вкуса, и ей показалось, что от куты исходит сладковатый еле заметный запах тления, напоминающий запах жасмина. Она положила ложку.

Вот сейчас она чего-то не могла понять. Что-то спуталось у нее в голове. Она не могла поверить (хотя только что увидела своими глазами и кровать с шарами, и бурый стол с примусом), что там, за дверью — не их спокойная милая комната с умным беспорядком письменного стола, с потертым текинским ковром, с запахом отцовского табака и легким запахом пыли от старой мебели... Комната, в которой осталось почти осязательное присутствие отца, и в которой Таля хотела свято уберечь это присутствие.

— Если такая хорошая погода будет, дождей не будет, — так может долго не сопреть в земле... — отчетливо донесся голос женщины.

— А если дождь пойдет? Мама! А если дождь пойдет? — приставал голос старшего мальчика.

- Тогда обязательно сопреет.
- Это они о папе! Господи! — с ужасом догадалась Таля. Дверь отворилась. Вошли оба мальчика. Старший нес тарелочку, на которой лежали три больших вареника.
- Мама сказала, что вы должны вашего папу помянуть.
- А младший прибавил:
- Приятного аппетита.

УТРОМ

Утро в огромной серой казарме, на каменном необозримом внутреннем дворе, на тощих зеленых бугорках возле проволочной ограды. Утро очень яркое и очень голубое.

Вся казарма шуршит и копошится людом, разноязыким, разномордым, разнолохмотным. Хлопает рваным стираным бельем, лязгает жестянками с горячим кофейным пойлом. Детский визг, бабий визг, шлепанье мыльных помоев. Осиные гнезда прачечных гудом гудят. Вообще больше всего видно и слышно бабье. Его больше, как всегда и всюду, и мужчины както теряются в море бабья. Только молодые поляки-полицейские у пропускной будки резкими тенорами переговариваются, напевают:

- Еще немец варшовику
Чистиць буты мусит...
- Давай, давай!
- Это они выпускают едущих в город, проверяя, не назначены ли эти люди в наряд.
- Шаркают, шаркают ноги по казарменному асфальту. В город, в город! Обменять, спекульнуть, разузнать, хлопотать, найти земляков...
- Давай, давай!

В закоулке тюремно-серого двора, на ступеньках сидит существо. Оно тоже женского пола, но остальная масса бабья —

голосистая, прыткая, а существо торчит на ступеньках неподвижно, как мешок с трухой. Странное оно, если к нему присмотреться. Оно, вероятно, молодое: да, может быть ему и двадцати нет. Но ни свежести молодой, ни волевой бодрости на нем нет ни следа. Как будто его пососали, объели и бросили.

Оно сидит слегка угнувшись, натянув на коленях слишком короткое платье. Нельзя угадать, думает оно или сидит просто так. Вероятно мыслей у него нету. У него много чего нету. Нету передних зубов: выбил "баур", у которого существо работало на втором году войны. Нету большого пальца на руке — вместо него тупая кульяпка: отхватило осколком во время налета. Нету в сущности языка: в Германию на работы забрали девченкой, свой язык забыла, чужие понапутала, получилась украинско-польско-немецкая тюрь.

Волосы у существа нечистые и жирные, будто их полили постным маслом. Оно бы и радо помыть голову, но стесняется ходить в общую душевую, когда там бурно льется горячая вода и, следовательно, много народа; а если прийти потихоньку вечером, то воды уже нет. Стесняется же существо с тех пор, как у него по телу пошла сыпь, а сыпь пошла с тех пор, как толстый пан Казимиж два раза ночью лазал к ней на верхний ярус лагерной деревянной кровати. А крикнуть она боялась, потому что она боится всех шестнадцати человек своей казарменной комнаты, а особенно женщин. Они ловкие, быстро болтают языком, быстро подкидывают горячую сковородку с блином, переругиваются, перекрикивая шипенье сковороды. Только с ней они никогда не говорят, как с пустым местом.

Топ-топ... Кто-то еще поднимается на ступеньки. Обглоданное существо смотрит робко сбоку. Нет, нечего бояться, это идет что-то совсем маленькое. Зато как уверенно оно идет! При каждом шаге вздрагивает хохолок и бант на голове, упитанные ножки ступают твердо. В руках оно несет три жестяные баночки и еще какую-то коробку, и хоть сопит, но не роняет их, пока не долезает до верхней четвертой ступеньки. Оно внимательно и вежливо смотрит на обглоданное существо и говорит очень раздельно и с правильными интонациями:

— Здравствуйте! Вы тоже хотите тут играть? Я тут буду строить дом.

Обглоданное существо не отвечает. Оно тоже смотрит на маленькое существо, и на его лице медленно-медленно пропастиает подергиванье, вроде ряби на луже. Это вероятно очень мучительный процесс: белесые брови вздрагивают и даже какая-то краска приливает к щекам. Жадно смотрит оно и с недоумением: как странно! Совсем рядом — другой, совершенно восхитительный мир с хохликом, и пахнет особенно — чистой рубашонкой и крепким материнским уходом. А тронуть его нельзя, — ведь другой мир, недосыгаемый. А если заговорить?

— А где мутти пошла? — спрашивает обглоданная и сама пугается своего голоса.

— Мама пошла в блок "Це", — уверенно отвечает маленькое существо.

— По паек? — осмеливается подсказать старшая.

— Не по паек, а за-пай-ком, — поправляет четырехлетняя.

— А то цо? показывает обглоданная на баночки.

— Это такие банки, но это тоже все равно что дом. Видите — эта банка наставляется, а эта приставляется.

Созданьице четко и вкусно выговаривает приставки и окончания; кто-то заботливый все это аккуратно на нем и в нем оправил, застегнул, пригладил, так же как хохолок и рубашонку.

А старшая совсем осмелела. Созданьице близко, и слышно, как волосики на затылке пахнут парным молоком. Может быть оно... посидит у нее на коленях?

Она протягивает руку с кульяпкой и жадно, с глубокой нутряной тоской говорит на своем кульяпом обглоданном языке:

— Ком... ком, ходзь ту... дай руку... ренчку!

Маленькое существо стоит молча довольно долго. Потом вежливо говорит:

— Мама сказала не давать ручку никаким человекам.

И, желая смягчить отказ, прибавляет:

— Но если вы хотите, я эту коробку вам дам на подарение насовсем.

Ольга Анстей

ДРУЖБА

(Силлабические стихи по поводу
картины М. К. Чюрлёниса)

"Пусть себе руки и губы,
и сердце сожгу." Марина Цветаева.

Сжалось в детский мяч и в руки мои упало
Чье-то солнце, раскаленное добела.
Бедное; Было ему, наверное, мало
Подручным планетам розданного тепла.

Руки — измазаны глиной — шершавы, грубы:
Сожгу шутя, обогрею их заодно.
Но за руками к мячику тянутся губы:
Им уже больно, а сердцу смотреть смешно.

Оно смеется, но и завидует чести:
Руки впали в солнце, губам впасть нипочем.
Не завидуй, сердце! Все вы будете вместе
Дымком красноватым, золотистым лучем.

ВВЕРХ

Лететь? Конечно, не взлетать
с нагой скалы орлиным взмахом,
а долго плакать и роптать,
плеваться и давиться прахом.

Из потно-плотного тепла
быть вытесняемым в трезвоны
и двигаться, давя тела,
утробы, чресла, эмбрионы!

Валерий Перелешин.

БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ

- Перестань, мама!
- Да я ничего. Просто глаза устали. Ну, как, болит еще?
- Отпустило как будто... Ты пойди, приляг.
- Не хочется.
- Все равно приляг! Кстати, кто звонил вечером?
- Вересов.
- Чего это он?
- Так, справлялся о тебе.
- Это он насчет библиотеки. Ты не жди, продай ему!
- Хорошо, Алеша, об этом после.
- К чему откладывать? Потом у тебя будет довольно и других забот.
- Алеша...
- Что ты все "Алеша" да "Алеша"? И не вздыхай без конца!
- Хорошо, Алеша, я только...
- А ты без "только"! Кто-нибудь завтра приезжает?
- Лавровские хотели заглянуть. И тетя Вера.
- А она зачем? Ей полтора часа езды! И, вообще, все это похоже на комедию: самим за восемьдесят, а смотрят так, будто им суждено бессмертие.
- Они тебя любят. Не морщься, пожалуйста, я знаю.
- Ладно... Доктор сказал что-нибудь насчет больницы?
- Нет.
- Я сам скажу, когда придет время. И не спорь, я так хочу.
- Там тебе будет беспокойно.
- Я за покоем не гонюсь... И не три себе глаза!

— Ах, Алеша, какой ты... Может быть, хочешь посидеть у окна?

— Не хочется.

— Или почитать тебе, как вчера?

— Тоже не хочется... Впрочем...прочти еще раз сказку, что Пер Гюнт придумал для матери. Книжка — вот она. Там салфетка заложена.

— Сейчас, сейчас... Вот здесь...вижу... Ты слушаешь?

— Да, да!

— Вот... где это...да... "Так слушай: в Сан Морио задал король гостям и придворным пир званый горою... Ты к саням назад прислонися спиной! Мой конь вороной донесет нас стрелою"...

— Мама... а ведь я это знаю наизусть.

— Да, милый.

— Ты помнишь, старая Озэ умирает и Пэр везет ее в рай. И еще спорит с привратником: "Гостей не являлся в ваши селенья, достойнее, чем моя старая мать"... Помнишь? Ты мне это вчера читала.

— Не помню.

— Как же так, вчера читала, а не помнишь? Чего ты опять вздыхаешь?

— Я не вздыхаю...

— Ну вот, разве я не вижу? Чудаки! Веруют, других уверяют, а когда это приходит, все прахом. Эх!

— Алеша...

— Да, мама.

— Я хотела поговорить с тобой. Только не сердись...

— Опять насчет священника?

— Да...

— Я ж тебе ответил.

— Алеша... пожалуйста!

— Ах, мама, это становится скучно!.. Перестань плакать... И не целуй мне руки! Ну, ладно, согласен, для тебя согласен.

— Я не хочу... для меня... Я хочу, чтобы ты это сделал для себя...

— Странно! Всегда внушала, что для других труднее и выше, а теперь на попятную!... Ну, хорошо, хорошо — для себя.

Только не плачь.

— Я не плачу... Спасибо, сынок... И ты не думай, я знаяла слушаи, когда это творило чудеса. Не смеяся, Алеша!

— Да, как же! Березовый гриб для тебя тоже чудо... Ты, надеюсь, не беспокоила его письмами? Что? Все-таки написала? И что же, не ответил?

— Нет.

— Еще бы! В романе гриб к mestу, а так ни к чему... Да, воображаю, как ему надоедают с этим грибом. А человек занятой, да и что отвечать-то? Брось!

— Может быть, еще ответит.

— Оставь, говорю!... Когда ты написала?

— Месяца три тому назад, а потом еще. Да ты не сердись! Он, говорят, добрый...

— Довольно об этом! Скажи, Нина звонит?

— На днях звонила... Ах, Алеша, и почему ты на ней не женился?

— Ну, знаешь, теперь жалеть об этом поздно.

— Она так несчастна в браке.

— Надо было раньше думать. И не качай головой!

— Ты черствый, Алеша, ведь она это из-за тебя сделала!

— Перестань, мама! Мне, ведь тоже не весело... Скажи лучше, как там, на дворе?

— Потеплело, Алеша.

— Да, октябрь... бывает... Октябрь, ноябрь, декабрь...

— Что ты шепчешь?

— Это я так... А скажи, когда ты ему... ну...вторично написала?

— Месяц будет.

— Месяц...да... Я такой гриб в саду у Хмельницких видел. А, да Бог с ним! Ты в моих страховках разобralась?

— Кажется, да. Сергей Николаевич обещал помочь.

— Много он поможет! Он по-английски ни в зуб ногой. Ты лучше сама прочти что я написал.

— Прочту, дорогой.

— Прочту! Ты не откладывай, прочти сейчас... Да перестань же, Бога ради! Мне твои слезы действуют на нервы!

— Не буду, Алеша, право не буду...

- Шла бы спать. Половина второго...
- Успею... А ты поспал малость?
- Поспал, а потом и заболело. И еще какая-то дрянь приснилась. И знаешь что?
- Что, Алешенька?
- Украли банку жидкого мыла, в магазине, вот что!
- Как же ты это?
- Не знаю. Я же говорю — вздор! Зачем мне жидкое мыло?!
- Надо будет Марью Николаевну спросить, она в снах толк знает.
- Она дура.
- Она умная, Алешенька.
- Значит, ловко это скрывает... фу, опять схватило!.. И как душно. Проклятый климат! Как в водяном гробу... Чего ты все в пол смотришь?
- Что? Я ничего... Может быть, хочешь газеты просмотреть? Там уж за неделю собралось. Или книжку последнюю?
- Не могу. Все там "мужички с ноготки", Платоны Каратаевы какие-то, или наоборот. И все рассуждают, рассуждают. Надоели! И это дурацкое кресло надоело!.. Вот, опять...
- Родной ты мой... хочешь, дам тебе таблетку?
- Таблетки утром, сейчас не помогут... Может быть, впрыснуть, мама?
- Так я, ведь, в одиннадцать впрыскивала.
- А тебе что, жаль?
- Ах, Алеша, ты же помнишь, что доктор сказал: если часто, то перестанет действовать.
- Черт с ним, с доктором! Возьми шприц!.. Доктор! Ведь не ему, а мне в этом аду доживать... Ампулка слева... Слева, говорю, а не справа! Неужели не видишь? И не суетись так! Эх, мама!..
- Нашла, нашла... Сейчас, вот только... да...
- Ты очки надень!
- Я в очках, Алешенька. Я сейчас... Готово... Засучи рукав!
- У тебя, мама, руки дрожат. Ты не туда попадешь. Сядь и

успокойся! Вот так... и как же режет... Да.... банку мыла! И тут же накрыли, у выхода... Тьфу, какая гадость!.. Ты успокоилась?

— Успокоилась, Алешенька... Дай руку!..

— Все еще дрожишь? Ну, да ладно, коли!.. Ммм! Иногда лучше выходит. И положи шприц на место.

— Положу, положу... вот только спиртом вытру... Так.. Ну что, лучше?

— Лучше... и как он быстро действует... Поправь мне подушку, мама!

— Сейчас, Алеша. Только, может-быть, перебрался бы на кровать?

— Теперь и в кресле хорошо... Так-то, мама... Жаль мне тебя...

— Мне тоже еще недолго, Алешенька.

— А все-таки... Вот, Пер Гюнт хоть и шалопай, а проводил мать...

— Дорога туда простая, Алешенька, не заблудишься.

— Не заблудишься... это ты хорошо... Да... А я, все же, в лесу хотел бы, как индеец.

— Ты опять... Ты же обещал...

— Так я не спорю. Сперва священник, а потом в лес. Кругом горы, тишина... А ты и вправду веришь, что там что-то есть?

— Есть, Алеша, обязательно есть!

— Пожалуй, ты и права. А то глупо как-то было бы.. Что ж, тогда я тебе вперед протекцию составлю.

— Не смеяся над этим, Алеша!

— Почему?

— Грех.

— Скажите, пожалуйста! Сами смеются, а Творцу в улыбке отказывают... Скучный Он у вас какой-то.

— Алеша!..

— Ладно, не буду. Как хорошо!.. Посплю я, кажется, мама.

— Поспи, сынок! И я пойду. Если что — позови. Свет потушить?

— Потуши!

— Покойной ночи, Алеша!

— Покойной ночи... Постой, мама!

— Да, милый?

— ... А, может быть, ему можно... по телефону?

— Кому, Алешенька?

— Нет, ничего... это я так... А батюшку позови... Отца Георгия. Добрый он.

— Позову, Алешенька, завтра же позову. И, ты знаешь, иногда это...

— Ладно, мама, говорила уж. Покойной ночи!

— Спи, милый... Христос с тобой!

П. Муравьев

1

За рубежом все те же облака:
 Сентябрьская граница в перьях птичьих
 Надежно держит палец у курка
 Внимательный советский пограничник.
 Холодный океан твоей страны
 Чужой водой омыл твои ладони
 И только слезы равно солоны,
 Одни на вкус в Москве и в Вашингтоне.

2

Не забывай, и береги тепло
 И ничего не называй ошибкой,
 Я буду помнить ясно и светло
 Твой горький взгляд с затверженной улыбкой.

E. Росс

В "Раковом Корпусе" Солженицына больные мечтают о лечении рака целебным грибом, растущим на стволе берёзы. *Прим. автора.*

1

Бабушка надвое сказала

Смерть отсекает нам душу от тела.
Помнишь, садовник рассек червяка?
Как извивались два узких куска!
(Черная грядка так жирно чернела).

Яшерица, от врага убегая,
Хвостик оставит добычей врагу.
(Солнце легло на речном берегу
И синева простиралась густая).

Хвостик тот мутно-зеленый, о, стань
Ярким хвостом лучезарной кометы!
(Вот мы уселись у берега Леты
И облака — темно-серая рвань).

Целым червем станет полчервяка,
Новым хвостом шевельнет саламандра.
Что же ты *нам* напророчишь, Кассандра?
Ракушку вынь из речного песка.

2

Когда-нибудь, потом, потом, впоследствии
(А может быть — уже в апреле?)
Нас всех сполна вознаградят за бедствия,
Которые мы претерпели.

И к вам законы о вознаграждении
Применят, милый, в полной силе:
Какое-то весьма красивое растение
На вашей вырастет могиле.

Увы! Шиповником, который мне достанется,
Потомство будет недовольно.
Все скажут: "был он, вероятно, пьяница —
Фиалки маленькой довольно".

3

Душа, от шашней разной шушеры и нечисти
Ты отдохнешь -- шабаш! -- в священной роще Вечности.

Ты долго маялась, роптать не смея,
В пещере людоеда и пигмея,
В салонах троглодитов и хунхузов
(“Назвался груздем -- полезай же в кузов!”).

Расставшись с готтентотами, с башибузуками,
Ты насладишься гармоническими звуками.

В нездешней роще — Хлоя и Пленира
И тень кентавра или тень сатира.
Ты будешь жить средь розовых оленей
И голубых и нежных привидений.

А может быть, порвав с бушменами и кроманьонцами,
Ты будешь с ангелами, звездами и солнцами?

И нежно запорхают василиски
Средь васильков, нам предлагая виски,
И гарпии и фурии из ада
Нам вынесут по чашке шоколада.
Кинь грусть! Кинь грусть! И умирать не надо!
Кинь грусть! Кинь грусть! Кинь грусть! Кинь
Грусть! Кинь грусть! Кинь грусть!

Игорь Чиннов

ВЕРКА

*"Мне сказала Тоошеенъкааа:
Миленъкий, мне тоошненъкааа.
Ну чем тебя пораадууюу?
Давай зайдем в параднууюу...
Губы горячее льда..."*

(Из песни Клячкина)

Это было в Москве. Я тогда только что начал работать сторожем. Мне было 30 лет, я уже и так слишком задержался на распутни, мои сверстники давно обогнали меня, уйдя каждый по своей дороге, к своей цели. И вот так, в одно прекрасное время я взял и подал заявление об уходе из научно-исследовательского института, и пошел в сторожа.

А что было делать? Трудно ведь изо дня в день ощущать совершенную бессмысленность существования. Для моих сослуживцев это было не так — они делали карьеру. Для меня карьера советского ученого была неприемлема, а значит, и оставаться в НИИ было незачем. Получал я там 95 рублей в месяц, а работая сторожем должен был получать только 60, но зато какую-никакую, а спецодежду, и самое главное — куча времени, бездна времени, космос времени. А время для меня не деньги, а — я сам, потому что — книги и книги, размышления наедине, душевная неподотчетность, сосредоточенность на сути жизни.

Я уже сторожил какое-то время, уже привык к бессоннице, как вдруг, обычно по утрам, когда послеочных бдений я возвращался домой, меня начали охватывать странные состояния. Никогда до этого со мной ничего подобного не происходило.

Раньше, когда в потоке такого же, как я служилого люда меня несло утренним приливом на работу и вечерним отливом с работы, я, стиснутый в автобусе, опустошенный, все время — как верят на пальце брелок, вертел в голове песенку, ходившую тогда по Москве среди молодежи: "Как надоееело! Я сам себя баюююкаю, хорошенъкий ты моий, не все ж тебе с наууукою, шел бы ты домоооой". И иса среди затылков, плечей, поднятых воротников и сцепленных с поручнями рук женские лица — просто так, от нечего делать, доверчивал: "С одной из эээтих! Но с этой не получится, а дома ждет обед, но дома нет попутчицы, а здесь обеееда нееееет...". Хоть у меня дома попутчица и была, мелодийка всё равно завершалась моим привычным вздохом, поток пассажиров низвергал меня из дверей автобуса как с плотины, и всё повторялось — серость одежд со всех сторон, сумерки и бесцельный, от скуки-грусти поиск глазами женских лиц, которые исчезнут через мгновение.

Сейчас же всё было иначе. Когда после бессонной ночи, проведённой в тесной будочонке, я шёл пешком домой (экономия на транспорте), и моё тело лёгкой болью будто, жаловалось на усталость, а руки были двумя повисшими на мне ношами, а навстречу сновали спешащие на работу люди — сонные, насупленные, раздражённые — у меня в груди начинало что-то сопротивляться, потом, будто, надрывалось, слёзы заволакивали глаза и я шептал: "Люди, люди, мои люди, я вас... родные, люди...".

Проходя мимо Молочного магазина я неизменно заходил туда, прилежно выстаивал очередь за творогом и кефиром и волок всё это домой, попадая под конец в искрящийся бликами и звуками хаос детского неистовства, катящегося прямо в страшную серо-казарменную коробку школы, как воды в высасывающий агрегат плотины.

Сторожил я ни больше ни меньше --- гараж милиции. Чувствовал себя как сторож довольно беспечно, думал — кто же полезет воровать милицейские машины? Зимой было приятно бродить в овчинном тулупе по гаражному двору, наслаждаясь своею неуязвимостью от холода и радуясь морозу. В обязанности сторожа входило расчищать снег вокруг сторожки, вся же прочая территория гаражного двора была в ведении дворника,

приходившего каждое утро. Но одинокими вечерами и прозрачными для моих сторожевских чувств ночами я так увлекался отгребанием снега, что внедрялся далеко в плошадь дворника.

В крохотной моей будке — запах махорки, пива и пота проел все стены, изо всех углов дуло. Ни до чего не дотронуться: всё сальное и лоснящееся. Поэтому по вечерам по дороге на работу я накупал газет, всё, что было в киоске. Располагаясь в сторожке обкладывал газетами стол, стул, лежанку, и только после этого можно было доставать книги и бумагу не рискуя их засалить. Те газеты, что оставались от прежних дежурств, шли на утепление стен, углов и пола. Вот так и сидел я в накинутой телогрейке или полулежал (под головой здоровенный англо-русский словарь), и думал, и читал, и писал. Улицы постепенно пустели, всё замирало, и на город сходила чистота, повисая прозрачным спокойствием до утра.

Верку я узнал незадолго до своего "дезертирства" из науки в сторожка. Познакомился через четвёртых-пятых знакомых, случайно. Она приходила в гости со своим мужем, немного старше её, для которого всё в жизни существовало, казалось, только для того, чтобы по этому поводу теоретизировать и в споре постараться во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения. Спорил он запальчиво, краснея, отдавая всю душу. Володя (так звали Веркиного мужа) был непосредствен и открыт и уязвим именно тем, что слишком много души отдавал всегда отвлечённым темам. Он окончил философский факультет, много читал не по программе и был тем редким типом молодого советского интеллектуала 70-х, которые и живут-то, кажется, не ради жизни, а ради познания, а жизнь понимают как перетряхивание "концептуальных схем". По-настоящему для него существовала только интеллектуальная деятельность.

— Не любить людей нужно, а исследовать их, познавать их... Исследовательская позиция, последовательно выдержанная, — почти кричал он, — радикально предохраняет от ненависти к другому человеку...

— Но тогда и от любви тоже!

— Правильно, но если исключена ненависть, тогда и любовь в привычном смысле людям не нужна.

— Но как же без любви, Володя?

— Пусть люди уважают друг друга, пусть будут привязаны друг к другу, но пусть исчезнет и всегда ослепляющая любовь и всегда ослепляющая ненависть. Люди одержимы эмоциональной слепотой, отсюда их политическая одержимость. Люди фанатики, потому что слишком сильно любят и ненавидят...

Верка поразила меня сразу. Непонятно — хорошенькая или нет? Уж очень молода — 18, а выглядит на 14-15, так, девочка-подросток. Волосы гладко зачёсанные, без всяких молодёжных чёлок или "шалашей", и вдруг на затылке — как два мышиных хвостика в разные стороны, стянутые у основания узкими лентами, вроде тех, что перевязывают коробки конфет. Какая чудная безыскусственность! Нос подростково вздёрнутый, губы пухлые и нечёткие, глаза же какие-то уж очень смотрящие. А вся вовсе не тоненькая, а чуть-чуть к полноте. А как скажет — такой странный тембр — будто, смеётся через меховой лоскут. Голос и глухой и открытый. И всегда как бы смеющийся. А лёгкая картавость, будто, отбивает тakt речи.

Как-то она принесла мне показать свои рассказы. Я обещал прочесть, потом замотался как раз с "переквалификацией" из учёного в сторожа, потом её что-то замотало, короче, увиделись мы только через несколько месяцев. За это время зима ушла. Пришла и по-хозяйски стала устраиваться кругом — весна. Нескончаемыми гаражными ночами дошла очередь и до Веркиных рассказов.

Прочтя один из них, очень короткий, я поднял голову и, будто, продолжая траекторию последней строчки рассказа, на миг прерванной последней точкой, поглядел вокруг. Я ощущал, до чего невозможен, до чего невсамделишен этот окружающий меня будничий интерьер. Было уже четыре утра, моё окошко, мутное как плёнка, было ещё залито тьмой, и я почувствовал, что мне просто невозможно сидеть тут в этом старательно скопленном вонючем тепле.

Накинув шубу я вышел прямо на морское дно ночи — так густ, тяжёл и так обволакивающ был воздух. Я сделал несколько шагов с таким трудом, будто, действительно шел среди воды. Веркин рассказ вытолкнул меня прямо в ночную весну. О чём он был? Об обречённой молодости? О жертве молодостью? В её

рассказе бурление жизни как-то незаметно переходило в смерть.

Рассказ был о каком-то языческом народе, живущем на берегу моря. Коллизия вкратце была такова. Каждый год, по ритуалу, завещанному предками, юноши, достигшие совершеннолетия, подвергались "крещению" в мужчины, прыгая с высокого утёса вниз, в море. Выходящие после прыжка на берег считались уже мужчинами, достойными участвовать в решении всех вопросов. И жил в этом племени 12-летний мальчик, неустанными яростными упражнениями приобретший высокое умение в прыжках и плавании. И захотел он раньше времени участвовать в состязании, попытать (на взрослость) свою силу, выносливость и ловкость. Долго отговаривала его мать, отговаривали старейшины племени. Но мальчик был так упрям, что все-таки прыгнул на глазах у матери и всего племени. Прыгнул, и не вернулся. И когда мать рыдала над его телом, первый старейшина сказал ей: Ты не должна плакать, женщина, ведь твой сын погиб не как ребёнок, а как взрослый. Твой сын — настоящий мужчина, и будет похоронен с почестями, приличествующими мужчинам.

Сейчас, вспоминая этот рассказ, я отдаю себе отчёт в его слабостях, сентиментальности, но тогда рассказ взволновал сильно и неожиданно. Чем? Может быть, темой сочетания молодости и обречённости, весны и ночи, потому что это была подспудная тема и моей тогдашней жизни...

Изнанка туч светлела, а я всё ходил по дну утра, пока расхаркавшийся перед закрытыми воротами автомобиль не вернул меня к своим обязанностям. Открывая ворота, я зазвенел цепью. Я отворял ворота самому московскому трудовому утру.

Веркин рассказ не вылетал у меня из сердца. Мы созвонились и решили встретиться у меня в гараже во время моего дневного дежурства. Она пришла, и — о, Боже! — насколько она была другой. Никаких мышиных хвостиков, мягкая кепчушка с игривым козырьком, стройность, подчёркнутая расклёшенными джинсами. Из-под кепчинки прямо поверх небрежно задранного воротника короткого плаща несколько вольготных прядей светлоильняных волос. А голос обволакивает своим всегдашним улыбчивым тембром и слегка

подталкивает-раззадоривает картавостью. Глаза же её в обрамлении окружающей меня весны были уже не просто как всегда — испытующими, а требовательными и вызывающими, и при этом лукавыми, что в сочетании с лёгким раннеапрельским румянцем было — прямо скажу — непереносимым. Я не мог выдержать ни одного её взгляда. Мне хотелось отодвигаться от неё на крошечной сторожевской кушетке. Становилось жгуче стыдно за эту махровую вонь кругом, за газеты, которыми я и мои сменщики обкладывали стены и забивали углы от холода.

— Пойдём, погуляем, — предлагаю я, следя уголком глаза за её невинными ресницами.

Мы выходим во двор, мимо нас со скрежетом и лязгом прогрохатывают возвращающиеся в гараж машины, тормозя к месту стоянки, и мне кажется, что шоферы тормозят нарочно, чтобы смотреть на неё, на Верку. Мы ходим взад-вперёд, мимо моторного рычания, суеты и гомона, и шоферы и механики и автомобильные фары глядят нам вслед. Господи! Как она сюда попала?! Откуда она здесь? Среди пигмейских забот, среди жалкой и бессмысленной жизни??!

Может быть, я её уже любил? Когда сидишь ночами в милиецком гараже — в вони, холоде и нищете, и пишешь в стол — до любви ли тут!!! Верка была "лучом в моём тёмном царстве". Как я жил! "В нееебе, облака из серой ваааты. Сероваато, сероваато. Не беда, ведь я привыыыык. В лууужах, эта ваата наамокаааеет...". Верка же была существом из волшебной страны, её молодость была и цельна и чиста, и в то же время её было почему-то жаль. Это же сочетание полноты жизни и обречённости было в её рассказе.

После этого гаражного "медового" времени я решил больше ей не звонить. Она позвонила сама. И не просто так.

— У меня к тебе очень, очень важное дело...

О, Верка, она не понимала, не представляла, что в эти секунды всё во мне... отрывалось от земли... взмывало...

— Ты мне должен помочь... Ни к кому другому не могу обратиться... Это очень серьёзно...

Мне казалось, что лечу вниз, меня замутило.

— Да, конечно, когда ты хочешь... мы увидимся... поговорим..., — мямлил я.

Я торопился к ней. Было шумно, жарко. Солнце было настырным. Издали я узнал её на перекрёстке: с выражением крайней апатии во всём теле она застряла в горле улицы, переминаясь посреди тротуара и мешая безудержному потоку прохожих. Она была в новенькой, почти сияющей джинсовой юбке и на огромных пробковых каблучицах (короче, во всём заграничном). Спина — открыта, и низвергаемые естественной своей тяжестью волосы гладили обнажённые лопатки. Громадные тёмные очки, своею выпуклостью и круглой заставившие меня подумать о летающих блюдцах покоились на её вздёрнутом носике по-хозяйски уверенно, и здороваясь, она их не сняла.

Мы бродили без всякого плана, просто шли, куда несли ноги, куда глаза глядели. Верка, говоря о всяких мелочах, рассказывая анекдоты, делала странно широкие жесты рукой, несколько раз предлагала купить арбуз и разбить его о мостовую, и всё в таком духе. Мне было почему-то страшно торопить её откровенность, и я ждал.

Часа через три бесплодного хождения, когда мы, вспотевшие и запылённые, едва доползли до бульвара и в изнеможении сели на скамейку, она, наконец, исчерпала свою возбуждённость. Посмотрев мне прямо в лицо своими летающими тарелками, она сказала то, что хотела, она рассказала свою историю, в которой мне, оказывается, была ею предназначена роль трудно определимая по своему амплуа. Но в первые мгновения после её рассказа мне было вовсе не до определений. Я сидел обалдевший и смотрел на неё так, как смотрел бы, вероятно, на настоящие летающие тарелки.

Вот вкратце то, что произошло с Веркой. Оказывается, вот уже почти полгода, как с мужем с Володей у неё нелады, и это ещё мягко сказано. Она влюбилась (по её словам — впервые по настоящему). Героем её оказалась весьма экзотическая и в своём роде замечательная по советским стандартам личность. Олег (которого я немного знал) был одним из законодателей московского интеллектуально-эзотерического салона. Олегу было 34 года, знание языков, интенсивность научных интересов и гибкость ума позволили ему быстро сделать рывок до кандидатской диссертации и защитить последнюю без проблем,

что для гуманитариев не просто. С собственным начальством Олег справлялся, что называется "одной левой". Золотым правилом его изощрённейшей стратегии было — никогда не принимать открытого боя. Всё решалось изысканной дипломатической игрой. За минимум времени (Олег был фанатиком научной работы и не имел желания слишком от нее отвлекаться), но своевременно он делал минимум уступок и получал максимальные выигрыши. В научном плане его всё более интересовала методология современных (западных) гуманитарных наук, он читал фантастически много и американских социологов и социальных психологов, и европейских философов. В своём профессиональном царстве Олег был королём, больше чем королём. Впрочем, — и в своей личной жизни. Он был трижды женат и имел трёх детей (от каждого брака). Говорили даже, что детей у него больше, чем эти трое "законных". Многие женщины, якобы, умоляли Олега подарить им ребёнка. И не внешностью, вроде бы, он прельщал, но столь редко встречающейся в той жизни духовной породистостью. В своём утрированном интеллектуализме, со всей талантливостью своей натуры Олег был соблазнителем не только начитанных девочек, но и человеческих душ вообще. Он был тогда настоящим "характеристическим лидером" молодых московских интеллектуалов. Отметим, что, так сказать его официальная деятельность, работа, поглощала не более 20% его душевной энергии. И всё, что здесь не умещалось, уходило на салон, на импровизированные семинары молодёжной элиты, ведущей отвлеченные разговоры на темы далёкие от всякой политики. На фоне советской жизни даже в крупных городах таких, как Олег, единицы. Культ Олега в Москве был эзотерическим культом. В довершение всего Веркин муж Володя был одним из рьяных олегоманов, одним из экстремистов Олегова культа. Он как-то, ещё до всей этой истории говорил мне, что лично не знает никого (а он-то знал многих), кто мог бы в профессиональном споре сломать Олега, опровергнуть что-нибудь из Олеговых доказательств. Интеллектуализм Олега, по Володе, был неприступен, а творческая мысль неуязвима.

Однако, в положении мужа изменяющей ему жены Володя оказался совершенно бескомпромиссен. Он обвинял,

иронизировал, исходил сарказмом, выкрикивал догадки, что Олег шизофреник, закатывал Верке скандалы, грозил убить Олега и т.п. И в то же время просил-умолял Верку не бросать его совсем, хотя высокомерно отказался от всяких притязаний на телесную близость. Короче, весь отчаянный конфликт лёг на младенческие плечи бедной Верки. Она любила Олега, но не могла бросить Володю.

Спрашивается, при чём же тут я? Судьба столкнула этих трех людей на таком узком пространстве, что в этой тесноте четырёхтысячного уж во всяком случае был лишним. Но всё дело не в этой истории, а в её концовке, задуманной Веркой, в концовке, где согласно Веркиному режиссёрскому замыслу, должен появиться я. Сейчас я, как ни стараюсь, не могу вспомнить — как она мне об этом говорила, о самом главном, о том, что она решила покончить с собой. Не то, когда я слушал её, во мне исчезло восприятие всего внешнего, не то уже потом отказалась память, но я ничего не помню: — какими словами, с каким лицом она говорила о своём самоубийстве. Вернее, не совсем о самоубийстве, поскольку убить её она просила... меня.

План у неё был такой. Я достаю фенобарбитал и квартиру. Я как верный друг провожу с нею последние часы, принимаю её гражданскую исповедь и даю ей 30 таблеток — дозу больше чем смертельная. Укладываю её на кровать, констатирую её смерть, и ухожу, заперев дверь. Она же оставляет письмо с признанием в самоубийстве и, как принято в таких случаях, с просьбой никого в её смерти не винить.

Когда я очухался, "летающие тарелки" с ее глаз исчезли, и на меня в упор смотрели Веркины глаза с совершенно незнакомым выражением. В них не было ничего ни испытующего, ни требовательного, в них не было вообще смотрения. Собственно, это был взгляд без всякого выражения. Я видел замкнувшуюся в себе самой Веркину душу, которая вовсе не обращалась ко мне, а просто открывала себя. Не знаю, сколько продолжалось наше молчание. Верка смотрела на меня. А я сквозь внезапно упавший вечер — на детей в песочнице, которые, будто, концентрировали быстро оседающую кругом темноту, кажась чёрными движущимися бугорками. Мимо нас чинно шествовали в мюционе старики и старухи, не спускавшие с нас

праздно любопытных глаз. Звенели трамваи, и трамвайные трели повисали в густой тьме, будто, звёзды.

— Пойдём, — сказал я, вставая, косясь на её ключицы, залитые нежной плотью.

— Боишься, — усмехнулась она еле заметным движением щёк. Мы пошли не глядя друг на друга, не касаясь друг друга. Очки она несла в руке.

То, что случилось со мной в этот вечер дальше, до сих пор кажется мне непонятно-непостижимым, и столь же чудовищным. Я шёл. В голове у меня не было мыслей. Вдруг я поворачиваюсь к ней, останавливаюсь, беру её за обе руки — нас задевают прохожие — и смотря в ее глаза говорю:

— Верка. Я согласен. Но с одним условием...

Ее голова слегка дернулась, запрокинувшись назад. И своими повалившимися глазами она смотрела прямо в меня, не спрашивая, ожидая.

— После того, как, (я оступался в паузы после каждого слова) после того, как... Ты примешь... таблетки, ты... будешь... моей.

Выражение её глаз не изменилось.

— Согласна, — выдохнула она чуть слышно. И моргнула. Я взял её под руку и мы пошли. Но почему-то не могли идти прямо и всё время колесили по тротуару то вправо, и я вдруг видел перед собой придвигнувшуюся стену дома, то влево, и я вдруг замирал перед разверзающейся мостовой. Нас всё время задевали прохожие.

Через какое-то время она сказала несколько нарочитым тоном:

— Скажи мне... ты что... немножко... некрофил?

— О, нет. Ни в малейшей степени. Просто... просто я тебя хочу. И это, кажется, единственная возможность.

Она скользнула взглядом по моему лицу.

Когда мы стояли у её подъезда, и ей уже было пора, и летающие тарелки были снова на её глазах, она сказала:

— Только учти, я не хочу откладывать.

Я что-то мычал, кивал головой.

— Не думай, что я могу переиграть. Я не боюсь... Моё решение не импульс. Просто, в откладывании нет смысла.

Помню, я ей говорил что-то вроде того, что трудно сразу

достать такую дозу, что придётся просить одновременно понемногу у разных людей. Что в городской квартире это невозможно, придётся найти какую-нибудь дачу. Что навряд ли удастся договориться, чтобы можно было остаться в комнате после смерти (тут я осёкся, а у Верки блеснули глаза). — Кто захочет, чтобы в его помещении был... эээ... труп, — говорил я громче нужного, — так что после... этого, я должен буду что-то придумать... вынести тебя куда-то... в общем, надо ещё покумекать как...

Она кивала.

— Когда я буду готов, я позвоню, ты только не волнуйся, — суетился я словами, думая о том, как бы, если Верка будет звонить мне сама, моя жена не почувствовала что-то в её голосе (она Верку хорошо знала), — Не звони только мне, ладно? Сказал, что сделаю, значит, сделаю.

— Но когда, когда хоть приблизительно?

Я подумал, что за неделю-то уж точно не успею, и назвал срок — две недели. На том и расстались. Она побежала в мутно-жёлтую преисподнюю подъезда. А я, позвонив жене, чтобы не волновалась, ходил по ночному городу до 5 часов утра.

Ну, как я могу своими руками отравить Верку? Ей 18 лет!! Подумаешь, безвыходное положение между мужем и любовником, кто из женщин не испытал это? Пройдёт время, и придет какое-нибудь положительное решение. Но ведь её не переубедишь. И она, и Олег, и Володя живут в ими самими выдуманных мирах. Она просто придумала ещё рассказ — рассказ о своей смерти... Пожалуй, даже хорошо, что она доверилась мне, значит, без меня, ничего не сделает. И вдруг меня — осенило! А что если я дам ей — не фенобарбитал, а что-то... под видом фенобарбитала. Конечно, всё это трудно подделать. Нужна не только та же упаковка, но и вкус, этот горьковатый... И вот, я даю ей 30 невинных таблеток. И она — моя! А потом она — не умирает, и всё.

Мне стало так жарко, что я не мог больше идти. Прислонился, как пьяный, к прохладной каменной стене. Проехал двухместный милиционский мотоцикл, против меня притормозил, и оба милиционера не спускали с меня глаз. Я

встряхнулся и пошёл быстрым шагом. Кажется, какое-то время они, развернувшись, ехали следом.

Да, но как я после этого буду смотреть ей в глаза, как? Но ведь я же спасу её от смерти. Хорошо, но почему? ради чего? Из-за удовольствия от ее тела?... Ооо, проклятье! Но... наша близость... может выбить её из прострации, заставляющей искать смерти.

Я вышел на Садовое кольцо: впереди, насколько простирался взгляд — сплошь зелёные огни светофоров. За эту ночь хождений я составил все-таки план действий, вспомнил все свои медицинские и дачные связи. И на следующее утро завертелась наша с Веркой трагедия. Через полторы недели всё, в общем, было на мази: насчёт дачи договорённость полная, в пятницу должны были дать ключи. Злополучных невинных таблеток ещё не было, но к концу недели они должны были быть: проблема фармацевтической имитации решалась, как никак, на профессиональном уровне...

Вдруг звонит Верка. Пытаюсь отделаться намёками и многозначительными интонациями. Она неумолима.

— Учи, если ты струсил (это слово она презрительно процедила), то я могу устроиться и без твоей помощи.

Трубка была сразу же брошена, и несколько минут я был не в состоянии положить на рычаг свою. Перезванивать же ей почему-то не решился. К четырём часам в субботу я имел всё. Позвонил Верке. Узнав меня, откликнулась с жадностью. Я ей сообщаю не без проскальзывающих помимо моей воли ноток сентиментальной торжественности, что как сказал, так и сделал, две недели на исходе и я готов, нам надо будет ехать минут 45 на электричке, у меня на руках даже больше, чем тридцать, и она должна решить... когда, — я заметил, что говорю на одной ноте. Молчание.

— Я ждала твоего звонка сегодня, — наконец, ответила она медленно. И, через паузу — Я хочу, чтобы это было завтра, в воскресенье.

Я задохнулся.

— Так когда... завтра?

— Я позвоню тебе сама... ровно в 12 дня.

Её фраза оборвалась короткими гудками, которые перешли в стук моего сердца.

Вечером мне нужно было идти в свой гараж. Я был даже рад, надеялся хоть немного рассеяться, но ни на чём сосредоточиться не мог, даже мысли о следующем дне как-то сразу же выталкивались. Я метался по раскалённой пустоте своего сознания. И осенняя ночь не подарила мне ни одного радостного впечатления. Я много курил, и идя утром домой никак не мог откашляться. С 11 часов утра я ждал Веркиного звонка. Моим домашним было сказано, что у меня внезапное сторожение (заболел сторож — мой сменщик). Я слонялся по квартире и вдруг сообразил, что уже половина первого. В час я позвонил Верке сам. Никого. В три — никого. В пять — никого. Мое бешенство чередовалось с вспышками какого-то облегчения. Я звонил Верке каждый час. Наконец, в половине 12го ночи вдруг услышал её голос, звучащий, будто, из другого мира. Я старался говорить с ней мягко, она покорно слушала, и когда я перевёл дух, сказала тихо, слегка растягивая слова:

— Ты знаешь, я начала писать поэму. И подумала, что стоит ли сейчас, когда у меня такой подъём... Своевременно ли сейчас? Может, мне уж дописать, а как кончу, то позвоню...

У неё была восхитительно просительная интонация, будто, действительно, от меня зависело, умереть ей или жить.

— Спасибо тебе за всё, — помолчала, — Ну, до встречи?

— До встречи, — автоматически ответил я.

Встреча эта так и не состоялась. Через четырёх-пятих знакомых я узнал, что у Верки "всё в порядке". Она довольно быстро нашла то "положительное решение", о котором я думал, ходя по ночной Москве после нашей с ней душевной сделки. Решение её было простым, не для рассказа или поэмы: она бросила Володю и вышла замуж за Олега, став его четвёртой официальной женой. Вскоре я случайно узнал, что Олег и Верка уехали на Азовское море. Я понимал, что Азовское море — это хорошо, это лучше, чем все Московские научно-исследовательские институты и интеллектуальные семинары. Азовское море — это почти так же хорошо, как работать сторожем.

Виктор Енютин, 1976.

ГРОЗА

1

Пали светлые ступени —
Черный вечер бороздя,
Просветлели, на мгновенье,
Струны шаткие дождя.
И по всей земле сверкнули
Черных крыльев хрустали —
Это демоны спугнули — Тень
небесную с земли.

2

Трещиной зияющей расколот —
Небосвод, и расточилась тьма!
Дождь сверкнул прозрачным частоколом
Просияли влажные дома.
Все к слепящей трещине рванулось
Поднялось и улетело прочь.
И прижато тьмой назад вернулось
И еще темнее стала ночь.

3

Я с детских лет в грозу влюблен,
Когда сверкнет зигзаг лилово —
Мир, ка бы, вновь преображен —
В кипящее твореньем слово ..
Выходят контуры из тьмы,
Мерцая грозно и тревожно —
Свет, в нашем мире невозможный,
Лишь на мгновенье видим мы.

A. Величковский

У ПАРОМА

Звуки трубы были протяжны и гулки. Начинались они там, где, спустив к воде ноги в больших кирзовых сапогах, сидел на деревянной пристани мужик в старом овчинном кожухе и вытертой меховой шапке. Выгоревшие брови на задубелом не то от солнца, не то от ветра худом вытянутом лице, которое, видимо, от такого постоянного общения с природой и приобрело устойчивый темнокрасный оттенок. Наверное, от того же поблёк и стал совсем неразличим и цвет глаз его. К тому же понять каков он мешала узость пространства между сощуренными, почти без ресниц, веками. Вообщем обычный мужик, лет под пятьдесят. И совсем бы он не отличался от других, если б не большая медная труба, в кольцо которой он протиснул своё сухощавое жилистое туловище так, что труба вроде как бы обнимала его и в то же время укрывала от чего-то.

Он вздувал и опускал щёки и глядя прямо перед собой не щадил сил на то, чтобы подчинить непослушный инструмент и заставить его сыграть-таки то, что ему, мужику, желательно.

А за спиной его в разных местах, кто на камне, кто на выброшенной рекой корчаге, кто на мешках, узлах и чемоданах, а кто прямо на земле — сидели люди. Сидели парами или в одиночку, но не кучно. Вроде бы все вместе и в то же время каждый сам по себе. Антон отложил трубу и вынул пачку "Памира". Затянувшись он выпустил длинную струйку дыма и она смешалась с туманом.

Службу свою Антон Вьюрков облюбовал прежде всего потому, что безответственной была она. Сиди-жди, когда паром покажется. Затем верёвку тебе кинут — ты её обмотай вокруг

столба. Потом, когда мосточки отпадут — проследи, чтоб на причал легли, а там народ сам попрёт. Билеты ведь на пароме берут и то забота Климыха, матроса паромного. Осядет народ на палубе, посигналит Климых, Антон отмотает канат, подсобит с мостками и опять — безответственен! Сидит-покуривает, да в воде отражается.

Вообще был он мечтательного ощущения человек и близость реки способствовала этому. И потому, хоть получал он за свою службу самую малость, был тем доволен. Люди звали Антона Антоном-гудилой, а то и просто — трубой.

Увидел он эту свою трубу в куче утильсырья, где она, словно какой-то диковинный зверь, тянула шею из-за разного рода рухляди. Антон вытащил ее оттуда, разглядел на позеленевшей поверхности медали и старинных орлов и решил взять. А спроси его тогда, зачем ему она, Антон бы и не ответил. Дома, вспомнив о том, как драил в армии пуговицы, он прежде всего оттёр свое приобретение солидолом. И засияла как солнце, засверкала опять старая труба! И стал Антон учиться на ней играть. Нотной грамоты он не знал, да и слухом пользоваться ему было затруднительно, по причине недостаточной им от рождения обеспеченности. Поэтому звуки, которые он выдувал, зависели от его душевного состояния и от того, сколько воздуха ему удавалось набрать в свои непривычные к такому занятию лёгкие. Что у него из всего этого дела получалось, сказать трудно. Однако, через некоторое время, когда стало известно, что Антон осваивает какой-то необычный инструмент, что с несомненностью подтверждалось оглушительным, приводящим в состояние испуга обретающуюся по соседству мелкую живность грохотом, доносящимся из его, расположенной на отшибе у самого берега сторожки, — стали его приглашать в оркестр речников. Особенно, если случалось какое торжественное собрание или похороны. Эти мероприятия теперь без присутствия Антона проводить не могли.

Гуднёт он в свою трубу всего раз-другой, а впечатление производит солидное. И когда по городу идти доводится, так только вокруг него, да ещё выпячивающего громадный барабан Трофима мальчишки и вятся.

Играть на похоронах ему нравилось больше, т.к. через звуки

печали по ком-нибудь мог он выразить и свою опечаленность. В такие минуты Антон непременно вспоминал о никому не нужной одинокости своей жизни, жалость к самому себе вызывала в нём слёзы, начинавшие сползать по не всегда бритой поверхности его щёк.

...Паром вроде бы отцепился от тумана и Антон увидел, что он совсем рядом.

— Спиши, чухлома? — крикнул с воды Климыч.

— А вы куда разлюли вас малина завалились? — вставая отозвался Антон.

— Туманище, виши, какой... В таком Волгу пройти, это тебе не в трубу дуть...

— Ладно швыряй. Я — готовый.

Верёвка мягкой змейкой легла на причал. Антон тут же подобрал её, туго обмотал вокруг столба и захватив трубу пошёл навстречу Климычу.

Климыч, от тяжести прожитой жизни согнувшись в плечах, сегодня явно был не в духе.

— Ишь, попёрлись в какую хмарь, — недовольно бурчал он, встряхивая головой, и его истрёпанная, с переломанным посередине козырьком капитанская фуражка при этом на-двигалась ниже, оттопыривая большие в синих прожилках уши, отчего при своих торчащих в стороны седых усах стал он окончательно похож на старого моржа. Антон глянул на него и ему сделалось смешно.

— Тебе всё лыбиться да зубы скалить, — ворчал Климыч.

— Нет, чтобы в создавшееся положение войти и озябшего человека приветить, как того приличия требуют.

— Все уж давно припасено, — успокоил друга Антон, направляясь вместе с ним в свою сторожку. — Я ведь не сомневался, какой туман ни есть, а прибудешь, потому как бутылка, разлюли-малина, дожидает... Стынет, говорю бутылка, — болтал Антон. — Бутылка, она ведь...

— Здоров ты дудеть, как я наблюдаю, — укоротил его Климыч.

Внутри сторожки, сколоченной из старых досок и крытой листвами ржавого железа, стоял придинутый к самому окну старинный двухтумбовый стол, неизвестно как попавший сюда и

доставшийся Антону от прежнего хозяина, а в правом от двери углу помещалась железная койка, заправленная серым солдатским одеялом. Письменный стол, на котором кое-где ещё сохранились клочья зелёного сукна, и был любимым местом совместного времяпрепровождения Климича и Антона.

Раскинув по столу газету и расположив на ней полбуханки чёрного хлеба, кастрюлю с картошкой и соль, крупную, серую, похожую на песок, Антон разлил по стаканам из толстого гранёного стекла водку.

Климич снял фуражку, обнажив сморщенную лысину, окаймлённую редкими сивыми волосами, оставлявшими открытым лоб весь в продольных и поперечных морщинах, которые, оттого, что имел он привычку шурить, точно прицеливаясь, то один, то другой глаз, пребывали в постоянном беспокойстве. Пригладив двумя ладонями волосы он бережно принял из рук Антона стакан и одним коротким движением перелил в себя его содержимое. Тут же выдохнул, достал из кармана припасённую для такого случая луковицу, оглядел её нацеливаясь и зажмурив левый глаз и, хрястнув крепкими пожелтевшими от табака зубами, откусил довольно большой кусок.

Антон пил водку как влияющий на чувства напиток и потому не спешил. Климич же наоборот просто переливал прозрачную жидкость в горло с тем, чтобы вызванная ею живительная теплота как можно скорее заструилась по жилам.

— Эх, полынь ты моя горькая, — сокрушался глядя на водку Климич. — А ведь всю не перепьёшь! — как бы отвечая на какие-то свои мысли рассуждал он.

— Куда там! Этого никому не осилить... Не в жисть... Ни одна, что ни на есть самая выдающаяся по уму и телу личность этого суметь не сможет! — утверждал Антон.

— А если не личность, а коллектив? Коллектив ведь он — сила! — углублялся в философию Климич. — Приналягет, скажем, усилиями весь всесоюзный коллектив в один день и, глядь, и не стало водки, а?

— Это ты, Климич, загнул!.. Вроде немного выпил, а загнул!.. Ты прикинь какая тогда общественная жизнь образуется... Это вроде как... разлюли меня вконец малина... — пытался найти словесное выражение своей мысли Антон и от такого напряже-

ния кровь прилила к голове и без того красное лицо его сделалось вовсе багровым. — Как бы это авторитетно заявить?.. Вообщем, я так понимаю, что не может существование нашей жизни без её... Без водки этой идти, разлюли их всех в корень малина!.. — и как бы в подтверждение сказанного он хлебнул из стакана и стукнул им по столу так, что остатки водки в нём чуть не выплеснулись наружу.

— Добро-то охраняй, — поучительно заметил Климыч и всё тем же быстрым движением опрокинул в горло содержимое своего стакана. Затем нацелившись уже левым глазом, выбрал картофелину, неторопливо очистил её от кожуры, макнул в соль и пожевав произнёс. — Хуже-то водка стала.. С каждым годом вреднее веществом становится... Чистая мукулатура... Нет у власти никакого стыда такую жидкость трудовому народу продавать...

— Это ты от придирчивого свойства своего характера заявляешь, — не согласился Антон. — Власть она ведь своим делом занимается. Ей об стыде заботится некогда. У ей каженый день новые задачи образуются. Вчера, вишь, одно разлюли-малина провозглашали, а сегодня другое... А на завтра и вовсе непохожую штуку какую изобрести надо... Это ведь не всякий может... Не всякий на это способный... Высшего ума дело это! Всё время новизну народу-то объявлять...

— Да народ-то дурак трюмный, — отрезал Климыч. — Ему какой хошь тезис загни он рот и разинет. И еще рад будет, что обманутым остался. Обманутому проживать ведь легче. Это я тебе точно высказываюсь. Обман он ведь память отшибает. Вот ты меня возьми... Объяви ты мне, к примеру, производитесь вы, мол, Терентий Климыч Пантюхин в капитаны, — он провёл рукой по усам, как-то сразу выпрямился и взгляд его стал впрямь капитанским. — Ну, скажем, пусть "Акулины"... Стара, правда, посудина... Да, ладно, сойдёт. Я тоже не юнец. Так вот скажи мне, быть тебе завтра Климыч капитаном "Акулины" я ведь враз забуду обо всём, что вчера было... Весь в надежду уйду! До завтра жить стану! А завтра грянет, опять что-нибудь для моей личности выдумать можно. Глядишь, а там уж вся жизнь твоя через трубу паром и вышла..., кто другой имеется, кто ещё только жить зачинает, ему-то можно опять всё сперво-

началу повторять. Итак крути-верти, Емеля! А всё почему? Потому что население памяти лишённое ... — заключил речь Климыч.

— А на кой хрен надо её, память эту, если партия есть наш неукоснительный рулевой?

— Во-во я и высказываюсь, что власть у нас не от ума, а от глупости всенародной, — гнул своё Климыч. — А насчёт рулевого это ты верный траверс провёл... Про то мне доподлинно верно известно. Рулевой он, взять к примеру, на нашем пароме... и перевернуть может, — Климыч сощурил левый глаз, а правым вперился в Антона. — Очень запросто перевернуть может! И живым никто не уйдёт. Н-ни один! А почему так-кое? — он поднял вверх указательный палец, выждал минуту и провозгласил торжествующим тоном. — А потому как спасательных средств нет! В наличии не имеется! И всё тут! Кто попал на наш паром весь во власти рулевого, — Климыч затрясся от смеха. — Ну, да ладно шут с ним, с рулевым-то! Давай дёрнем. Он уж было поднёс стакан ко рту, когда заметил висящий у двери треугольный красный флагок, с вышитыми на нём золотыми буквами. — Это чай-то у тебя? — удивился Климыч.

— Да, вишь, с нонешнего сезона вроде как бригада из меня образуется... То есть, как был я один, так и остаюсь в дальнейшем. Только теперь название у меня не просто Антон Вьюрков, а бригада Антона Вьюркова, но остаюся я один, — окончательно запутался Антон. — В общем передовой я теперь коллектив, бригада комтруда... Такое, понимаешь, внимание к моей безответственной должности проявлено: "Частицу, грят, знамени всемирного пролетариата тебе вручаем". Во как, разлюли-малина!

— В таком случае совмешённый тост у нас выходит, — принял решение Климыч. — За тебя, как есть ты теперь отмеченный представитель геройского труда и за всемирный этот самый ... пролетариат, как говорится, от имени и по поручению, — он поднял стакан. — Пусть население повсюду себе как мы счастье добудет...

Тонкий заливистый свист донёсся с реки.

— Ну, хватит просвещаться... Служба призывает, — сказал Климыч, напяливая фуражку на самые уши, отчего они опять

растопырились в разные стороны. Подхватив трубу, Антон вышел вместе с Климычем. Паром уже был полон. Антон подсобил убрать мостки, отмотал верёвку и кинул её Климычу.

— До скорого, — сказал тот.

— Не подведём, — ответил Антон.

Паром тяжело и неповоротливо стал отваливать от причала и тут же нос его, затем половина, а через несколько минут и весь он скрылись в тумане. Оставалась видна лишь красная точка фонаря на мачте, медленно плывшая над Волгой. На сегодня работы больше не предвиделось. Антона это не огорчало. Вспомнив про инструмент, Антон решил сыграть песню, но как ни старался, а кроме отдельных, не имеющих между собой никакого сцепления звуков, у него ничего не выходило. Вдруг он почувствовал, что за спиной кто-то есть. Он обернулся и увидел, что там, где спуск только ещё начинается, стоит женщина с деревянным сундучком в руках. Туман подступал к ней всё ближе и ближе, так что Антону, смотревшему на неё снизу, казалось, что не стоит она на земле вовсе, а парит в дымке.

— Ты чего? — окликнул он женщину. — На паром что ли? Не будет парома сегодня. — Женщина стояла на том же месте. Только теперь уже до половины скрывал её поднявшийся выше туман. Подумав, что быть может сверху он плохо различим, Антон решил личным появлением придать дополнительный вес своим словам.

— При пароме служу я, — вынося из тумана трубу и себя объяснял женщине Антон. — Так что с верностью знаю, что не придёт больше. Иди домой и согревай мужика. Ему от того только лучше станет да и тебе не без полезности...

— Незадача-то какая, — негромко со вздохом произнесла женщина, занятая своими мыслями. — Теперь и вправду не придёт...

— Ни в какую... Ему теперь Волгу не пересечь... Обождать тебе с твоими делами придётся. Передышку возьми, а то торопливое смешение жизни во вредность человеческой натуре. Иди домой и дожидайся утра...

— Идти-то некуда, — просто прервала речь Антона женщина.

Почему так? — удивляясь спросил Антон и на всякий случай снял с себя трубу.

— Да уж так ... Не здешняя потому что ... Из Всего-Дичея ...

— Издалече ... Слыхал я про вашу местность... При пароме про что хошь информацию имею. Народу-то пропускаю мимо себя — ог-го, сколько! — он покачал головой и при этом незавязанные "уши" его зимней шапки разлетелись и зашевелились, как крылья. — Пропасть народу-то проходит!

— Что ж делать-то будешь? — спросил Антон.

— Ночь не холодная. Обожду здесь.

Наступило молчание. Зажглись фонари, редкой цепочкой сбегавшие по спуску к реке. Теперь стоящий перед ней мужик освещался их тусклым неверным светом и Клавдия рассмотрела его нескладную фигуру, в старом не по росту коротком полу-шубке, с длинными, торчащими из рукавов руками, в шапке с развевающимися "ушами" да ещё с какой-то трубой. "Чудень и только!" — подумала Клавдия и тут же обратилась к мыслям о себе.

Долго подбивала она мужа уехать, да тот всё не соглашался. Куда, говорит, я поеду из родных мест? А вокруг, что ни день, а новая заколоченная изба. Кто порасторонней — все в город по-дались. А этот будто врос в землю... Не поеду и точка! В поле ковырялся, как заведённый, а потом ещё и у себя... Двужильный был мужик. А толку-то? — Клавдия вздохнула. Мужа ей было жалко. И помер-то нескладно. Пельменями на проводах соседей объелся...

Знакомое тоскливо чувство защемило под сердцем. Жаль, что детей не дал Бог... Конечно, были бы дети, по-иному бы сложилась её жизнь. А так что же? Одна, как перст одна.

Схоронив мужа, Клавдия потолкалась какое-то время в деревне да решилась. Отнесла Дарье из сельсовета кофту, что прошлым летом в городе купила, а надевала может всего раза два, та и оформила ей всё в момент. Поставила где надо какие печати, выписала какие нужно бумаги. Так делали все, кто хотел уехать из села.

Хотя было это только вчера, а избу свою она заколачивала и

вовсе сегодня утром, Клавдии казалось, что с тех пор прошло уже невесть сколько времени.

…Машину на дороге ждать пришлось долго. Шофёр такой попался вертлявый. Вначале согласился за поллитровку везти, а потом в лесу свернул в сторону и говорит: "Не раздвинешь — дальше не повезу". Деваться было некуда. Не ждать же одной в лесу, когда другая попутная попадётся. А то и не попадётся, потому что редко ходили здесь машины. А там ведь то же самое произойти может. Поди, узнай их, мужиков-то этих. Вот, и полезла Клавдия в кузов, где у него брезент какой-то, был подстелен. Потом ешё останавливал машину шофёр. И Клавдия покорно лезла в кузов, говоря себе, что отныне она безмужняя; и что мужики всегда будут от неё требовать этого. Постепенно в тихом спокойствии леса, под виднеющимся где-то среди верхушек деревьев небом, к ней возвращалось её женское естество и теперь, когда, обдавая её горячим дыханием, шофёр повторял: Едрёная ты, ух, едрёная! — ей было даже лестно.

К Кинешме подъехали уже стало темнеть. Здесь шофёр заторопился: Домой из-за тебя опоздаю, — сказал он. — Конфликт с женой возникнуть может. Давай плату, как уговорились.

Клавдия отдала ему три рубля. Ей их было не жаль, жалко было, что на паром опоздала.

— Слыши, что ли? — услыхала она. — Чего ж ночь сидеть тут? Воздух ешё не очень нагретым стал. Ешё приморозить, даже очень существенно, некоторые части тела может, — высказывался Антон. — Пойдём что ли в помещение. В "чекушку" тебе всё дело и обойдётся, зато в тепле будешь.

"У этого, видать, плата помене. Всего на "чекушку" просит, — отметила про себя Клавдия и согласилась.

Только в сторожке, когда Клавдия сдвинула на плечи тёмносерый пуховый платок, Антон разглядел её. На вид ей было лет тридцать пять. Лицо у неё было круглое, спокойное, как река в тихую погоду.

Про "чекушку" Антон упомянул на всякий случай, потому что система уж такая повсюду установилась, а вообще-то сегодня она ему даже и не нужна была: и без того имелась бутылка в запасе. Её Антон и выставил на стол. Порывшись в сумке,

привязанной к чемодану, женщина достала кулёк из марли, в котором оказались яйца и белые пироги.

— Со знакомством значит, — налив водку в стаканы сказал Антон. Женщина кивнула и отпила немнога. Антон выпил всё и закусил пирогом.

— Скажи, на милость, с грибами ... Давно таких не едал, — с удовольствием прожёвывая пирог сказал он. — Сама пекла?

— Вчерасть, — ответила Клавдия. В сторожке было тепло от натопленной железной печки и Клавдия скинула ватник. Теперь на ней была синяя вязанная кофта, налётая поверх пёстрого ситцевого платья с острым вырезом. Сквозь него Антону видна была белая шея и он угадывал, что, наверное, и груди у неё тоже будут белыми и, видать, по тому, как обозначались — упругими. "В сочном состоянии находится баба", — определил Антон, а вслух спросил.

— Стало быть независимость у тебя?

— Чегой-то? — не поняла Клавдия.

— Одна, говорю, ты...

— Да уж как есть ...

— Ничего, девках не засилишься ...

— Это откуда же известно?

— Формирование телесности у тебя такое, что **мужик** от его впечатлительность большую получает и оттого в сжатое состояние приходит.

— Говоришь, что не сразу и поймешь...

— Это я для точности выражения нарождающейся во мне мысли, — объяснил про себя Антон. Он налил ещё и сказав: Со свиданьем, — выпил. Клавдия допила свой стакан. Щёки у неё порозовели, а тёмные глаза подёрнулись влагой. Подперев голову ладонью, она неожиданно тихо запела:

Ой, рябина кудрявая, белые-е цветы,

Ой, рябина кудрявая, сердцу расскажи ...

Голос у неё был мягкий и несильный. И она вроде даже как бы и не пела, а рассказывала, растягивая, как это делают в деревнях, когда поют, окончания слов. Будто разговаривала сама с собой. Только так могла она сейчас выразить то, что накопилось в душе и требовало выхода. Что это было? Тоска, долгая, как зима среди бескрайних владимирских лесов; грусть,

гнетущая, как низкое, осенней серой пеленою подёрнутое, северное небо; печаль, глубокая, как омут? А может жалость к тем, кто остался, к тем, кого уж нет? Или жалость к самой себе, к одинокой и неустроенной бабьей своей жизни? Наверное это было всё вместе. Всё вместе — это и была Клавдина песня.

Антон осторожно, чтобы не помешать ей, взял трубу и так нежно, как только был способен, попытался вынуть тонкую струйку мелодии из громадного инструмента. Антон издал громкий звук и Клавдия, словно очнувшись, перестала петь.

— Ой, что-й-то я? — поправляя тёмнорусые волосы встрепенулась она. — Распелась на ночь глядя.

— Виши, песню испортил, — с досадой произнёс Антон рассматривая трубу. Пойду-ка я фонарь проведаю. А ты, слышь, занимай место без всякой стеснительности...

...Вернувшись, Антон поглядел на спящую одетой поверх одеяла Клавдию, подумал было улечься на полу, но уж очень грязен был пол и он тоже не раздеваясь вытянулся на койке рядом с Клавдией. Раздумье как быть, что делать с лежащей рядом бабой гнало сон. Похожего случая в его жизни ещё не бывало. Те бабы, которые раньше ночевали у него, были специально сорганизованные для такого дела. Эта же вовсе и не к нему пришла, а так получилось, что ей деваться некуда. И потому, как понимал законы гостеприимства Антон, он не мог себе позволить по отношению к ней ничего, что могло бы огорчить или обидеть её. Тут должно всё произойти иначе, а вот как? Этого он не знал. К тому же он сдуру ещё и плату установил — "чекушку". "Надо бы ей сказать, что отменяю плату", сообразил Антон. Он несколько раз протягивал руку и отнимал её обратно, остановленный беззащитным состоянием женщины и собственной душевной неспокойностью, причина которой была ему непонятна и появление которой было для него новым.

А Клавдия и не спала. Как это бывает с одинокими людьми, именно по ночам она особенно остро ощущала своё одиночество. Ей становилось не только тоскливо в это время, но и страшно. В такие часы дома она вставала и ходила по избе, пока усталая не засыпала присев, где придётся. Вот эта-то тоска, казалось исходившая от крытых выцветшими сиреневыми обоями стен, и гнала её из родных мест. Ей думалось, что в суматохе

большого города будет легче, что там, где столько людей на освещённых яркими огнями улицах, её одиночество исчезнет само собой, что унесёт его, как уносит туман сильный ветер.. Хотя своим женским естеством она была готова к тому, что могло произойти, но что почему-то не происходило и всё более озадачиваясь странным мужиком, лежащим подле неё, она постепенно погружалась в сон.

Наутро, когда она проснулась, Антона рядом не было, а окно, словно прилипли к нему клочья ваты, белело туманом.

Антон, выйдя из дома, понял, что Клавдия и сегодня не уедет и потому решил, что надо идти в город за провизией и необходимой в таком скучном состоянии природы водкой. Он поднялся наверх к собору, откуда выходили старушки в низко повязанных и застёгнутых на груди чёрных платках и оказался на базарной площади, окружённой невысокими не то вросшими в землю, не то выросшими из неё, старинными крепкими каменными лабазами, среди которых толпился народ, торопливо сбивавшийся в очередь там, где помещался магазин.

— Зачем стоим, трудящиеся? — спросил Антон, заинтересованный в приобретении продуктов питания.

— Кому за чем надобно, — скupo ответили ближние, из стоявших в очереди.

— А чего дают то? — не отступал Антон. — Может и мне чего такого тоже надо.

— Ну, селёдку, — тоном "чего, мол, привязался" ответил, не поднимая головы от газеты серьёзный мужчина в очках.

— У... это своевременная вещь... Нужного состава вещь, — обрадовался Антон. — Это, разлюли-малина, подойдёт!

— Как не подойти! — встрял старик с куцей бородкой клином и валенках. — Сельдь есть первейшего качества закус.

— Я до неё очень охотный, — поддакнул Антон.

Так, перебрасываясь словами о том да о сём, достиг он прилавка, где приобрёл водку и несколько довольно-таки тоших, со следами ржавчины, но всё ж селёдок.

Войдя в сторожку, Антон остановился, приведённый в полнейшее изумление увиденным. Пол светел, чисто вымытый. На столе, покрытом белой бумагой, стояли оттёртые до блеска

миски, а сама Клавдия сидела у окна, занятая починкой его, Антона, рубахи.

Антон неловко кашлянул, достал из кармана бутылку и протянул завёрнутые в газету селёдки. На, мол, хозяйничай. Клавдия быстро обварила их кипяточком, почистила и поставила на стол.

— Без дела-то скучно сидеть, — словно оправдываясь сказала она. — Похозяйничала я маленько... Может чего не так?

— Да что ты? Я в полном довольствии. Ведь какую деятельность осуществила, — растеряно бормотал Антон. — Тебе благодарность, от имени и по поручению, объявлять надо...

— Нескладно ты живёшь, — сказала Клавдия после того, как они выпили.

— В чём моя нескладность имеется? — поинтересовался Антон, освобождая кусок селёдки от костей.

— А то, что мужик ты здоровый, а привесть избу в порядок не можешь. Глянь, угол-то мокнет. Крыша видать худая...

Антон ответил не сразу, занятый селёдочными костями.

— Ловчиться надо, — наконец, произнёс он.

— Чего-чего? — не поняла Клавдия.

— Ну, говорю, хшиферу, или железу, или там толю... Её без ловкости как добудешь?

— А другие-то ловчее тебя, что ли выходят?

— К ним я без зависти потому, как не произрастает в моём нутре индивидуальность...

— Совсем не пойму я тебя... Вроде как кренделя языком плетёшь.

— А чего не понять? Кабы, виши, в доступности нужное мне вещество обнаруживалось, тогда бы я его и купил... А коли такого состояния жизни не имеется, то и нет мне охоты ловчиться... Мне не к спеху — обожду, пока государство всеобщую обеспеченность введёт...

— Это же ещё когда произойти может? — в недоумении протянула Клавдия.

— На сей счёт точная партийная циркулярность имеется, — выплёвывая кость рассудительно заметил Антон. — И намproto судить — основы нет!

— Ну, и жди тогда! — с досадой махнула рукой Клавдия.

Белые клочья тумана за окном вначале стали серыми, а потом и вовсе скрылись в темноте. Лёжа рядом со спящей Клавдией Антон чувствовал её ровное дыхание на своей щеке, а раз она даже обняла его и он, чтобы не спугнуть её, долго лежал безо всякого шевеления. В этот момент ему представилось, что вот сойдёт завтра туман, уедет Клавдия и он опять останется один. И впервые за всю жизнь Антон подумал, что в одиноком его существовании нет близкого ему человека, которого можно было бы укрывать по ночам, смотреть, как он ест и пьёт и касаться ладонью его мягких тёплых волос. И хотя по всем расчётам выходило, что жить одному в нынешнем его безответственном служебном состоянии или, как он говорил сам себе, "у власти сбоку" — проще, теперь он впервые понял, что оставаться одному всё-таки ещё хуже. В присутствии пусть почти неизвестного постороннего человека он чувствовал успокоение.

Приподнявшись на локте Антон посмотрел на Клавдию. Она мерно дышала, лёжа на спине. Полушубок сдвинулся вниз и Антону в свете неожиданно появившейся луны были отчётливо видны туго обтянутые платьем её груди и широкие бёдра, приятную, беспокоящую плотность которых он ощущал своим коленом.

Клавдия сквозь сон каким-то необъяснимым чувством поняла, что он на неё смотрит.

— Чего ты? — размежив глаза с ленивой истомой в голосе спросила она.

— Смотрю вот на человеческую природу, — хриплым голосом отозвался Антон.

— Блажной ты... Ильшибко информированный... Уж брал бы, что положено — сам бы не маялся и другим спать не мешал.

— Я, вишь, вот что хотел... Насчёт совместного проживания на одной жилплощади...

— Да, брось ты языком писать, — не утерпела Клавдия.

— Оставайся, говорю, здесь... Железо я на крышу раздобуду — это ты не сомневайся... К Назарке, шофёру с базы, схожу, он и подкинет. Враз подкинет...

— Стало быть из-за меня ловчиться согласен...

— Ладно уж... Вдвоём-то сподручнее будет.

На какое-то время Клавдия задумалась. Если бы такое

приключилось с ней в том большом мире, там за рекой, она бы наверное и осталась с этим, пусть чудным, но видно добрым и покладистым мужиком и как знать, может и сладилась бы у них жизнь. Но всё, что происходило сейчас — происходило с ней здесь, где всё было таким похожим на тот затерянный среди лесов мир, откуда она хотела вырваться.

— Нет, не останусь я здесь, — наконец сказала она. — На другую жизнь посмотреть охота. Из обещанной жизни чего-нибудь хочется... Понять такое можешь?

— Чего тут, разлюли-малина, не понять? — уныло протянул Антон и увидел, что над рекой уже занимается рассвет и под лучами солнца отступает, растворяется в воздухе туман.

Паром отваливал, когда до Антона донеслось:

— Эй, как звали-то тебя?

— Антоном... А тебя?

— Клавдией, — пронеслось над водой.

Она видела, как уходил от неё берег, где оставалось всё прежнее, то, что она будет вспоминать. Она и не очень-то сожалела о потянувшемся было к ней Антоне.

Воздух становился теплее и солнце приятно грело кожу. Усевшись на своё привычное место Антон свесил ноги к воде и взял в руки трубу. Он попробовал сыграть мелодию той песни, что пела Клавдия. Но это у него не получалось и лишь обрывистые звуки летели над Волгой. А поодаль сидели из любопытства забредшие сюда ребятишки, отдыхавшие от постоянной о них заботливости и потому мечтательно и тихо слушавшие.

Нет, не выходила у него клавдина песня! Антон жал на клавиши, надувал щёки, но не хотели звуки соединиться и сложиться в мелодию. То печальными, то вдруг непрошенно задористыми, то какими-то жалобно протяжными получались они. Пронзительным долгим свистом ответил на них паром.

Антон смотрел на то, как уплывает он вдаль и казалось ему, что это жизнь его уходит от него, уплывает, как этот старый неторопливый паром, тихо растворяющийся в утренней дымке.

Г. Табачник

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА

Буковки — каракульки и хвостики,
Инструменты нашей диагностики,
Тонкой нашей кухни поэтической,
Нашей точной мастерской оптической —

Хитрые каракульки в блокноте —
Это **ВЫ** об осени споете?

ВЫ поймаете листвы оттенок,
Веток тень на озаренных стенах?

Эти светы у закатной двери?
Этот воздух счастья и потери?

Не годятся средства ни в какую.
Закрывай, поэт, мастерскую.

ДОРОГА

Вот дорога бежит — золотая, сквозная.
Заслоняется ею вся жизнь остальная.

Только б ехать — и вздрогом, и вздохом, и вскриком
Удивляться бы осени милым уликам.

Только б синь эту тонкую, облако шапкой —
В обе руки хватать ворохами, охапкой.

Все следить бы, как правится тихая треба.
Ртом ловить холодок подвенечного неба.

Все бы ехать, дорогу как книгу листая.
Пусть бежит без конца — без конца золотая.

Ольга Анстей

МИНОМЕТЧИКИ

НА АЭРОДРОМЕ

У Павла Семеновича Липовского, моего соседа, пригласившего занять место рядом с ним, начало войны сложилось трагически. Уроженец Харькова, он там же, в двадцатые годы, окончил университет и пошел работать в кооперацию, — по стопам отца, старого кооператора славного начального периода блестящего развития кооперативного движения в России. К середине тридцатых годов у него был приличный стаж и репутация хорошего и добросовестного работника. И когда "освободили" западные Украину и Белоруссию, а с ними и часть Буковины и стали посыпать туда специалистов, для перестройки всей работы там на советский лад, в этот поток попал и Липовской: ему предстояло "перестроить" кооперацию на Буковине. Он обосновался в Черновицах, через некоторое время перевез туда семью.

21 июня прошлого года, в субботу, захватив жену и пятилетнюю дочку, он поехал отдохнуть в находившийся в ведении его кооперации совхоз, за десяток километров от города. Он уже предвкушал прогулки в роще на берегу тихой речки, — ночью однако раздались орудийные выстрелы, взрывы бомб, потом и винтовочная и пулеметная стрельба, — совхоз был недалеко от границы. Очевидно, началось немецкое нападение, но точно никто ничего не знал, не удалось и никого разыскать в городе, из ответственных лиц, по телефону. В суматохе снарядили полуторку, Липовской усадил на нее жену и дочку, сели и другие жены приехавших работников, хотел ехать

Продолжение. См. кн. 119, 120, 122, 123, 124 и 125.

и сам, — в это время подкатило несколько грузовых и легковых машин. Из одной выскоцил майор, в фуражке пограничника, — это были остатки пограничной заставы, после схватки с немцами спасавшиеся на машинах. Майор приказал собрать всех мужчин, Липовскому не дали сесть в машину, он едва успел проститься со своими и крикнуть, пусть ждут в городе на квартире, он будет пробираться к ним. Женщин не задержали и они уехали на полуторке. Доехали ли до города? — этого Липовской не знал.

Мужчин в совхозе нашлось в наличии двенадцать, включая стариков. Майор отставил стариков, отобрал кто покрепче, спросил, есть ли в совхозе оружие. Но откуда ему было взяться? У пограничников на грузовиках нашлось пять-шесть винтовок, их раздали мобилизованным майором. Липовскому, как явно штатскому, винтовку не дали, чему он был рад. Захватив немного продуктов, погрузились на машины и поехали на восток. К утру, когда совсем рассвело, добрались до Украины — тут кончился бензин. А позади неумолчно слышались выстрелы, казалось, они настигают, — бросили машины, пошли пешком. Шли не одни: куда ни посмотришь, везде бредут группки военных, по дороге и без дорог, по полям. Кое-кто пробирался еще по дороге на машине, но тут и там виднелись брошенные машины, тоже наверно без бензина.

Шли пешком и ехали на повозках раненые, переваливаясь, неторопливо проходили тяжелые санитарные машины, громыхали иногда бронированные транспортеры, возвышались над пешими одинокие всадники, — уходили, кто как мог. Все это были остатки разбитых частей, стоявших на границе или не-подалеку от нее, застигнутых неожиданным нападением немцев и не знающих, что им делать. Все брели теперь на восток, не имея определенной цели.

К полудню подошли к железной дороге, к пустынному полустанку, — железнодорожник сказал, что впереди дорогу разбомбили и движение прекратилось. Последний поезд прошел в полночь, на запад, с зерном для Германии, за два-три часа до начала стрельбы: власти до последнего скрупулезно выполняли свои обязательства по поставке гитлеровцам сырья и продовольствия. Каменец-Подольск, слышно, уже захвачен немцами, на юге немецкие танки тоже продвинулись на восток,

— похоже, мы уже в тылу у немцев. Заторопились дальше, но уже охватила безнадежность: от немцев, видимо, не уйти.

Утром на следующий день подошли к немецкой заставе: на дороге стояло несколько немецких солдат, они останавливали идущих и ехавших и направляли к толпе, вразброд сидевшей на большом поле; дальше, в конце поля, стояли немецкие постовые: немцы собирали военнопленных.

Липовской тут же, боясь, что потом будет поздно, обратился к немцам, убеждая, что он не военный, а штатский, в армии не был и поэтому к пленным не должен принадлежать. Вспоминая немецкий язык, который когда-то учил, старался убедить солдат в своей правоте, но им не было дела до его правоты, они выполняли приказ, да, наверно, и плохо понимали его. К вечеру все поле было занято пленными: собралось с десяток тысяч. Пришла еще группа немецких солдат, пленных подняли, повели дальше. На окраине большого села остановили: немцы решили устроить здесь временный лагерь.

Дня через три Липовскому удалось обратиться к случайно зашедшему в лагерь немецкому офицеру, с той же просьбой: он не военный и не должен быть среди пленных. На счастье, лейтенант заинтересовался им, привел еще какого-то командира, немного говорившего по-русски, — Липовской рассказал, что произошло. У него был паспорт, служебное удостоверение, но эти бумаги мало что доказывали: они могли сохраниться у любого военного. Все же немцы поверили ему и отпустили из лагеря, но никакой бумажки не дали: действуй, как сумеешь.

Он думал только об одном: пробраться к своим, в Черновицы. Пошел обратно, теперь на запад, горько жалея, что не ушел от рьяного дурака-майора в первый же день, когда кончился бензин: отстать от группы было не трудно. А теперь надо идти километров полтораста, постоянно натыкаясь на немцев. Решил идти днем, по дороге, чтобы не вызывать подозрений. Далеко все равно не ушел: в первый же день задержали, привели в комендатуру, где продержали три дня. Что самое плохое: комендатура была временная, часть, которая ее создала, тоже задержалась тут временно, — получив приказ перейти в другое место, немцы, на машинах, потащили с собой и Липовского. Через день-два они отпустили его, но теперь он

оказался дальше от цели еще километров на сто.

Опять пошел на запад, шел три дня, — на этот раз задержали крестьяне, колхозники, приученные за годы под коммунистами ко всем относиться с подозрением и с боязнью, как бы их не обвинили в укрывательстве. Они заподозрили в Липовском советского шпиона и сдали его немцам. Те не пытались разобраться, отправили в ближайший лагерь военнопленных, недалеко от Тульчина. Пленных гоняли там на восстановление железной дороги, — Липовскому посчастливилось убежать с работы. Теперь он решил, идя по селам, выдавать себя за бежавшего пленного, — выдумка была удачной, его почти везде встречали сочувственно, особенно женщины, кормили и не выдавали. Но шел медленно: несколько раз опять задерживали немцы, держали при комендатурах, пока ему так или иначе не удавалось выскочить.

Как ни задерживался, все же подвигался к цели, был уже недалеко от границы Буковины — и опять сильно не повезло: задержала шедшая навстречу немецкая механизированная часть и взяла с собой. За два дня она продвинулась на восток за Тульчин, откуда Липовской во второй раз начал свой поход, — опять он был еще дальше от своих. Немцы сдали его в лагерь, где он пробыл несколько месяцев. Оттуда их недавно перебросили сюда, на аэродром, который немцы решили восстановить. Он и тут пытался говорить, что не военный, но никто его не слушал.

Липовской не сразу рассказал свою эпопею. Временами останавливался и долго сидел могча, словно отдыхая, прислонясь к стене и закрыв глаза. Он производил впечатление крайне усталого, вконец измотанного человека, сжигаемого тихим, но глубоким и жгучим отчаянием, таким, что его нельзя ни остановить, ни утишить. И не только усталого, но и больного: лицо у него было желтое, одутловатое, как распухшее, с тусклыми, погасшими глазами. Будто очнувшись, он открывал глаза, бормотал: — Сказали бы перед войной, что такое может статься со мной, ни за что не поверил бы, я же никогда военным не был... Да, на чем я остановился? — вспоминал и продолжал рассказывать.

Слушая его, думалось: сколько таких трагедий вокруг! У

каждого из этих тысяч несчастных. Проклятая война! Сколько ее ждали, миллионы людей, — а она ни на каплю не оправдывает надежды. И видно, не оправдает и дальше. Кто же и зачем затеял ее?..

Я рассказал Липовскому об отборе для "аппарата украинского правительства", — мы и в этом лагере продолжали получать по лишнему полчерпаку супа. Он скептически слушал меня:

— Не знаю, может быть кто-то и решился, на свой страх и риск, как бы частным образом, начать такое дело, только очень уж оно противоречит моему представлению о немцах, сложившемуся за это время. Понимаете, они стали какими-то другими, не теми немцами, каких мы знали прежде. Я хорошо помню их по 18-му году, когда они занимали Украину. Я тогда уже взрослым был, гимназию окончил и работал в Павлограде, подрабатывал на ученье. Это были другие немцы, они вполне соответствовали нашим, может быть несколько книжным представлениям. Они были олицетворением порядка — и вместе с тем благородства, с ними можно было говорить и понимать друг друга. Эти же, нынешние — как одержимые, они словно ослеплены и ничего слушать не хотят. Настоящие завоеватели, несмотря на организованность и внешний порядок — орды гуннов, варваров, руководимых отнюдь не рассудком. За свои скитания по комендатурам пришлось столкнуться с офицерами, с которыми можно было разговаривать без большого риска. Спрашиваю: неужели они верят, что победят и захватят у нас "жизненное пространство"? Россию, говорю им, нельзя победить, это доказала история. Россия — не Европа, разрезанная на клочки отдельных стран. Но они именно верят, что победят — и слушать ничего не хотят, может быть боясь, как бы не поколебаться в вере. Общий язык тут не найти: мы знаем — а они верят, ослепленные своим неистовством. И то сказать: за много лет наконец-то выпал им случай поверить в свое могущество, потешить сполна свою гордыню, заносчивость, веру в свою исключительность, — как же отказаться от них, пойти на сотрудничество с нами, которых они, по их вере, почти уже положили на обе лопатки? Нет, к голосу рассудка эти немцы прислушаться не способны...

В другой раз, шумно вздохнув, как застонав, он поворачивается ко мне с широко открытыми исступленными глазами:

-- Лежишь так, дни, недели, думаешь, думаешь, голова готова расколоться, впору разума лишиться, в каком дерыме мы очутились, и не понять даже, как оно так вышло? Говорил я вам, что немцы стали другими, — а мы сами? Разве мы сами не другие теперь, чем были мы прежде? Живем, привыкаем к дерыму и уже не можем замечать, какие мы. А поразмыслить — черт-те что из нас стало!

Приехал я в Черновицы, огляделся, вижу, народ хороший, хотя -- не то слово: хороший, не хороший, не в этом дело, а в том, что нормальный народ, каким он обычно бывает, какими и мы были, пока не превратились вроде бы в артистов, даже только статистов, невиданного театра-монстра, заведенного у нас. Знакомлюсь с делами, — все у них малое, миниатюрное, кооперация скромная, — но им и не нужны "мировые масштабы": насколько потребно им для их реальных нужд, настолько и делают. Говорю: покажите отчетность. А какая у них "отчетность", зачем? Есть, конечно, но тоже по реальным нуждам, самая необходимая. Чтобы, в конце концов, отчитаться на общем собрании членов кооператива, — им же начальству, центру, ничего не надо рапортовать, они сами себе хозяева, никому не подчинены. Кооператив ведь, как и у нас раньше, дело самого населения, добровольная самодеятельность, подчиненная только самим себе. И плана у них нет, — значит, нет и знаменитых "показателей" его выполнения и перевыполнения. Говорю им: так, друзья, дело не пойдет, прежде всего давайте план составим. Удивляются: а зачем он нам, Павел Семенович? Мы же и без плана знаем, что надо делать, где, когда и как, а "план" -- только лишняя возня, никому не нужная. И, понятно, они целиком правы, как всякие нормальные люди, — а мне, не нормальному, приходится их учить, заставлять делать то, что для дела действительно не нужно, но что в нашем непотребном театре оказывается совершенно необходимым. Подумаешь как следует: какая-то сплошная чепуха, напасть, ворожба черная: ни им не нужно, ни мне, вообще не надо, — а нельзя, чтобы не заставлять их делать это ненужное. Говорю: придется нам отчет составлять, вот такой, — показываю им сотни форм, бланков,

как у нас заведено. Отчет, говорю, пойдет в Киев, там его проверят, включат в общий отчет по республике и пошлют в Москву, где тоже будут проверять и дадут свои указания. У них глаза на лоб лезут, понять не могут: да кому и зачем вся эта муторная канитель нужна? Для дела нам не нужна, только лишняя работа. И не скажешь им: вам не нужно, мне не нужно, — зато власти необходимо, чтобы мы у нее в узде были, на привязи. Впрочем, и они вскоре стали догадываться, зачем все это ненужное потребно. А мы к нему вроде бы давно привыкли, обойтись без него не можем — и в этой привычке фундамент нашей ненормальности, того, что мы умом вроде бы рехнулись. А кто еще не успел, или не хочет рехнуться, противится, старается благоразумию не изменять — того к стенке или в лагерь, пусть поостынет. Так и у немцев: благоразумным хочешь быть? Иди в лагерь, подумай. У двух самых больших и сильных народов Европы мозги выкрутили навыворот, голову вконец замутили, — как же не получится сумасшедший кавардак? В нем и существуем, на театре представление даем, в первую очередь самим себе, чтобы совсем уже ничего не понимать...

Эти тирады, видно, облегчали Липовскому душу от нескончаемых размышлений, в которые он был погружен, в большой мере и от непривычного безделья. На работу он не ходил, да и вряд ли мог бы ходить: он с трудом поднимался с пола, чтобы идти утром вниз, получать завтрак, а потом за обедом и ужином. Казалось, каждое движение давалось ему с трудом, так он был измучен и болен. И я с тревогой смотрел, как ухудшалось его здоровье: похоже, хоть чуть поправиться, вновь войти в норму, ему уже было не суждено.

Наверно, он тоже сознавал свое состояние и страшился его. И когда поблизости никого не было, подбодряя себя, внушая, что еще не все потеряно, торопливо говорил:

— Из этой западни надо выбираться, уходить, здесь верная гибель. Как чуть окрепну на ногах, пойду на работу, с работы надо тикать, — неожиданно перешел он на украинский.

За время в этом лагере он ко всему присмотрелся, все изучил. Уйти прямо из лагеря, через проволоку или подлезть под нее, можно, но далеко не уйдешь: там, где можно, за нашим корпусом, за проволокой тянется равнина и на ней ни малейшего

укрытия. А по забору — сильные фонари, далеко светят, каждый камушек видно, не то, что человека. Конвой вокруг лагеря — галичане, им поневоле надо выслуживаться, свои же с них требуют. А на работу водят немецкие солдаты и, как говорят пленные, не очень следят. Считают при выходе из лагеря и потом при возвращении, тоже в воротах, — значит, какое-то время есть, чтобы постараться уйти. И считают не тщательно. Собак нет. Вопрос только в том, чтобы ноги держали. Уйти можно, — горячечно говорил Липовской. — Я много думал, почему мне не везло, все свои ошибки вижу. Главное, нельзя торопиться, а я тоже как в исступлении был и изо-всех сил спешил. В селах, где хорошо принимали, надо было задерживаться, чтобы хорошо отдохнуть и дальше дорогу расспросить, по полям, и идти до следующего села. Так, от села до села, можно уйти, если хоть немного остерегаться. А я пер напрямик, без оглядки и поэтому попадался каждый раз. А на Буковине пристроимся, и документы достанем, народ там хороший, меня знают и помогут без раздумья...

Он говорил так горячо, что волнение его заражало. И так, как будто было само собой разумеющимся, что я тоже пойду с ним, что мы об этом уже договорились или что об этом и говорить нечего. Но у меня еще не все было ясно. Как ни скептически относился я к возможному результату отбора для "аппарата украинского правительства", все же какие-то крохи надежды оставались и не было никакого смысла идти на риск попасть под пулю конвоира при побеге, если, может быть, удастся обойтись без него.

Мы, "отобранные", продолжали, перед раздачей обеда, собираться группкой и ждали полицейского. Он приходил, мы вытягивались за ним цепочкой и шли к раздатчику, у которого получали полтора черпака супа вместо одного. Но на девятый или десятый день полицейский пришел и сказал, чтобы шли в общую очередь: наша "привилегия" кончилась. Полицейский не знал, почему, — наверно, говорил он, с затеей "правительства" ничего не получилось. Это было большим ударом, — не потому, что лишились полчерпака супа, все равно не выручавшего: испарилась, пусть крохотная, пусть призрачная как дух, но все же надежда на возможность "победы на нашей стороне".

Липовской почти обрадовался, когда я сказал ему об этом.

— Ну, да, я же говорю, что в этом кавардаке на благоразумие нечего рассчитывать. Теперь и в плане "победы на нашей стороне", как вы говорите, надеяться можно лишь на что-то совсем безумное, безрассудное, чего разумом и не предположишь никогда. А будет оно, и сбудется ли, кто же скажет...

Теперь можно было вплотную думать о том, что занимало Липовского. Беда в том, что не верилось, чтобы он мог окрепнуть: не с чего. Надо искать других. Впервые в этом лагере я стал присматриваться к окружающим. Здесь народ был другой: много было из настоящих, кадровых военных, попавших в плен в первые месяцы войны. Некоторые в штатской одежде, как Липовской, — из тех, что переменили одежду, когда шли на восток и, сняв форму, надеялись затеряться среди местных жителей. Были и такие, кого немцы отпускали на зиму, а весной опять собирали в лагерь.

Рядом со мной с другой стороны, слева, лежал крепкий, кряжистый молодой человек с удивительно чистым, бесхитростным и симпатичным лицом, которому сразу веришь — Бондарчук, лет 25-30. Он был лейтенантом, но скрыл это: в первые месяцы войны немцы, уничтожая всех попадавших в плен евреев и политработников, случалось, присоединяли к ним и строевых командиров, откуда пошел слух, что они расстреливают всех попадающих в плен командиров. Поэтому многие офицеры надевали солдатские гимнастерки и выдавали себя за рядовых. Бондарчук местный житель, осенью его отпустили домой: неподалеку, под Гайвороном, в большом селе у него семья, там живут и его родители. Ему иногда привозят передачи. Село за него хлопотало, чтобы его отпустили совсем, но немцы недавно прекратили отпускать из лагерей, и надежда на освобождение у Бондарчука пропала.

Наверно, он что-то услышал из того, что, не всегда снижая голос, говорил Липовской, — встретив вечером в коридоре, Бондарчук придержал меня за локоть и, глядя в глаза, сказал:

— Что, товарищ москвич (я рассказывал Липовскому о бегстве из Москвы), пора драпа давать? Я тоже так подумываю. Здесь один исход: в конце концов загнешься, не в этом лагере, так в другом.

Бондарчук тоже предполагал уходить с работы, — он работал каждый день. Идти в недалекое село, где у него родственники жены, переждать там некоторое время, а потом пробраться в Одессу, занятую румынами. Там, говорят, свободнее, чем в других занятых местах: румыны относятся не очень строго и людей не ловят, чтобы отправлять в Германию на работы. В Одессе можно прятаться.

Но как уйти? Легко ли, с работы? Бондарчук замялся: врать, наверно, он не умел. Нет, условий подходящих не видно, но надо что-то придумать. Я решил пойти на работу, посмотреть, что там.

Каждое утро после "кофе" у ворот собиралась толпа. В лагере было всего около двух тысяч пленных, — на работу ходило пятьсот-шестьсот, из более крепких, как и из тех, кто не хотел киснуть в одуряющей обстановке лагеря от бездельного и голодного существования. Обед работающим возили в полдень в походной кухне, — суп был гуще и давали по два черпачка, — но для многих не это было главной приманкой: слишком уж иссушающей и оболванивающей была однообразная, до последнего предела нищая и голодная лагерная жизнь. Работа вносила в нее хоть какое-то разнообразие.

Редко бывало, что толпящихся у ворот не хватало, — тогда полицейские гнали со двора и из корпуса первых, попадавших им под руку. Чаще было обратное: отсчитав потребное число, немцы закрывали ворота, и возвращалось несколько десятков не попавших на работу пленных.

Надо было торопиться: я обнаружил у себя тревожное явление. Раздеваться на ночь не приходилось: спали на голом полу, подстеливать нечего. Ботинки я все-таки снимал и клал под голову, привязав шнурками к ремням рюкзака, чтобы не сташили. Носки, давно порванные, кое-как зашитые и десятки раз стиранные (без мыла: взять мыло негде), тоже не снимал, было бы холодно. Но тут почему-то разулся совсем — и увидел, что ноги мои сильно распухли. Опухоль была мягкой, распределялась она как-то неприятно равномерно: заметно потолстели пальцы, вспухла ступня, до лодыжек. Примятая пальцем, кожа не выпрямлялась, оставалась ямка. Посмотрел на другой день, — опухоль поднялась выше, перешла за лодыжки,

пальцы тоже стали будто бы еще толще. Дрянной признак, надо действовать скорее, пока хожу, — этак, глядишь опухоль еще положит меня, не встанешь, не то, что побежишь...

Сговорился с Бондарчуком, он сказал своим ребятам, — окружив меня кольцом, они вывели вместе с собой за ворота.

Взлетное поле недалеко, километрах в двух, по ровной укатанной дороге на ровной, без единого холмика степи. Только на поле аэродрома возвышались длинные конусообразные бунты щебня, — битый щебень откуда-то привозили на больших грузовиках, как говорил Бондарчук, раза два в неделю.

Работа была не трудной: щебень грузили на тачки, везли дальше, ссыпали, затем разравнивали по полю, которое с одной стороны уже начали заливать бетоном. Эту работу немцы считали, наверно, ответственной и пленным не поручали, выполняли ее под присмотром немцев привезенные ими мастера. И опять: всюду ровно, как на столе, ни ямки, ни бугорка. Разбитые обгорелые ангары остались немного в стороне: немцы, видимо, решили их не восстанавливать.

Приведя пленных, немецкие солдаты образовывали цепь конвоя вокруг поля. Никто работающих не подгонял, никто не следил, много ли насыпают они в тачки. Немцы, изредка проходившие внутри оцепленного четырехугольника, даже роняли иногда: *langsam, langsam* (не торопись, медленнее): они хотели хорошей, добротной работы, а не быстрой, кое-как. Отойти куда-либо в сторону невозможно: все на виду, укрыться негде. И в разбитые ангары не заберешься: цепь конвоя проходит перед ними. Тачки после работы везут в одно место, в угол, даже нагромождают их кучей, — под ними можно было бы спрятаться, но надо сообщников, кто посмотрел бы, не видно ли нас под тачками, мимо которых после работы проходит конвой? Но как положиться на сообщников? И кто согласится помогать? Получалось сложно и без верной надежды на успех.

День прошел быстро. Идя в лагерь сказал Бондарчуку, что тоже не вижу возможности. Может быть, подумать над таким вариантом, тоже не обнадеживающим: забраться в бунты щебня. Щебень мелкий, но не ровный, с острыми углами, задохнуться в нем нельзя. Но надо, чтобы кто-нибудь хорошо засыпал: бунты лежат ровно, стенки гладкие, каждая ямка или

складка будут заметны. Тоже слишком сложно и ненадежно.

Перед сном снял ботинки и ужаснулся: ноги совсем распухли, даже странно, как ступни умешались в ботинках. Утром ботинки не наденешь. И икры распухли, начинают пухнуть уже коленки. Что делать?

Следивший за мной Липовской сказал:

— Надо больше лежать, меньше двигаться, облегчить работу сердца. И меньше пить, — но я и так пил мало. Многие пленные, чтобы обмануть чувство голода, выпивали за день едва ли не по ведру воды, но я пил только тогда, когда была жажда.

Утром не знал, что придумать: ноги распухли, стали как бревна. Нечего и думать, чтобы надеть ботинки. Хорошо еще, что у штанов внизу разрез, с завязками, — пришлось их распороть и выше, до коленок: распухшее тело уже разрывало их и выпирало из расположенных швов, как тесто. Невольно вспомнились давние, лагерные рассказы тех, кто в НКВД прошел через "стойку" в течение суток и больше: ноги у них начинали переливаться поверх ботинок.

Достал давно уже лежавшие в рюкзаке без употребления обмотки, кое-как обмотал ноги внизу, поверх натянул носки, хотя ясно, что много они не выдержат. Ботинки, вижу, теперь долго не пригодятся, значит, надо их загнать, пока не сташили. И получить за них в придачу какую-нибудь "сменку", в виде тапочек, хотя бы из шинели. Правда, ботинки мои стали уже "каши просить", подошва у одного начала отставать, много за них не получишь, — но лучше немного, чем ничего.

Это было самой легкой операцией: позвал пробегавшего мимо расторопного парня, известного умением вести хозяйствственные дела. Он внимательно осмотрел ботинки, покачал, как водится, с сомнением головой, показывая на отстающую подошву, но обещал сделать "все, что можно". И выполнил обещание: утром на другой день прежде всего принес тапочки, превзошедшие ожидания: верх из шинели, но подошвы из крепкого твердого брезента, — такие выдержат не один день! А вечером я получил еще небольшой каравай хлеба, не лагерного, домашнего, хорошо пропеченного. Я порезал его перочинным ножем на кусочки, — он был вкуснее любых пирожных. Угостил Липовского. Как человек деликатный, он

брал квадратик хлеба и долго жевал его, показывая, что не торопится, чтобы ему предложили поскорее второй. И мы, без объявления об этом, начали своеобразное соревнование: кто сумеет дольше жевать эти кусочки — и жевали их так, что ничего от них во рту не оставалось.

Тапочки были, как на заказ, правда, на нормальные ноги, — на распухшие они лезли плохо, пришлось даже разрезать немногого задники и пришить веревочки, чтобы привязывать на подъеме. Но все равно они были хороши.

Днем я все же решил сходить в медпункт, — он помешался под самой крышей в двух комнатах на чердаке, куда по лестнице дотащился с трудом. Лекром, человек большой и, видимо, добродушный, посмотрев мои ноги сделал постное лицо:

— Да, неважное дело. Авитаминоз и питание малокалорийное. Если бы вы могли два-три дня по полфунта сливочного масла есть — как рукой снимет.

— Именно: если бы мог. А где взять?

— Или вот по такой миске творога, — показал он большую алюминиевую миску, — тоже хорошо помогает. Мне присыпают с молочной фермы килограмм творога, а у меня таких, как вы, больше тридцати человек. И все, что могу предложить, — вот, съешьте это, — он протянул мне чайную ложку с творогом. — Приходите каждый день после обеда, перед вечером, будете такую же порцию получать. Конечно, это не лечение и не питание, но хоть такая капля, — авось поможет...

Да, остается последнее, на что можно надеяться: на авось. Кажется, уже пришло время, когда над тобой крепко, до конца захлопывается последняя крышка западни, из которой не выбрашься.

Опухоль поднималась выше, начал уже пухнуть низ живота. Страшно смотреть. И тревожное недоумение берет, где-то в самой глуби: как это может до такой степени пухнуть, разрастаться мое тело, расплываясь вроде квашни. Ноги, от бедер, шли вниз, как два толстых гладких столба. Хорошо, что у меня сохранились домашние трусы: ни в какие кальсоны эти столбы не войдут. Штаны распорол уже выше колен, местами они расползлись сами.

Слева, за Бондарчуком, у самой стены, лежал пожилой

солдат, наверно тоже колхозник, как Копылов, кажется, откуда-то из-под Воронежа. У него не было и намека на ту живость, общительность и незлобивость, которые отличали Копылова. Этот сидел или лежал в углу, не пытаясь ни с кем заговорить, и смотрел оттуда как сыч, угрюмо, осуждающими весь мир глазами. Я заметил, что он с интересом следил за мной, когда я рассматривал свои распухающие ноги. С интересом — и словно бы даже с удовольствием, что, конечно, могло мне только показаться. Но теперь, когда я смотрел, что опухоль ползет вверх, он, по-моему, явно с удовольствием следил и вдруг, изменив обыкновению, негромко и тяжело проговорил:

— Дюже плохо, милай. Вот как дойдет до этих пор, — показал он рукой на свою грудь, — конец... — И даже нотки сочувствия не было в его словах.

— Типун тебе на язык, леший не нашего Бога, — хотелось ему сказать. Но что же кипятиться: наверно, так уж он устроен, чтобы видеть и говорить одни неприятности.

Мы лежали с Липовским молча, как две колоды, почти не шевелись. Кажется, все переговорено. И о чем бы не заговорить, быстро сбиваешься на эту же черную, непроглядную безнадежность и безвыходность. Вот только дойдет до груди. А опухоль продолжала подниматься...

И вдруг в этой безысходности опять что-то взблеснуло. Забегали полицейские, даже показались во дворе немцы, редко заходившие в лагерь. Возник слух: завтра или послезавтра пойдет этап, немцы решили половину лагеря отправить на запад, здесь столько рабочих им не нужно.

Ни секунды не раздумывая, я тотчас же решил, что пойду на этап. Здесь близкая гибель ясна, только вот дойдет до груди, — а там, в этапе, еще посмотрим. Советовал идти и Липовскому, — но я, несмотря на опухшее тело, мог вставать с пола и ходить, а он поднимался с большим трудом и едва стоял на ногах. Он, наоборот, попросил, чтобы сказать лекпому: пусть запишет его в список тех, кто не может идти на этап. И как ни уговаривал его, говоря, что до станции доведем, Липовской не соглашался.

Бондарчук сказал, что надо обязательно попасть в один вагон: может быть, удастся уйти в пути. У него есть еще два дружка, тоже молодые здоровые ребята, вчетвером и будем

соображать. Можно прорезать пол вагона, вылезть и лечь между рельсами. Поезда идут сейчас медленно, пути отремонтированы кое-как. А можно вылезть и в окошко, ночью, ночи довольно темные. Посмотрим, как сложится дело.

Мне уклониться от этапа было бы легче легкого, достаточно показать на устрашающие ноги. Но я боялся другого: как бы не заметили их немцы и не отставили меня от этапа. И когда во дворе начали строить пленных, я забрался в середину и до самой станции из нее не выбирался.

На станции сбились в толпу. С Бондарчуком и его двумя приятелями держались рядом. Немцы, от паровоза, отсчитывали по шестьдесят человек и заставляли лезть в очередной вагон. Вагоны, будто, и привычные, двухосные, но и не наши, какие-то чудные, наверно от разных надписей на дверях и стенках: тут были польские вагоны, русские, немецкие, французские и с надписями на неведомых мне языках, наверно, голландские, венгерские, датские, — со всех стран Европы, которые гитлеровская Германия, захватив фактически их все, впервые в истории собрала в одно.

Перед посадкой выдали на дорогу сухой паек. Нам, голодным, он показался невероятно роскошным: по полторы буханки хлеба, и лучше лагерного, почти совсем пропеченного, примерно по фунту колбасы и сыра, по большому куску, с полфунта, маргарина и по пачке "кунстхонига", искусственного меда. Некоторые тут же принялись это богатство уничтожать, — помня об опухшем теле, я решил подчинить себя строгому режиму и есть понемногу.

Взобравшись в вагон, мы пробились под окно, но не к самой стене: легли на полу так, чтобы четвертый из нас оказался близко к середине. Прикинули примерно, где проходит ось, и ночью четвертый и третий, меняясь, лежа на животе принялись резать пол заранее приготовленным и наточенным ножем.

Они работали несколько часов, потом почему-то перестали. Я спросил шепотом Бондарчука, он также ответил: "Нож сломался. А другого нет". Доски пола были толстые, обломком не прорежешь, — этот вариант пришлось оставить.

Днем Бондарчук и его друзья осмотрели, как было замотано колючей проволокой ближайшее к нам окно. После осмотра

Бондарчук с радостью сказал: "Слабо замотано, открутить ничего не стоит". Решили попробовать ночью этот способ. Окно довольно широкое, пролезть не трудно.

За день немцы два раза останавливали эшелон в поле, предлагали желающим выбираться из вагонов для оправки. Но плохо, не было воды. Только раз немцы разрешили принести со станции десятка полтора котелков воды, — каждому досталось не больше кружки. Мы заметили, что конвойные, на тормозных площадках — галичане, из галицийской дивизии, наверно, о которой были слухи, но командовали всем немцы.

Время тянулось медленно, нам не терпелось, когда придет вечер. И как только начало темнеть, Бондарчук и один из его хлопцев стали осторожно, без звука, разматывать проволоку у окна. Один из пленных поблизости заметил, заворчал: что делаете? Увидят немцы, весь вагон перестреляют. В лагерях был слух, что если из партии пленных или из вагона убегает один или несколько пленных, немцы расстреливают всю партию или всех, бывших в вагоне. Но слухов в лагерях ходило множество и слишком многие из них были вздорными. Ворчавшего никто не поддержал, и больше возражений не заявлялось.

Наконец, стемнело достаточно, подходило, наверно, к полночи. Поезд, поскрипывая и погромыхивая, шел не быстро. На фоне далекого чуть светлеющего неба четко вырисовывался ясно очерченный прямоугольник свободного, ничем, даже проволокой не закрытого окна. Я встал, шепотом спросил: — Давайте же, чего медлите? Кто первый? — но никто не отозвался. Почувствовал, что никто первым быть не решается, — надо пробивать лед. Окно высоко, сам взобраться не могу, сказал Бондарчуку и его дружку: "Поднимайте меня". Они подхватили под поясницу и спину, подняли и высунули ноги в окно. Я лежал поясницей на нижней кромке окна. Надо перевернуться на живот, сватиться руками за кромку, спуститься, повиснув на руках, — тогда можно отцепиться и прыгнуть на полотно. "Поворачивайте на живот", — прошептал я. И в этот момент что-то грохнуло рядом, так оглушительно, что показалось едва ли не взрывом бомбы, пуля просвистела около моих ног. Вспышка выстрела молнией озарила ночь. Меня мигом вташили назад в вагон, Бондарчук с напарником стали

быстро заматывать окно, укрепляя проволоку на прежних местах. Скрипя и подвывая тормозами поезд медленно остановился, около вагонов забегали конвоиры, кричали, спрашивая, немцы. Совсем рядом, за стеной, что-то быстро говорил по-украински, объясняя, сидевший, вероятно, на тормозной площадке конвоир. Бондарчук переводил: говорит, что ему показалось, будто на крыше соседнего вагона крадется человек, он и выстрелил, но никого не было. Нам было ясно, что он не хочет выдавать нас: он увидел, и близко, рядом, мои ноги и выстрелил мимо, только для острастки, — так близко он не промахнулся бы и мог разнести пулей мои ноги вдребезги. Но как мы не заметили при посадке, что у нашего вагона есть тормозная площадка? (При высадке рассмотрели: вагон был неведомой страны, никогда нами невиданный; с другой стороны, где окно, в которое мы хотели вылезти, была у него железная лесенка и наверху сбоку прилеплена крошечная будочка, вроде скворешника).

Конвоиры прошли по обе стороны, светя фонариками на окна. Но проволока на месте, ничего не обнаружили. Минут через пять поезд снова двинулся в путь. Вскоре остановились на станции. Опять пошли с фонариками, осматривая окна и двери, нарушений не нашли.

Двух попыток с нас было достаточно. И нельзя повторять: теперь конвоир будет еще тщательнее следить за нашим вагоном. Огорченные, решили пока покориться судьбе.

К концу третьих суток приехали на место назначения. Ломило руки, спины, плечи: в вагоне, где полагается помещать "40 людей или 8 лошадей", нас было 60, — ни встать, ни сесть, ни повернуться. Мы, четверо, еще могли, тесня друг друга, немного шевелиться, — рядом пленные лежали скрюченные или пластом, без движения, все трое суток.

Отодвинулась дверь, пахнуло свежим воздухом. "Груз" начал оживляться. Осторожно спрыгивали на землю, расправляя затекшие руки, ноги. Где мы? На другой стороне, за вагонами, видны дома, очевидно город. Говорят, приехали в Холм, — так город назывался до первой мировой войны, когда был русским. Поляки называют его "Хелм", — нам, впрочем, все равно. Никакой роли не играло, в России мы или в Польше.

Путь здесь, оказывается, вплотную подходит к лагерю и мы даже не заметили, как вошли в него. Лагерь, повидимому огромный, внешней ограды не видно, идем по середине. По сторонам, за проволочными заборами, длинные холмы землянок. Лагерь здесь, очевидно, из землянок, как был наш запасной полк в Прохладном. И землянки того же, знакомого типа: делали наши же пленные.

Ведут дальше и дальше. Землянки остались далеко позади, перед нами на вытоптанном поле — высокие белые брезентовые палатки. В каждую загнали по двести-триста человек. Внутри, по обе стороны прохода, утрамбованная земля, — утрамбовали своими боками тысячи пленных до нас.

Размещаемся, опять начинается лагерная жизнь. Одни ищут, где тут вода, утолить трехсуточную жажду, другие пошли искать уборную, третьи смотрят, есть ли и что за соседи, ходят ли куда на работу, — все, как обычно. Меня, однако, ничто не занимало, кроме одного. Выбравшись из вагона, я словно случайно глянул на ноги — и ахнул: они были почти нормальной толщины! Нигде, ни на икрах, ни на коленях и выше тело не выпирало из распоротых или расползшихся штанов! Опухоль исчезла! Это было, как чудо. Что произошло? Трое суток почти без движения и воды и при сносном питании? Не знаю, причина осталась для меня загадкой. Я и не старался ее разгадывать: мне стало весело, хотелось громко смеяться. Вспомнился угрюмый колхозник в лагере на аэродроме: врешь, дядя, говорил, дойдет до груди — и конец, — не дошло! Еще вовсе не конец: не дошло! Сыч ты несчастный, ворон, беды накликающий — не дошло и теперь не дойдет! На-ка, выкуси!

И тут я сделал большую оплошность, может быть от радости на минуту потеряв над собой контроль. В палатку вошел человек в грязной, прежде белой куртке с красным крестом на рукаве, и полицейский. Медицинский чин сказал: есть среди новых больные? Остатки опухоли еще были на ногах, выше лодыжек, и я зачем-то показал их ему. Взглянув, он сказал, чтобы вышел из палатки и ждал у входа: он соберет больных и отведет их в лазарет. Теперь я подумал, что делаю ошибку: я вовсе не хочу в лазарет. Но было уже поздно: у эскулапа не располагающий к разговорам вид, не лучше и у полицейского.

Возражать, связываться с ними не хотелось. Взял рюкзак, пошел к выходу.

Позже, вспоминая ту ошибку, на долгий период определившую мою судьбу военнопленного, я не досадовал: может быть, она была даже к лучшему. Кто знает, как бы сложилось у меня дальнейшее, может быть еще хуже, останься я в палаточном отделении. В конце концов в плenу, как в концлагере когда-то, главной была одна задача: выжить или по крайней мере как можно дольше протянуть свои дни. Все диктовалось этим. А в этом смысле — ошибки не было, о чем тогда знать я, понятно, не мог.

Продолжение следует

Г. Андреев

ЗАГРОБНОЕ БЫТИЕ

На вечно, а не на столетья,
Нам дан искус свободной воли.
Есть в каждом "я" залог бессмертья,
Иной реальности юдоли.

И как бы не противоречил
Мне разума двуликий Янус,
Пусть путь недолог человечий,
Погаснет жизнь, но я останусь.

Глеб Глинка

ДОЖДЬ

Он начал в ночь, не обратив
Внимания на сплетни.
Он был навязчив, как мотив,
И тени незаметней.

И мне казалось, неспроста
Размером монотонным
Он стал вычитывать с листа
Параграфы закона.

Не умолкая ни на миг,
По-детски тараторя,
К стеклу оконному приник,
Со мной о чём-то споря.

Я согласился и постиг
под шум дождя ленивый
Все заповеди этих книг
И ливня переливы.

Все заблуждения и все
Пророчества на свете.
Как будто это был совсем
Не ливень и не ветер,

Который слова не замнет
В угоду непогоде.
Проходит ночь. Проходит жизнь,
И дождь к утру проходит.

Борис Орлов

СУДЬБА ЛЮДЕЙ ЭЛИТЫ В НАШУ ЭПОХУ

Мы уже давно вошли в эпоху скрытого или открытого гонения на подлинную элиту и стремления совершенно элиминировать ее или даже физически убить.

Элиту не нужно смешивать с гениальностью, хотя, как правило, гений и есть вершина, увенчание элиты. Ненависть толпы и ординарного человека к гению и крестный путь гения, превращающий того, кто носит этот поистине страшный дар, как бы в человека проклятого, или, во всяком случае, "заклятого", как бы вне закона находящегося — вещь хорошо известная. "Смерть Сократа и распятие Христа принадлежат к самым характерным признакам человечества", совершенно справедливо сказал Шопенгауер. Пушкин вторит ему и бросает толпе вызов:

О люди, жалкий род достойный слез и смеха
Жрецы минутного, поклонники успеха.
Как часто перед вами проходит человек
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и в умиление.

Проблемы элиты и ее судьбы в нашу эпоху коллективистического надругательства над человеческой личностью и над человеческим достоинством не совсем совпадают с темой гения и его судьбы во всех временах и народах. Ведь элита есть тоже

Эта статья известного философа, покойного Влад. Ник. Ильина прислана нам его вдовой Верой Николаевной, за что мы приносим ей благодарность. В тему статьи, по нашему мнению, входит и ответ на причину появления писаний подобных писаниям А. Терса о Гоголе, Пушкине и др. Р. Г.

коллектив. Правда, коллектив несравненно меньшего размера сравнительно с тем коллективом, внутри которого он живет, но все же коллектив.

Что такое представляет собой тот малый коллектив внутри большого, который мы именуем "элитой"? В старину этот малый коллектив именовался аристократией ума и таланта — такое именование было довольно точным — для тех обществ и культур, которые сами стояли на достаточно большой высоте, чтобы выделить из себя, то есть, всех своих клеток, сверху донизу, такую аристократию, как правило, редко и лишь частично совпадавшую с тем, что просто именовалось аристократией, то есть родовой знатью. То же придется сказать о вхождении в элиту аристократии донежной. Так или иначе, но когда мы произносим слово "элита", то всегда мыслим при этом отбор по какому либо признаку. С тех пор, как родовая аристократия была устранена и частью истреблена в процессе так наз. "буржуазных революций" (во Франции этим истреблением занимались "сенкюлоты" и организованные ими террористические корпорации), а влияние и авторитет аристократии донежной (она могла быть и потомственно-денежной) ослаблены социальными движениями, под элитой стали разуметь отбор согласно разным категориям умственно духовной деятельности: может идти речь об элите научной, философской, артистической, писательской...

Как правило элита лишена организационного признака и характеризуется естественным тяготением людей одинаковой духовной деятельности, где отдельный представитель такой деятельности мог бы быть понят и оценен, ибо имел бы там "общий язык". Язык этот, как правило, был мало доступен или вовсе недоступен "человеку улицы" — откуда отчуждание последнего от элиты, или же прямо противоположное желание этот язык постигнуть и тем самым стать "элите" близким и даже вовсе войти в нее. Таким образом, в понятие элиты неизбежно вносился признак корпоративности, даже очень типичный корпоративно-цеховый дух, хотя повторяем, без внешней официальной организации. Последняя в наше время имеет явную тенденцию заменять, именно через внешнюю организацию, элиту корпорацией и даже чем-то вроде профессионального союза,

порою вовсе сливаясь с последним по принципу "юридического лица" и единства материальных и профессиональных интересов. Но такое перерождение элиты в профессиональный союз должно быть в известном смысле понято как один из путей исчезновения элиты, правда, легкий безболезненный, это так сказать "элитная эвтаназия"... Однако, в наше время наблюдается другой, более зловещий и более драматический и даже трагический путь исчезновения элиты через оспаривание у нее со стороны "большого коллектива" прав вообще на существование и через ее насильтственное подавление, мы в нашем очерке имеем в виду собственно этот трагический путь исчезновения элиты через ее "убиение" в прямом или косвенном смысле.

Всё начали прямые предшественники большевизма и, попросту говоря, большевики до Ленина и Сталина. Эти большевики до Ленина и Сталина — русские нигилисты, шестидесятники и семидесятники, включая сюда и разные формы революционного народничества и радикализма, нередко и позитивизма. Достаточно только заглянуть и произведения таких писателей как Писарев, Чернышевский, Добролюбов, не говоря уже о Белинском, чтобы убедиться в том, что здесь мы имеем планомерный обскурантский гасительский поход против всего того, что имеет в себе малейший признак искры Божией. Это касается решительно всего, и решительно всех направлений, пусть даже материалистических или позитивистических. Так например, был затравлен и доведен до самоубийства заведомой клеветнической травлей Варфоломей Зайцев, блестящий русский биолог Владимир Онуфриевич Ковалевский, основатель научной палеонтологии, личность которого вызвала восторженные похвалы самого Чарльза Дарвина. Невероятной травле подвергся со стороны Чернышевского гениальный русский геометр Лобачевский. Ушаты помоев вылил Писарев на Пастера, на братьев Гrimмов, Шекспира, Рафаеля... То же проделал Белинский с лучшими произведениями Гете, Шеллинга, Пушкина, Гоголя. Михайловский с Тургеневым, Ткачев, Скабичевский с лучшими произведениями Льва Толстого, и так без конца. Конечно, если бы этим лицам была дана полицейская или государственная власть, они бы несомненно **ФИЗИЧЕСКИ ИСТРЕБИЛИ ВСЮ ЗАПАДНУЮ И РУССКУЮ ЭЛИТУ И УНИЧТОЖИЛИ БЫ**

ВСЮ ЭЛИТНУЮ ПЕЧАТЬ. В этом они недвусмысленно признаются на страницах "Современника", "Русского Слова", "Дела", "Катехизиса революционера".

"Золотое время" для русской элиты началось в России только после подавления революции 1905 г. В сущности настоящая элита и появилась в России в промежутке между двумя революциями. Она была кроваво и начисто сметена большевицким чекизмом.

Причины вражды большевицкого чекизма (марксизма) к элите многообразны. Но сюда входит не только мотив политический — истребление мозга враждебного коммунизму направления. Имеются в наличии по крайней мере еще две причины: невозможность конкурировать большевицкой безграмотной и совершенно бездарной полуинтеллигенции с подлинными мастерами духовно творческой работы и принципиальная вражда охлократии, каковой является тоталитаризм и диктатура масс, ко всем высшим типам жизни и творчества.

Сожжение бесценных рукописей гениального математика Ляпунова, после чего он застрелился (факт тщательно скрываемый большевиками) — явление именно этого порядка. Мартиролог умученной и убиенной большевиками российской элиты составил бы томы и томы.

У нацистов эта война приобрела другой, но столь же отвратительный характер. Не только истреблялась своя духовная элита, если она была подозреваема в "гуманизме", но особенно жестоко и мучительно убивалось все породистое и мало мальски талантливое, что не принадлежало к "избранной нации". Обвинять в этом одних немцев было верхом несправедливости. Здесь немцы были учениками. Подобного рода массовые злодеяния, где истребление духовной элиты было лишь частью общего плана, есть характернейший признак эпохи революции, открытой в 1789 году, когда казнили химика Лавузье, астронома Байи и поэта Андре Шенье. Вспомним знаменитые слова прокурора революционного трибунала Кофиналя — "республика в ученых не нуждается".

Характерный признак нашей эпохи — культ посредственности и "общего уровня". Толпы человеческие никогда не любили того, что поверх "общепринятого". По словам Тютчева:

Свет не таков, не косит сплошь
Но лучшие колосья
Нередко с корнем вырывает он.

Этой горестной теме Пушкин не раз посвящал свои негодующие сарказмы и боль своей души, пока сам не был убит, да еще дважды. В первый раз от рук тогдашнего общества, о котором он сказал:

И даже глупости смешной
В тебе не встретит свет пустой.

А во второй раз, уже после смерти, когда его произведения были подвергнуты недостойному, бездарному, глупому и пошлому надругательству Писарева, властителя дум тогдашней молодежи, нигилистических недорослей, возглавлявшихся не только одним Писаревым. Здесь не мешает вспомнить, что тот же Писарев с грязью смешал Лескова, продолжая красоваться на пьедестале большевизма в качестве одного из отцов "материализма", назначение которого неизменно одно и то же — истребление ума и таланта.

Мы живем, помимо прочих прелестей, еще и в эпоху сверхпошлости, которая просочилась повсюду, культа серой бездарности и обожания арrogантной сверхпошлости. Одна из важнейших причин гонения на отдельных людей элиты, как и на самый принцип элитности — та, что элита и ее представители являются собой "ведущий образ" не только в духовном, но часто и в физическом смысле. "Ведущий образ" — по счастливому выражению Ф. Кренкеля — обладает загадочной способностью формировать по своему образу и подобию всех тех, кто им захвачен, кто им увлечен — независимо от собственного происхождения. Впрочем, и без этого всем известно, до какой степени образ жизни, мысли и занятия отражается и на лице и на всем внешнем облике человека. Отсюда ненависть черни совершенно инстинктивная, но тем более стихийная и убийственная, палаческая в отношении всех тех, кто отличается от черни (даже если она по крови "знатна"). У Замятин есть рассказ "Дракон", очень хорошо передающий эту ненависть, кончающуюся убийством. Ненависть эта отнюдь не социального происхождения и тем более не национального. Ненависть к элите — чисто духовная, если угодно, в известном смысле бес-

корыстная. Но тем более велика сила беспощадности этой ненависти.

Особенно ярко сказывается эта вражда в одноименной среде, например, в артистической, в ученой ("профессорской"), в среде духовенства. Здесь вытеснение, "выживание" людей элиты особенно характерно и беспощадно.

Из этого выясняется, что принадлежность к корпорации людей умственного труда или какого либо искусства еще далеко не означает "элитности". И обратно, можно принадлежать к тончайшей элите и не иметь с людьми соответствующей профессии ничего общего, даже жестоко враждовать с ними, как это мы, например, видим на примере Шопенгауэра. Как правило, общая масса "профессоров", "писателей" и "артистов", пожалуй, должна быть отнесена к "антиэлите", к "черни" в еще большей степени, чем ничего общего как будто с наукой или с искусством не имеющие.

Более чем когда-либо человек элиты переживает мир как пустыню, населенную мерзкими чудовищами — из породы тех, которых Татьяна видит в своем вещем сне:

Один в рогах с собачьей мордой
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый

.
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке.
Вот мельница в присядку пляшет
И крыльями трещит и машет.

По замыслу Пушкина Таня — вершина элитной утонченности, духовного аристократизма и ее сон — символика окружающего ее мира "как все". Язык же и мысли этого мира, в котором "нет ни капли толку":

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская мольвь и конский топ...

Какое расстояние отделяет человека от зверя? Оно равняется расстоянию, отделяющему человека от беса. И символика сна Татьяны это показывает.

Зато и мстят же "обыкновенные люди", "чернь" — "людям элиты". И убийство — еще лучший исход. Ныне наступило нечто худшее: *ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ НА ВЫВОРОТ*. Не ум, а тупейшая шутовская глупость в почете. Не красота, но омерзительное безобразие. Не остроумие, но тупейшее меднолобие. Не музыкальный голос, но козлиное блеяние и хрюканье удавленника. Не танцы, но идиотское дрыганье и кретиничный оскал до висков... А элита — пусть убирается по добру по здорову — хотя ныне в мире так тесно, что ей, да еще без денег, нет места даже и на кладбище.

Вл. Ильин

ЧЕРНАЯ КОШКА

Дала ли тьма (хаос, ничего) согласие на то, чтобы из неё творили мир?

— Нет.

Отсюда зло: месть тьмы.

Тьма сама по себе не зло. Она — вольная воля.

Тьма мстит Отцу-Творцу за самовластье:
Творенье мира из неё самой.
Тьме не по вкусу оставаться частью:
Хотя бы лебедя, а не собой.

Тьма: воля. Ей воронками крутиться,
Змеино красться явно веселей.
Финтя, фосфоресцируя, Денница,
Злом именуемый, роднится с ней.

Ему бы акциденцией, бациллой,
Исподтишка кондрашкой... ножкой пнуть.
А всё же кажется мне чем-то милой
Тьма... где ни зги и затерялся путь.

О, Господи, полуденно сия,
Тьму, кошку, черненькую приласкай.
Мяукая доверится, родная:
Не только белый, но и черный рай.

Юрий Иваск

*

Рассвет таинственен и звонок,
Как ржанье рыжих жеребят,
Потягивающихся сонно
К теплу живому, теребя

Сосцы тугие в синих жилах,
Струящих нежность и уют,
Пока степенные кобылы
Степную сочность трав жуют.

Рассвет чуть слышно тронет веки,
И сна нарушит рубежи,
И жизнь проснётся в человеке,
По синим жилам побежит.

Ах, эта тайна, эта жажда
Неутоляемая — жить!
Что каждым вздохом, клеткой каждой
Тебя влечёт, заворожив,

Ручья лесного лёгким плеском,
Цветным хрусталиком росы,
Пробравшимся за занавеску
В пылинках лучиком косым,

Всем жадным любопытством к свету,
Чем утолённей, тем острей...
Российским розовым рассветом
Вели поэта на расстрел.

Михаил Крепс

О ПОЭЗИИ ИВАНА ЕЛАГИНА

...я, по воле дивного
Случая или не случая —
Акционер правдивого,
Великого и могучего...

И. Елагин, "Завещание"

1

"У вас тут, под боком, есть такой поэт, как Елагин, а вы приглашаете меня!" — сказал в году 72-ом Евгений Евтушенко, выступая перед многотысячной аудиторией в Питтсбурге (Пенсильвания).

Не знаю, что в этих словах было от позы, что — для пущего контакта с молодежью* из местного университета, где Елагин читает курсы по русской литературе, но объективной правды было здесь достаточно: в русской поэзии наших дней Елагину принадлежит одно из первейших мест.

Декларативность этого утверждения как зачин критического разбора оправдана, мне кажется, самим статусом эмигрантского поэта. Об эмиграции как спасении и как трагедии написано премного, отчасти и спорного, но творческое одиночество — данность неоспоримая: поэту жутко оказаться один на один с историей, с собственной судьбой, с творческим своим голосом, у которого нет и не может быть полнозвучного эха. "Что же, если

*Интересно характеризует Е. Евтушенко живущий в Москве известный ученый А. Зиновьев в своей книге "Зияющие высоты". Эта книга только что вышла по-русски в Лозанне, в Швейцарии. О Е. Евтушенко А. Зиновьев пишет: "Поэт Распашонка — любимец молодежи, Органов и американцев". (стр. 335). РЕД.

я уехал из Белевского уезда, так и перестал быть русским писателем?" — гневно спрашивал Бунин, и доказал творчески, что не перестал; но ведь сказано это было три-четыре десятилетия назад. А потом эхо всё глохло, и к самому вдохновению прокрадывалось убийственное "зачем?" вместе с жалобами на отсутствие читателя, на критику, у которой за снобистским, сквозь зубы: "молодца, молодца"... или привычными, как рукопожатие, одобрениями, одинаково угадывалась утрата подлинного критерия. Снова — о Бунине (у него посчастливилось мне бывать в последние годы его жизни): как тревожило этого лауреата не нобелевской только, но Пушкинской премии кажущееся забвение его как поэта...

Речь идет однако не об ущербности эмигрантской славы (как раз Елагину, уже переводимому на английский и встречавшему большую американскую аудиторию, сетовать на эту ущербность, пожалуй, и нечего), но — о той структурной, я бы сказал, деформации отдельных поэтов, которую несет с собой эмиграция сама по себе — как катаклизм, как бытийный обрыв традиционных и драгоценных для творчества нитей и опосредствований. Выливаются ли эта деформация в лиротему "изгнания", помноженную на неродные березки, в публицистичность или в "щебетанье щегла"** — она всегда ощутима.

Самый отчетливый из ее признаков, пожалуй, — автобиографичность творческого самовыражения поэта, — его тем, его образов, лирического "строя" и языка.

Такой высокий коэффициент личного вижу я в поэтике Елагина; отсюда некоторая биографичность и этого моего эссе.

*

Литературная династия Матвеевых (настоящая фамилия Елагина) — четыре поколения; к последнему принадлежит дочь поэта, Лиля, опубликовавшая не так давно несколько свежих и

* Взято из Заболоцкого:

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

обнадеживающих стихотворений; к третьему — боковому — поэтесса Новелла Матвеева, двоюродная его сестра.

"Отец Ивана, Венедикт Николаевич Матвеев (Венедикт Март), — пишет мне поэтесса Ольга Анстей, к которой обращался за живыми биографическими справками, — был во Владивостоке с 1918 по 1921 год редактором журнала "Великий океан". Рассказы и красочные очерки его появлялись в ряде журналов и альманахов — дальневосточных, в мире Приморья, а также в "Огоньке", в "Вокруг света". Выпустил В.Н. и сборники стихов (помню из них один: "Черный дом"). Был он удивительным человеком с детской, Божьей душой; какое-то чистое отношение, чистый подход к каждому человеку, евангельская бессеребреность, великолепное равнодушие к земным благам"...

Привожу эти строки, потому что об отце, арестованном и расстрелянном в ежовщину, незабываемо у Елагина:

* * * * *

Ночь. За папиросой папирosa,
Пепельница дыбится, как ёж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаешь?..

Это — из небольшой посвященной отцу поэмы "Звезды", сороковых годов. Или, уже из семидесятых — "Амнистия":

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил...

Я слышал, как читал это стихотворение сам поэт, и как пульсировала в зале тишина, вбиная жуткий перечень:

А если он умер,
То наверное жив человек,
Что пытал на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.
Может быть, конвойр еще жив,
Что отца выводил на расстрел.
Если бы захотел,

Я на родину мог бы вернуться.
Я слышал, что все эти люди
Простили меня.

*

Автобиографичен первый большой сборник "По дороге оттуда", выпущенный издательством им. Чехова в Нью-Йорке в 1953 году и включивший в себя два ранних, тоненьких, вышедших в 1947 и 1948 годах в Германии. Автобиографичны в нем сами названия стихотворных циклов: "Город юности", "Смертью подуло", "Музеи войны", "Ты, моё столетье".

Город юности — Киев. Зрелая живопись передает его, милые поэту, черты: краски ("Эти облитые кровью Клёны у изголовья), контуры:

И лестница упала там
До самой пристани, до самой
Волны сутулой и упрямой,
Надоедающей бортам...

Тут же и мотив всенародной трагедии тех лет, перекликающийся с много позже дошедшим до нас ахматовским "Реквиемом":

О Россия — кромешная тьма...
О, куда они близких дели?
Они входят в наши дома,
Они щупают наши постели...

Разве мы забыли за год,
Как звонки полночные били,
Останавливались у ворот
Черные автомобили...

И замученных, и сирот —
Неужели мы всё забыли?

"Смертью подуло" начало войны и затем — оккупации. О вымирающем от голода, замерзающем Киеве той поры рас-

сказывает в своей книге "Повесть кривых лет" землячка Елагина, писательница Татьяна Фесенко: "Частым гостем бывал у нас Ваня Матвеев, худенький, черненький, совсем еще молодой талантливый поэт. Сколько раз, бывало, распилият они с мужем притащенную откуда-то доску, и пока в нашей печурке закипает неизменный пшённый суп, Ваня читает нам свои стихи, жуткую "Камаринскую", написанную им под впечатлением недавней расправы на Бессарабской площади:

В небо крыши упираются торчком!
В небе месяц пробирается бочком!

На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька..."

Душевное смятение перед многоликой катастрофой этих первых военных лет выразительнее всего, может быть, в более поздней, некрасовского, плачущего ритма, медитации:

.
Была ж Россия мамонтом,
А не прошло полвеку-то —
Сожгли тебя! От сраму-то
Тебе деваться некуда!

.
Как у своих-то перченко,
А у чужих-то солено!
Как из огня теперича
Попали мы да в полымя.

Из-под кнута-то отчего
Да под дубину отчима!
Тот Соловками потчевал,
А этот смертью потчует!..

("Над вётлами, над ульями")

В годы 1943-46 у Елагина, по свидетельству О.Н. Анстей, "...наступает период полной немоты. Всё погибло — Россия, язык, поэзия. Два тирана правят миром. Сгребши все свои рукописные тетради, он сжигает их в печке. ...Наконец — перелом, толчок какой-то внутренний. Рождается первое — после этого застоя — живое стихотворение, и в сущности оно — шедевр. Это "Пехотинец"..."

Охотно соглашаюсь с этой оценкой: помимо пластической живописи, покоряет в этом, ставшем уже хрестоматийным, стихотворении некое подстрочное безмолвие, гармонически завершающее тему войны:

Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море.
А на путях дымятся груды шпал,
И проволока вянет на заборе.

Они молчат, свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.

"Пехотинец" открывает богатый творчески "мюнхенский" период, когда пишутся такие не затемняемые самим бедным прочтением вещи, как "Звезды", "Слова, что камень — никогда не дрогнут" и многие другие. Сюда включается и цикл "Ты, мое столетье", где впервые так отчетлива непокорная пытливость и скепсис в оценке окружающего; крылаты строки, отражающие судьбу "перемещенных":

Видно, дела плохи
Великолепной эпохи:
Полицейские атташе
При каждой живой душе.

*

Сборники: "Отсветы ночные" (1963), "Косой полет" (1967), "Дракон на крыше" (1974) — это уже новый, американский период, длящийся и поныне. Он входит в поэтику Елагина новыми же поэтическими структурами и звучаниями. Остается ли в силе отмечавшаяся выше автобиографичность? Да, остается, если иметь в виду не событийно-тематическое, но внутреннее, личное начало поэтического выражения. Лирическое "я" у Елагина, в отличие от многих индивидуальных поэтов, всегда деятельно и слышимо. Это обычно грамматически означенное "я" — не "я" наблюдателя, но — сопереживателя, стремительно и беспощадно ставящего себя рядом с самой грозной бытийностью в

качестве оппонента ли, жертвы ли, всегда с независимым голосом. Грохот и громадье заокеанского города, например, входит в первые же поэтические отклики не фотографически, но — как на ринге, в неравной схватке со смятением и протестом лирического героя:

Эти кубы, параллелепипеды,
И углы, и бетонные плиты!
Тень! с тобой из орбиты мы выбиты,
Тень! в чужую орбиту мы вбиты.

Или:

Послушай, я всё скажу без утайки.
Я жертва какой-то дьявольской шайки.
Послушай — что-то во мне заменя,
В меня вкрутили какие-то гайки,
Что-то вмонтировали в меня.

.
И отключили от Божьего мира
Душу мою, моего пассажира.

Тематически выражение авторского сопереживающего и оппонирующего "я" у Елагина многогранно на диво, в позднейшие годы — особенно, и об этом надо сказать подробнее.

2

"Я" творческого самораскрытия первоначально для главной, как кажется мне, темы елагинской лирики — темы осмысления сущего в тех катастрофических сдвигах, в которых, по ощущению поэта, это сущее глобально и необратимо сместились.

С такой именно экспрессией передано бедствие войны в лучшем стихотворении военной темы "Звезды":

Наше небо стало небом черным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят.
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди

Мира металлическую грязь!

Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не подымем,
Потому что знаем: неба нет.

"Неба нет". Отчаяние это прозвучит смелой жалобой на "хаос Божьего экспромта" в открыто богооборческом, редкой в нашей поэзии силы стихотворении "Кому-то кто-то что-то доказал":

• • • • •
Наказывай! Нас не прельщает рай,
Твой тихий рай, Твой остров голубиный!
На головы нам молнии роняй!
Топи в морях! Гони нас в рай дубиной!

Во имя человеческой тоски
Мы отречемся от твоей опеки,
Чтоб драться вновь за рыжие пески,
За облака, за голубые реки!..

Этот богооборческий мотив эпизодичен у Елагина, не продлен, но преломлен в его осмыслении мира как привкус и подстрочное звучание. В том же "По дороге оттуда", где были помещены эти строфы, его как бынейтрализует надежда двух последних заключающих сборник строк:

На земле моей будет чисто,
Бог умоет землю мою.

Но в настоящем горечь словно бы неизбывна. Мир — "кровавая лужа"; "Зачем тебя избрали мы владеньем, Диковинная горькая земля?". Угроза гибели, позорной и безвестной ("Мы — те, кто умирать спускается в подвал"); бездомность, скитания ("Может, просто из пушки Кто-то нами пальнул!"); безнадежность:

Год за годом — верста за верстой...
А про счастье слыхали наслышкой.
Все мы платим земле за постой
Сединою, тоской и одышкой.

Мотив горечи был бы, пожалуй, слишком пронзителен, если бы не переплетались с ним благостные впечатления жизни,

богатые отражения "нового" и не противостояло бы ему жизнестойкое, непокорное "я":

Я времени не попутчик!
В потоках его шипучих
Плыту вперекор ему...

В последний, американский, период отражения эти калейдоскопичны. Тут не только космическое вторжение "металлической грязи" земли в первозданную ясность мира ("Гигантские гвозди, Стальные антенны, Там выкачен воздух Из целой вселенной"), — тут целый поток поэтических откликов на видимое и познаваемое в по-новому найденных ритмах, звучаниях и модуляциях впечатлений, негодования и иронии.

Биографически "подспудное" в это время — неизбежные для переселенца мытарства по жизнеустройству, работа ради хлеба насущного, работа над докторской программой и диссертацией; позже, уже с профессорским званием, — другие пути освоения приютившей страны: каникулы в Вермонте, Нью-Хэмпшире, творческие вечера, доклады и чтения в Калифорнии, Мериленде, в десятках университетов разных штатов, встречи, контакты, дискуссии — поле обширнейшее для узнаваний и обобщений. Но вернемся к "отражениям".

Вот, например, изуродованная хищническим туризмом и рекламами Ниагара; торгашеской же рекламой "арендованное напрокат" Рождество; панорамы улиц с углами роскоши и убожества ("Не доверяй коврам И мраморным ступеням, Павлиньям веерам, Ночным столпотвореньям. Верь звонким чердакам, Что жмутся к самым крышам. Поближе к облакам Свободнее мы дышим"). Вот гротеск-зарисовка уличной политической демагогии и склоки ("Четыре угла"), убийства ("Современная баллада"); вот Гринвич Вилидж — ночная эстрада, "сомогильники" поэта над рюмкой, стриптиз...; еще раз "Гринвич Вилидж, 1970" с мотивом трагической розни двух поколений ("И на папаш Дети глядят брезгливо: Дескать родитель наш Пышно созрел для взрыва"). Вот феерия пошлости обывательского вкуса и быта: лирический герой вдруг забывает свой адрес и имя; за снявшейся перед ним стеной огромного дома открываются ему как две капли воды друг на друга похожие квартиры, среди которых он не в силах опознать свою

(“Одной и той же картины Торчит отовсюду кусок! Свисает из каждой гостинной Копия Пикассо”...).

Творческое отчуждение между окружением и авторским “я” сознается последним как обреченность (“Чучелом в огороде Стою, набитый трухой. Я — человек в переводе, И перевод плохой”...).

В самых поздних стихах можно встретить как бы своеобразное поэтическое “резюме” этой сквозной и ёмкой “онтологической” темы лирики Елагина. Таково, например, стихотворение “Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой”, напечатанное в №4 “Континента”; или — вот это:

.
Мы — тоненькая плёночка живых
Над темным неизбывным морем мертвых.

Хоть я и обособленно живу, —
Я все же демократ по существу,
И сознаю: я — только единица,
А мертвых — большинство, и к большинству
Необходимо присоединиться.

*

К теме осмысления сущего и в нем себя — плотно и даже командно примыкает тема “творчества”. Сплав обеих тем особенно звучен в поэме “Льдина”, великолепной апологии творческой независимости:

Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!

.
Льдину без компаса и без маршрута,
Льдину, что стала над пропастью круто,

.
Без мавзолея и без капитолия,
Льдину, которой милее приволье,

.
Льдину, куда не опустится летчик,
Льдину мечтателей и одиночек!

Сама же по себе “творческая” тема представлена у Елагина

щедро: здесь и о природе поэтического свершения ("Ученый умно втолковывает, Где точка, а где тире. А поэт сидит и приковывает Петуха к заре"), и о звездной единственности творца высоких созвучий, в неладах с собственной судьбой ("Поэт"), тайном и трагическом условии его подлинности и существа ("Но помни, что ты настоящий, Лишь всё потеряв, Что запах острее и слаше У срезанных трав"). Или:

Говорят, что поэт — поёт,
Но не верю я фразам дутым.
Говорю, что поэт — полёт
С нераскрывшимся парашютом.

Трагический призвук этих строк возвращает нас к истокам моего разбора, где речь о творческом одиночестве поэта в пустогрудом окружении зарубежья. Что — за ним, этим одиночеством?.. "Полетать мне по свету осколком, Нагуляться мне по миру вспять, Перед тем как на русскую полку Мне когда-нибудь звездно упасть" ("Не была моя жизнь неудачей"); "Обнадежь меня, время, скажи, Что я вставлен в твои витражи"... ("Как с трамплина влетают в бассейн").

Горький мотив времени, раскалывающего поэтическую судьбу, как хрупкий сосуд, и хоронящего ее в своем потоке, пронизывает и замыкает маленькую лирическую балладу "Жил Диоген в бочке" — одну из лучших вещей Елагина, "хрустального", я бы сказал, литья ("... Попробуй, найди мой день, Вчерашний иль позавчерашний, — День, что уже прожит И отбыл во тьму веков. Кто же меня сложит, Как вазу из черепков?").

Прислоняются к теме "творчество" сатирического почерка "Гимн цензору", "Гимн цензуре", взволнованное, перекликающееся с волошинским "Тёмен жребий русского поэта" размыщление об авторских правах ("Я сегодня прочитал за завтраком").

К политически заостренной сатире относится стихотворение "Невозвращенец" (о "реабилитации" Данте), "История стихотворца" ("С веком рассорясь, Жил стихотворец. Он напевал, А его наповал"...). В 1959 году вышел сборник елагинских фельетонов в стихах; говорить о нем сейчас нет места, отмечу разве лишь лапидарно точное определение висящего над

всеми пишущими в Советском Союзе закамуфлированного запрета:

Ах, для того ведь социалистический
И существует реализм,
Чтобы никто не смел реалистически
Описывать социализм.

*

Лирика любовная редка у Елагина, "денисьевского" цикла у него нет; отдельные стихотворения этого звучания ("Их было много — золотистых ливней", "Так же звезды барахтались в озере", "Как мятежники держат ружьё" и др.) относятся, главным образом, к ранней творческой поре; редкие позднейшие — чуть бурлескны ("Женщина в блеске свечей") или представляются как бы притушенными отсветами этой темы.

В отличие от многих поэтов-эмигрантов нет у Елагина и непосредственного обращения к теме "Россия", ни мотива "утраты". "Мне незнакома горечь ностальгии" — так начинается одно из его стихотворений. Позади этого утверждения — разбросанные по ранним сборникам родные пейзажи и замыкающие тему строки прощанья:

Родина! Мы виделись так мало...

• • • • •
Долго так не выпускали ивы,
Подставляя под колеса плоть.
Мы вернемся, если будем живы,
Если к дому приведет Господь.

3

Я предвосхищаю упреки в попытке разложить творческое богатство поэта по тематическим полочкам; упреки, отчасти и справедливые — к какой, в самом деле, рубрике можно бы отнести поэтические удачи вроде "Море упрашивало: "Паша, Паша"..., "Скрипач" и многие, многие другие? Но оправдано ведь и желание разведать это богатство, расчленяя его уже в предварительном описании. Оставаясь при своем членении, я

намеренно напоследок обращаюсь к теме природы у Елагина, потому что, черпая из нее, легче всего, пожалуй, коснуться его мастерства.

Каштановым конвоем
Окружено окно,
И вся земля запоем
Пьет красное вино.

Это один из ранних пейзажей осеннего города, с голубым автобусом, бегущим вдоль бульвара сквозь половодье палого листа:

Он весь, как на эстраде,
Под рыжей бахромой,
И люди в листопаде
Не ходят по прямой.

От парка и до парка
Он ветрами несом,
И осень, как овчарка,
Бежит за колесом.

Привожу эти строфы, потому что в них, как мне кажется, уже отчетливы ключевые черты живописной манеры Елагина: щедрость красок, не барочно-нагнетенная, но интенсивная в смысле броской отборанности и свечения, напоминающая, если допустимы сравнения, может быть, Матисса. Затем — стремительная раскованность метафоры, сжатость и ритмическая упругость образной строки. Черты эти гранятся и ширятся в последующих экспозициях "любезной сердцу осени", в целой галерее осеней, протянутой сквозь все сборники поэта: "Сразу же за гаражем", "Осень, осень — торопливый график", "Какая осень!" и др.

Луна в пейзажной мозаике Елагина — постоянный участник; целый цикл его первого сборника носит название "Луны"; облик луны — предмет смелых метафорических остраний (луна — "небесный подкидыш", "Расплавленная луна По капле стекает с весел", "Длинным зеленым ножом Луна перерезала крышу") и метафорических же медитаций ("На луне ни звука").

Грозы в нашей поэзии представлены несколькими шедеврами. Тем не менее, елагинское "Сколачивали тучи всклад-

чину В горах вечернюю грозу" просится в самую высокую классику. Тоже и его дожди: "Снова дождь затянул стирку", "Лужицы — как цинковые миски". Или — стихотворение, начинающееся строчкою:

Дождь бежал по улице на цыпочках...

Эта строка рождает неизбежную, кажется, ассоциацию: Пастернак! — и я сделаю небольшое отступление для рассуждения о "влияниях".

"К концу киевского периода, — пишет в письме ко мне о Елагине О.Н. Анстей, — в центре его внимания стоял Пастернак. Но влияние?.. Едва ли. Нельзя серьезно говорить о влиянии Пастернака на творчество Ивана на том основании, что две киевских вещи написаны размером "Спекторского", или потому, что строчки: "Когда б не этот смазчик, Склоненный над чугунным колесом"... ассоциативно зацепляются за пастернаковские: "Карениной — так той дорожный сцепщик В бреду под чепчик что-то бормотал". Вообще, пожалуй, можно сказать, что Иван *влияниям* не был подвержен".

Вполне разделяю это заключение. Сложная и тонкая проблема влияний, надо признаться, часто упрощается, становясь подменой подлинного исследования: в конце концов творческий облик большого поэта определяется не сходством с другими, но тем, чем он на этих других *непохож*. "Влиянием" незаконно называют иной раз никем не минуемую преемственность,озвучность формы, составляющую само "время" поэзии. В свете такой созвучности в стихах Ивана Елагина можно различить отклики блоковского синтеза образа и музыки стиха, цветаевских "непобедимых", по выражению Белого, ритмов, шершавой весомости строки Маяковского, даже, пожалуй, и звонков гумилевского "Заблудившегося трамвая". Но только — отклики. Возвращаясь к Пастернаку: есть ли черты его поэтики в елагинской лирике природы?

Припоминаю известное:

Я б разбивал стихи, как сад.

Всей дрожью жилок

Цвели бы липы в них подряд —

Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты...

Отвлекаясь от внутренней темы этих пастернаковских строк (ищется здесь выражение "свойств страсти"), само это взволнованное нагнетание в стих природных реалий и распоряжающееся ими лирическое "я" находит у Елагина-пейзажиста многократное и расширенное, как проекция на экран, воплощение. Его "я" при этом значительно "деятельнее" пастернаковского — командно аннексирует луны, звезды, закаты, ветры, деревья, сосредотачивая или перемежая всё это в щедром разливе красок:

Я вывеску приколотил:
— Лавка ночных светил —
Я нанизал, как бусы,
Луны на все вкусы...

Или — об окне, которое поэт возит с собою, "вставляя в стену" на остановках:

Приглашаю я в окно закат.
Птицы пусть в окне моем летят.
Ветку на окно мое кладу,
Рядом сбоку вешаю звезду.

Целые цветовые симфонии растекаются по строфам и строкам. Закаты: "Я золотой закат переплавляю в слитки". "Я умиленно составлю каталог Дымно-лимонно-оранжево-алых, Медных закатов, Дымных закатов, Летних закатов, Зимних закатов." Восторженный поэтический вернисаж посвящен осеннему дереву:

Осень в него вложила
Золотоносные жилы,
Солнца вкатила столько,
Что светится, как настойка!

Фантастической расцвеченностю поэт наделяет даже ветер ("Я не знаю, где бы выпросить, Краску, чтобы ветер выкрасить") — так "визуально" его ощущение природы, так доминантны впечатления зrimой гармонии:

А что мне делать с красотой,
В мои глаза накиданной?
С такой крутой, такой литой,
Такою неожиданной?

Визуальность творческого впечатления у Елагина не ограничивается, конечно, темой природы — она и в живописи городского пейзажа ("Окон неоконченный пасьянс, В сумерках разложенный на стенах"); ощутима она и тогда, когда осложняется "слышимым":

Пронесся в небе звук протяжный,
И зашипело всё кругом,
Как будто бы по ночи влажной
Прошли горячим утюгом.

(“Реактивный самолет”)

*

"Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости"… — писал Елагину Иван Бунин.

О богатстве елагинской образности, ее пластиности, об энергии и звучании его строфы говорилось во многих отзывах*; тоже и о ее свежести. Касающиеся этой свежести, то есть собственно "нового" в его поэтическом инструментарии, есть у него строчки-советы дочери Лиле:

Чтобы стих по-степному был дик,
Как душа, был широких размахов,
Напусти в него слов-забулдыг,
Слов-отверженцев, слов-вертопрахов.

И в словах оставляй сквозняки.
Если схватит читатель простуду,
Значит ветер качает стихи,
И стихи уподобились чуду.

Новизна "сквозняков" у Елагина самородна и непосред-

* В одной из своих статей: "Строфы и звоны в современной русской поэзии" ("Новый Журнал" № 15, 1974) я писал об аллитерациях у Елагина.

ственна. Бодлеровский завет "нырять в глубь неизвестного в поисках нового" осуществляется у него без того, чтобы был заметен процесс ныряния. Его "сквозняки" — в центробежном напоре и дерзости эмоционального выражения, в "при цельности" эпитета и афористических крылатых строк и концовок.

Всё это, однако, — черты елагинской поэтики в целом, независимо от ее возраста. Но выше уже намечались отчасти две ее череды: ранняя и позднейшая, с некоторыми новыми приметами поэтической тональности и структуры. Примет этих нельзя обойти.

*

Несколько упреждая самого себя в части аргументации, скажу, что в эту вторую творческую пору взглядывание в жизнь у Елагина иной раз словно бы осложняется оптическими приборами; лирический голос приобретает бурлеские бемоли; творческое воплощение увиденного то и дело смещается во вне реалистический "аут"; поэтической формой охотно становится неровно пульсирующий лиро-эпический гротеск.*

Смещения эти особенно явны в мотиве конфронтации авторского "я" со "страшным" миром (слово "страшно" беру из авторского же попутного употребления), с кибернетическими обертонами этого мира, его — космической ли, уличной ли — радиоактивной суэты.

Таков, например, "Мой день" ("Который был отдан, Который вручен без остатка Углам, переходам, Туннелям, мостам, пересадкам, И всем телефонам, И пошлости всех разговоров..."); таково безымянное: "Я просыпаюсь"..., где раскалывается уже не день, но сам облик поэта в "триплет" смятенного жителя огромного города ("И всем нам наперерез: МАНЕ-ТАКЕЛ-ФАРЕС"); или:

* Речь идет о "главном направлении". Традиционно-лирическое подчас продолжается, обретая в некоторых последних вешах отчасти новые структурные грани, — "Нечто вроде сценария", например.

Я сначала зашел в гардероб,
Перед тем, как направиться в зал.
Сдал на время мой крест и мой гроб,
И мой плащ, и кашне мое сдал...

Сюрреалистична — если пользоваться этим термином — в маленькой поэме "Со дна" погружающаяся в океан авторская субмарина ("Я нашел себе страну, Ту, что научилась Погружаться в глибину, Точно Наутилус"). Оттуда, со дна, в саркастический прищур разглядывает лирический герой на поверхности "чистенького и гладенького" теоретика века, "развоплощенного", как современное искусство: "У приборов топчется Бородатый агнец И больному обществу Ставит он диагноз". Это — чужеродное; близкое же — ощущение одиночества и словно подмененности собственного бытия:

Ночной темнотою укрыт как щитом,
Я выдумка тоже. Я тоже фантом...

В другой небольшой поэмке "Дракон на крыше", по которой назван предпоследний сборник Елагина, мироощущение это получает еще более выразительное остранение. Остраниается собственно сам творческий абрис поэта с его глубинной отчлененностью от окружения, его скепсисом, его сарказмом, даже и с шершавостью его бурлескного поэтического словоотбора:

На драконе чещуя,
Он в буграх и лишаях...
Вам открою душу я —
А дракон на крыше — я!

Гротеск здесь предельно отчетлив и остр. И — в острой же перекличке с современностью:

Я сейчас снимусь со старта —
Улетаю в Бамбури:
Там на конкурсе поп-арта
Заседаю я в жюри.

Бурлеская сниженность некоторых пассажей выводит порой крупным планом незначительное, создает скороговорку:

У кого какой артрит,
Тот о том и говорит.

("Гости поналезли")

"Вы безусловно считаете эти строчки поэзией?" — спросил меня как-то один эмигрантский стиховед. — Безусловно считаю, — ответил я, — если не выхватывать их из текста, если различать то звучание лирического "я", которое за ними стоит: полугнев-полуболь, полусарказм-полусочувствие. Мироощущение этого авторского "я" у Елагина в равной мере синтетично и целостно; наредкость целостно для эстетики эмигрантского поэта и наредкость же полно, как мне кажется, отражает ее бытийность и ее внутренние полярности. То есть: Еще не потушенные краски неба и веру, сменяющую скепсис уже цитированного выше "Со дна":

... те, для кого я — отрезанный ломоть,
Я знаю: меня захотят они вспомнить.
Моим одиночеством темным звена,
Как груз потонувший, подымут меня.

Но и безнадежное: "Я знаю, что неба не хватит", и, на черном горизонте, — мистическое "Созвездие Топора", давшее название последнему сборнику поэта.

*

Очерк этот, конечно, неполон. За пределами его осталось многое творческое И. Елагина — его комедия-шутка в стихах, его шуточные же поэмы, стихотворения и эпиграммы, опубликованные или только бродящие по рукам. Обошел я и переводные его вещи, в том числе огромную, в двенадцать тысяч строк, поэму Бене (Stephen Vincent Benet) "Тело Джона Брауна", легшую в основу докторской диссертации И. В.

Но и в части главного, сказанного, очерк этот — только подступ к будущим исследованиям и оценкам: "главного" слишком много, и отобрано из него, вероятно, не всё — поэтическое слово у Елагина, как правило, лишено "посторонней", по выражению Пастернака, остроты, не связанной кровно со знаменательным смыслом; страницы его сборников почти не содержат "проходных" строф, но иногда останавливают и захватывают читателя целиком как маленькие поэтические откровения. Эти "иногда", кажется, мною не обойдены; в творчестве всякого большого поэта они — лучшие ориентиры критика. "...Поэта и

надо судить по "иногда", — писал в статье "Наследство Блока" Георгий Адамович, — "десяти-пятнадцати таких небесных "иногда" достаточно для бессмертия".

Л. Ржевский

МЕЖДУ НАМИ
Моей жене Наде

Мы с тобою в разлуке надолго,
Мы бессильные, подневольные.
Между нами — стальные надолбы,
Загражденья высоковольтные,
Между нами — пространства дымные,
Между нами — провалы полночи,
Между нами — непроходимые
Горы горести, годы горечи.

И становится всё туманнее,
Всё, что было, и всё, что не было.
Ты — в России, а я — в Германии.
И винить, вероятно, некого.
А Земля по орбите следует,
Светят звёзды из чёрной вечности.
И не видит нас, и не ведает
Прогрессивное человечество!

Юрий Иоффе

РУССКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ

Все ближе знакомясь с историей русского художественного оформления сцены, мы начинаем оценивать степень значимости истории русского театра 20 века: уже в то время, как *Ballets Russes* Дягилева до и после Первой мировой войны пользовались невероятным успехом в Париже и Лондоне, русское сценическое искусство в самой России являлось не менее продуктивным и новаторским, даже, несмотря на то, что его задачи и сфера деятельности весьма отличались от зарубежных. В 1910 году парижская публика зрила чувственные щедроты сценического оформления "Шехерезады" Львом Бакстом, которое ошеломляло живописностью красок и потаёнными симметриями. Три года спустя санктпетербургская богема поставила "транснациональную" оперу "Победа над солнцем", которая стала объектом удивлений и насмешек. Оба произведения русские, оба, по существу, очень зрительные, но разница между ними была огромной. В истории художественного оформления сцены "Шехерезада", как и большинство постановок Дягилева, служила как бы завершением предшествующей ей традиции, "Победа над солнцем" же была вступлением в новую эру. Проще говоря, *Ballets Russes* явились грандкульминацией того самого декоративного стиля, который вдохновлял художников-оформителей театров Ренессанса, Барокко, театра романтизма и театра натурализма. Их зрители были взяты в плен откровенно декоративной силой Бакста и очарованы педантичной точностью Александра Бенуа.

Когда мы оглядываемся на те "пиршественные годы" мы видим, что художники по костюмам и декораторы, работавшие с Дягилевым, по крайней мере те, которые сотрудничали с ним накануне 20-х годов, в своих приемах все еще не выходили за рамки студийной живописи: они изображали эпизоды, они иллюстрировали сюжеты, они вызывали историческое время при помощи этнографической и археологической компиляции. Другими словами, для Бенуа, Мстислава Добужинского, Сергея Судейкина и даже для Бакста театр был композиционно-сюжетным явлением, и их декорации буквально украшали спектакли этого театра, оставаясь в рамках двухмерного искусства. Даже в тех случаях, когда художник обладал пластическим и объемным ощущением, его в большинстве случаев покоряли условности Дягилевских *Ballets Russes*. Так случалось, например, с неопримитивистскими и районистскими костюмами Натальи Гончаровой для *Liturgie* (1914-15 гг.) и для *Rhapsodie Espagnole* (1916 г.). Если мы хотим раскрыть истинную побудительную причину появления в русском художественном оформлении сцены конструктивизма, в этом случае мы должны снять эру Дягилева со счетов и оглянуться в другую сторону, а именно, — в сторону театров Санкт Петербурга и Москвы.

Более того, если наша задача — проследить, где же источник конструктивизма в русском сценическом оформлении, то мы должны заинтересоваться тем моментом, с которого оформление сцены в России сдвинулось от поверхности в сторону пространства. Исследование этого процесса обнаруживает традицию, обычно затененную достижениями "*Ballets Russes*", а именно альтернативную традицию, которая была поддержана самыми передовыми художниками русского авангарда Александрой Экстер, Элем Лисицким, Казимиром Малевичем, Любовью Поповой, Александром Родченко, Варварой Степановой, Владимиром Татлиным, Георгием Якуловым и др. В связи с этим выявляются также и другие интересные обстоятельства, например то, что многие современные театральные художники, которых часто классифицируют как "русских", строго говоря, были не русского происхождения, и их вдохновение было во многом обязано традициям за пределами России. Якуловская непосредственность и любовь к движению в большей степени

являются продуктом атмосферы его возлюбленной Армении, нежели Москвы или Парижа. Любопытная раздвоенность в виде изысканности и вульгарности одновременно свойственна украинскому способу художественного мышления и характеру Александра Богомазова, Вадима Меллера и Анатолия Петрицкого. Различия и отличительные черты следует искать не только в индивидуальных и национальных решениях проблем искусства в связи с костюмом или декорацией, но также и в выборе коммуникации в искусстве. В контексте современной эпохи русское сценическое оформление означает гораздо больше, чем просто балет, опера и театр: это также цирк, кино, массовые инсценировки (см. ниже), кабаре и оперетта, — все это явилось средствами эксперимента русского авангарда. Следовательно, если мы должны признать всю ценность вклада русских художников-оформителей, то нам следует отложить в сторону академический резерв и обратиться к "низшим" формам театра с особым вниманием. В самом деле, человеком, который объявил цирк наиболее благородной формой сценического искусства, был известный режиссер театра Всеволод Мейерхольд.

Присутствие Мейерхольда и других прославленных режиссеров в период авангарда способствовало эволюции русского сценического оформления двадцатого века. Например, конструктивисты Попова, Родченко и Степанова работали с Мейерхольдом в 20-е гг.; Юрий Анненков несколько раз сотрудничал с Николаем Евреиновым; Экстер, Александр Веснин и братья Стенберг, Георгий и Владимир, образовали тесный союз с Александром Таировым; Игнатий Нивинский ввел свое понятие "восточный конструктивизм" в историческую постановку "Принцесса Турандот", поставленную Евгением Вахтанговым в 1922 г.. Главным образом и прежде всех Мейерхольд обеспечил художников возможностью пользоваться сценой как пространством для создания единого целого из актера и декораций, т.е. рассматривать театр как продолжение актера (трехмерная кинетическая форма), а не режиссера, драматурга или художника. Именно этот основополагающий и очень простой принцип, служил общим знаменателем Мейерхольда, Поповой, Родченко и Степановой и, в меньшей степени, Лисицкого, Стенбергов и А. Веснина. Этот акцент на подвижности актера, а не на истори-

ческом, эмоциональном и тематическом качествах спектакля дал возможность радикального преобразования всей концепции оформления сцены и создания костюмов.

Как и все виды светского искусства в России, театр, в профессиональном западном смысле слова, — сравнительно новое явление. В то время, как народный театр в форме представления скоморохов (на Западе нечто типа странствующих менестрелей и шутов) или балагана (популярный фарс, напоминающий театр Полишинеля и народный английский театр Джуди) существовал века (средневековая фреска в Церкви Св. Софии в Киеве изображает акробатов, танцоров и музыкантов), драматический театр прибыл в Россию только в конце восемнадцатого столетия, главным образом, как результат культурных склонностей Екатерины Великой. Русский театр начал утверждаться как самостоятельная сила только к середине-концу девятнадцатого века с появлением таких драматургов, как Александр Островский, Алексей Толстой и, конечно, Антон Чехов. Таким образом, русское искусство декорации и костюма для профессионального театра появилось также довольно поздно. Но, несмотря на это отставание, русский театр нес в себе известные преимущества. Например, школа актерской игры и сценического оформления были полными творческой энергии, мобильными и чуткими и их не умертили тяжеловесные условия стилей Ренессанса и Барокко, как случилось с итальянской сценой. В русском театре не было ни Бибиены, ни Гонзали или Басоли, и, к счастью, когда свободе русского театра стали угрожать каноны императорской сцены, немедленно появилась новая концепция театра в виде частной труппы Саввы Мамонтова. Театральные и оперные постановки в его поместье недалеко от Москвы и позднее в Москве и Санкт Петербурге привлекли множество значительных художников того времени, включая Константина Коровина, Виктора Васнецова и Михаила Врубеля. Без преувеличения можно сказать, что то, что было сделано Мамонтовым для сцены, повлияло на развитие театра в России в такой же степени, в какой на развитие театра в Германии повлияла деятельность герцога Майнингена. Художники, нанятые Мамонтовым, сделали решительный шаг от стереоскопического задника императорского театра по направлению к принципам асиммет-

рии, интенсивной декоративности и даже /в случае с Врубелем/ по направлению к концепции сценической архитектуры, то есть по направлению к манипулированию трехмерным пространством. Несмотря на все эти важные нововведения начиная с 1880 г., русский театр, как и его европейский аналог, не был еще формой синтетического искусства. Как правило, один вид художественного творчества доминировал (ср. главенствующую роль драматурга в конце восемнадцатого века, декламатора в конце девятнадцатого и декоратора и оформителя — в начале двадцатого). Отсюда не было эффективного сочетания различных искусств. В то время, как театр хранил в себе потенциал истинно синтетического искусства, в действительности он лишь напоминал обычное нагромождение несоизмеримых элементов, — "гостиница", как однажды выразился критик Владимир Пяст.¹

Для того, чтобы театр стал синтетическим, нужен был координатор. Кроме того, нужно было преодолеть соперничество между постановщиком, художником, музыкантом и актером. Замечательные режиссеры периода авангарда, Мейерхольд, Таиров и Вахтангов, именно к этому и стремились, и не только через признание ценности и веса каждой из этих достойных уважения форм искусства, но также посредством раскрытия внутренних, свойственных только ему одному, основных качеств театра. Мейерхольд и его коллеги понимали, что "в театре слова являются лишь узорами на холсте движений"², и это было то понимание, которое повлияло на художественное оформление сцены самым решительным образом. В условиях тогдашней России первая сознательная попытка квинтэссенции театра была совершена в 1906 году в Санк Петербурге Мейерхольдом в его постановке пьесы Блока "Балаганчик". Рождение пьесы было вызвано глубоким разочарованием в философии символизма и то, как были представлены определенные темы, — двойник, "неизбежность" существования, деперсонализация, — обнажало злую насмешку над движением символизма. Мейерхольд и его

1. В. Пяст, "Театр слова и театр движения", в издании К. Эрберга "Искусство старое и новое", Петроград, 1921, стр. 80.

2. А. Гвоздев, "Вместо предисловия", журнал "Театральный Октябрь", Ленинград-Москва, 1926, № 1, стр. 28.

талантливый художник-оформитель Николай Сапунов, убрали такие условности, как задник и кулисы и создали вместо этого сцену внутри сцены. Внутренняя сцена была "раздета" таким образом, чтобы украшательства канатов, рампа, подмостки, суплерская будка и т.п. были полностью видны зрителю, создавая таким образом на сцене состояние искусственности и раздвоенности, которое требовала пьеса. Правда, прежде всего важно было драматическое раскрытие сюжета, а не показ актера, но отказ от тяжеловесных декораций или натуралистического оформления, раскрытие сценического пространства и уделение большого внимания жесту и мимике (а, следовательно, движению) предвосхитило методы, которые стали фундаментальными для конструктивистского театра.

Конечно, и в Мейерхольдовской постановке "Балаганчика" было видно влияние, как российских достижений, так и иностранных. Как Блок, так и Мейерхольд, знали о существовании прочной традиции *балагана* и о других манифестациях народной культуры, таких, например, как народное гулянье и религиозная процессия. В то же время, новые принципы, с которыми Мейерхольд экспериментировал в "Балаганчике", демонстрировали знание новых тенденций в европейской театральной мысли. Например, Мейерхольд (как несколько позже и Таиров) был знаком с эстетической системой Эдварда Гордона Крэйга и Адольфа Аппии и он сочувствовал их концепции актера как центра всех компонентов в театре, хотя вскоре отказался от постоянной заботы Аппии о психологическом и эмоциональном состоянии (которая всегда была характерна для Таирова). Мейерхольд был также почитателем Георга Фюхса и в 20-х гг. разработал принцип ритма тела для теории биомеханики. И Мейерхольд и Таиров стали рассматривать сцену как трехмерное пространство, взаимодействующее с трехмерным актером. Поэтому, в "Балаганчике" Мейерхольд подготовил почву для конструктивного подхода к оформлению, противопоставляя его стандартному, композиционному. К сожалению, в то время у Мейерхольда не было эквивалента в области сценического оформления, даже Сапунов был, по существу, мольбертным художником, и, наряду с его даром декоратора, обладал лишь небольшим чувством объема и рельефности.

В то время, как начало конструктивного принципа в русском сценическом оформлении восходит к "Балаганчику", его развитие и разработка имеют место в виде рискованных попыток и экспериментов сразу за пределами Мейерхольдовской орбиты, а именно, в постановках народной драмы "Царь Максимьян и его непослушный сын Адольф" и футуристской оперы "Победа над солнцем"; обе попытки были предприняты в 1911 и 1913 гг. Союзом молодежных организаций Санкт Петербурга. Очевидная важность обеих вещей заключается в том факте, что Татлин и Малевич соответственно работали в качестве художников-оформителей. По существу, было мало что общего между простым повествовательным "Царем Максимьяном" (под редакцией футуристского поэта Василия Каменского) и частично "заумным" либретто "Победы над солнцем", но оба спектакля вызвали к жизни и развили новые концепции плоских сценических декораций или, даже, конструирования сцены.

Хотя Татлин сделал эскизы своих костюмов еще до важного "открытия" рельефов Пикассо в 1913 г. в Париже, даже еще раньше, до того, как начать свою собственную конструктивистскую работу, он уже выразил пространственное и объемное ощущения. Его костюмы для "Царя Максимьяна" и для "Ивана Сусанина" (1913 г.), казалось, предназначались для движения, для трехмерной конструкции (человеческое тело), а не для статичной поверхности. Упор на спиральную структуру (это также излюбленный метод Якулова) позволяет создавать проекты с отчетливым вертикальным импульсом и отсутствием континуума, как, скажем, было у Бенуа и Добужинского того же периода. Попытка Татлина "ставить глаз под контроль осязания"³, уже очевидная в этих костюмах, была также выражена и в его декорациях, как для "Царя Максимьяна", так и для "Ивана Сусанина": готическая архитектура для первого и пирамidalная конструкция леса в последнем спектакле, указывали в сторону определенных конструктивистских работ 20-х гг., а именно, простых комбинаций арок и колонн, использованных

3. Отрывок взят из работы А. Стригалева "О проекте "Памятника III-го Интернационала" художника В. Татлина" в книге "Вопросы советского изобразительного искусства и архитектуры", Москва, 1973, стр. 411.

Исааком Рабиновичем. Кроме того, как случайно заметил критик Сергей Ауслендер⁴, существовала очевидная попытка объединить актера и зрителя в "Царе Максимьяне": рампа отсутствовала и актеры свободно двигались со сцены в зрительный зал.

Постановка "Царя Максимьяна", как в Петербурге, так и в Москве (1912 г.), только подразумевала возможности, а не провозглашала их. Гораздо более значительная сила требовалась для того, чтобы вызвать "полный разгром понятий и слов... старомодного оформления... и музыкальной гармонии"⁵. Эта сила проявилась в постановке оперы "Победа над солнцем", поставленной в Санкт Петербурге в конце 1913 г.. Это любопытный спектакль, текст к которому был написан футуристским поэтом Алексеем Крученых на основе музыкальной партитуры музыканта и живописца Матюшина, художественное оформление было сделано Малевичем. Последний поставил под сомнение общепринятое отношение к театру и предложил новые направления. Возможно, самой важной новаторской находкой было применение подвижного освещения и размещение на сцене различных абстрактных форм. Футуристский поэт Бенедикт Лившиц так описал своё впечатление от оформления:

"В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная стереометрия, устанавливалась строгая система объемов, сводившая до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями фар, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежавшими не только разложению на составные части, но и совершенному растворению в живописном пространстве... Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люцифериическую суету мира".⁶

4. С. Ауслендер, "Вечер союза молодежи", из "Русской художественной летописи", Санкт Петербург, 1911, № 4, стр. 60.

5. М. Матюшин, "Футуристы. Первый журнал русских футуристов", Москва, 1914, № 1-2, стр. 157.

6. Б. Лившиц, "Полутороглазый Стрелец", Ленинград, 1933, стр. 188.

Костюмы Лисицкого для "Победы над солнцем" были как бы тонким продолжением теории ПРОУНа (Проект для Утверждения Нового): "ПРОУН" — это творческое построение формы (исходя из овладения пространством) с помощью экономичной конструкции применяемого материала. Задача ПРОУНа — поэтапное движение на пути к конкретному творчеству, а не обоснование, объяснение или популяризация жизни..."⁷

Разрушение традиционной оси в произведении искусства — это тот *сдвиг*, который явился столь фундаментальным в развитии русского кубо-футуризма; это явление произошло одновременно в искусствах всех стран как раз перед Первой мировой войной. Изменились обычные последовательности: картины больше не "читались", картины просто ощущались, как комбинация цветов, форм и структуры; поэма не описывала больше конкретную реальность, но жила как самостоятельный эксперимент в звуке и ритме; музыка отбросила свою социальную и религиозную прикладные функции и возвратилась к своему абстрактному принципу. Соответственно русские оформители сцены также стали искать сущность сценического оформления в самом понятии театра. Сцена девятнадцатого века представляла энциклопедический концептиум исторических и социальных данных; ранняя модернистская сцена более не являлась иллюстративной. Несмотря на весомость таких имен, как Шаляпин, Мария Ермолова, Нижинский, Павлова, Александр Южин, исполнитель играл вспомогательную для зрительного эффекта роль. Тем не менее, с приходом Таирова, а, затем, и Мейерхольда, основное внимание направлялось на актера, а, следовательно, на движение как центральную силу театра. Театр снова стал более кинетическим, нежели литературным или декоративным явлением. Достаточно вспомнить имена некоторых художников, работавших с Таировым, таких, как Экстер, Гончарова, Аристарх Лентулов, Константин Медунецкий, братья Стенберг, А. Веснин, Якулов, чтобы понять всю важность Камерного

7. Эль Лисицкий, "Тезисы к ПРОУНу (от живописи к архитектуре)," 1920, в работе под ред. М. Бархина и др. "Мастера архитектуры об архитектуре", Москва, 1975, т. 2, стр. 134.

театра как форума для распространения новых, жизненно важных в спектакльном оформлении идей.

Было счастливым стечением обстоятельств, что одна из самых передовых художников-оформителей двадцатого века Александра Экстер должна была вернуться из Парижа, чтобы в 1914 г. обосноваться в России и что она должна была принять приглашение Таирова работать в Камерном Театре. Вместе с Поповой Экстер занимала место среди очень немногих членов русского авангарда, которые на деле были способны переступить пределы живописной поверхности и организовать формы в их взаимодействии с пространством. Критик Яков Тугендхольд отмечал, что Таиров и Экстер стремились "к органической связи междудвигающимися актерами и неподвижными предметами" и прибегли к "динамическому использованию немобильной формы"⁸. Сосредоточение Экстер на ритмической организации пространства, на "ритмических рамках действия"⁹ предвосхитило появление её Конструктивистского театра, эскизов костюмов и марионеток 1920-х годов.

Перед революцией появилось несколько попыток выразить чувство единства в театре. Одним из проявлений этих попыток было, например, создание "интимного театра", такого как Старинный театр Барона Дризена и Евреинова (1907 г.) и Мейерхольдовского Дома Интерлюдий (1910 г.). В таких предприятиях аудитория едва численно превосходила актерский состав, социальная и интеллектуальная позиция обеих сторон всегда была одинаковой и излюбленные постановки несли в себе идеи, легко доступные только для избранных. Богемный "подвал" или кабаре, такие, как "Бродячая собака" и "Привал комедиантов" в Санкт Петербурге и Cafe Pittoresque в Москве, можно вполне рассматривать как такие попытки объединить актера и зрителя.

Важно заметить, что наиболее богемный и эксцентричный русский художник-оформитель Георгий Якулов был постоянным посетителемочных заведений Санкт Петербурга и Мос-

8. Я. Тугендхольд, "Письмо из Москвы", в журн. "Аполлон", Петрогр., 1917, № 1, стр. 72.

9. К. Державин, "Книга о Камерном Театре 1914-1934 гг.", Л., 1934, стр. 68.

квы. Якулова, как Петрицкого, Чехонина, нельзя рассматривать внутри одной стилистической категории: он не относил себя художественно ни к кубизму, ни к футуризму или конструктивизму, но, в то же время он подчеркивал, что источник его силы — во всех этих движениях. Как сказал один критик, Якулов, как и Мейерхольд, нес театр в себе: "Иногда сам художник несет в себе свой театр. Вся его эволюция сама по себе является театром".¹⁰ Именно Якулов был ответственным за внутреннее оформление того, что стало первым советским "подвалом", — Cafe Pittoresque.

Когда бизнесмен Николай Филиппов, владелец знаменитого Кафе Филиппова на Тверской улице (ныне улица Горького) и сети московских кондитерских, купил помещение на Кузнецком мосту в Москве, для него было естественным пригласить Якулова оформить интерьер. В рамках интерьера Кафе Якулов получил право дать волю своей страсти к экзотике и орнаментализму. Чтобы преодолеть застывшую угловатость стекла ангарной крыши, Якулов выполнил её как комплекс поверхностей, поочередно окрашенных в красный, желтый и оранжевый цвета. Стены он оформил соответственно темы Блоковской пьесы "Незнакомка" (поставленной там в марте 1918 г. Мейерхольдом с декорациями Лентулова). Якулов гарантировал, что особое внимание будет уделено принадлежностям (например, он попросил Родченко оформить лампы), и нашел поддержку у многих левых художников, и не только у Льва Бруни и Татлина. Хотя Кафе не было открыто до января 1918 г. (к этому времени оно было переименовано в "Красный петушок"), и хотя оно существовало в качестве интеллектуального и богемного центра лишь несколько месяцев, Cafe Pittoresque вместе со "Стойлом Пегаса" (другое кафе, также оформленное Якуловым), — все это дало Якулову набраться полезного опыта для его работ в театре начиная с 1918 г..

Мы имеем в виду главным образом, две постановки: "Принцесса Брамбilla" (1920, в ней играл сам Якулов) и "Жирофле-Жирофля" (1922 г.), обе из которых давались в

10. Н. Гиляровская, "Театрально-декоративное искусство за 5 лет". Казань, 1924, стр. 15.

Камерном Театре. В них Якулов трансформировал театр в цирк. Критик Евгений Зноско-Боровский даже пошел так далеко, что заявил, что, по крайней мере "Жирофле Жирофля" целиком базировалась на акробатике и клоунаде.¹¹ В действительности же Якуловские декорации и костюмы для этих двух спектаклей, казалось, более предназначались для "хэппенингов", чем для театра. Экстер, Попова, Стэнберги и другие использовали определенное сочетание форм и структур для особого предопределенного эффекта, Якулов же использовал случай, совпадение, интуицию, которые заканчивались либо полным провалом (как в случае с "Синьором Формикой", поставленным в 1922 г.), либо выдающимся успехом ("Жирофле-Жирофля"). Этот элемент проб делает Якулова очень гуманным художником и таким, который заслужил широкую симпатию простых людей. Как сказал он сам: "Искусство существует для невежд и никаких философских глубин не ищет. Все великолепие искусства в его праве на безграмотность".¹² Якулов видел театр как массовое мероприятие и старался подчеркнуть его простейшие и основополагающие составные части, — "принцип беспрерывного движения, калейдоскоп форм и цветов."¹³ Для того, чтобы выразить это движение в "Жирофле-Жирофля", Якулов был вовлечен в систему кинетических "машин", которые "выдвигали одни части, убирали другие, выкатывали площадки, спускали лестницы, раскрывали люки, строили проходы"¹⁴. Этот сумасшедший хаотический спектакль не мог не вызывать смеха и он был наиболее популярным развлечением в Москве 1922 г.. Как сказал А. Луначарский, простой человек имел право расслабиться после тяжелых дней революции, и Якулов дал ему возможность это сделать.¹⁵

Внезапно все захотели смеяться и наслаждаться невинными удовольствиями жизни. Нет сомнения, что именно из-за этого

11. Е. Зноско-Боровский, "Русский театр начала XX века," Прага, 1925 г., стр. 388-390.

12. Отрывок из Гиляровской, стр. 46.

13. Ibid, стр. 45.

14. А. Эфрос, "Камерный театр и его художники", М., 1934, стр. 36.

15. А. Луначарский, "Жирофле-Жирофля" в Камерном Театре. Статьи. Заметки. Воспоминания. М., 1934, стр. 36.

общего чувства Экстер и Попова стали работать в 1920 г. в Московском Детском Театре, и что такие различные индивидуальности, как Кандинский и Мейерхольд, оба осуществляли в своем творчестве глубокую веру в искусство клоуна. Но то качество цирка, которое заинтересовало Кандинского, Мейерхольда и Якулова, было спонтанным, инстинктивным качеством цирка, а не его приверженностью к механическим действиям и гимнастическим упражнениям, таким, например, которые привлекали итальянских футуристов Фортунато Депперо и Прамполини. Критик Александр Февральский так обобщенно выразил ситуацию:

"В театре основной материал — живое человеческое тело. На правильное и интенсивное развитие его должно быть обращено главное внимание. Больше резких, смелых движений, акробатики, трюков. Взять у цирка все, что можно. Литературшину, психологию — на задний план!"¹⁶ Эти идеи были хорошо выражены во многих сценических постановках в начале двадцатых годов, среди которых был "Великодушный рогоносец" Мейерхольда и "Первый винокур" Анненкова.

Паралельно с возрождением цирка сразу после революции появился новый аспект театра, названный "массовое действие". Несколько массовых действ намечалось поставить и они были поставлены в первые послереволюционные годы и исходили прямо из политических демонстраций и, если выражаться более тематически, из программы монументальной агитационной пропаганды, учрежденной Лениным в 1918 г.; и, конечно же существовали исторические празднества, такие, как народные гуляния, организованные во Франции в 1790 г. и художественно сформленные Давидом, Дэ Мashi, Нодэ и другими. Проще говоря, массовое действие было слабо драматизированным воспроизведением революционно-социальных и политических событий, наиболее известное из которых было "Взятие Зимнего Дворца".

Каковы бы ни были погрешности массового действия, оно достигло одной очень важной цели: оно перенесло сцену из интимности театрального помещения на народные площади.

16. А. Февральский. Диалектика театра. Ж. "Зрелища", М., 1922, № 7, стр. 9.

Такой театр, как балаган, кочующая буффонада и менестрели прошлого, снова стал странствующим. Серьезнейшее желание Мейерхольда превратить театр в часть каждого дня жизни, доступную для рабочего, крестьянина, интеллигента в любое время и в любом месте, казалось почти осуществленным. В конечном счете эта концепция лежит в основе одной из наиболее известных конструктивистских постановок, Мейерхольдовской "Земля дыбом", декорации и оформление к которой были сделаны Поповой.

Конструктивизм повлиял не только на "декоративный" аспект театра, трансформируя сцену в истинно трехмерное явление, но также и на драматический текст, музыкальное или другое сопровождение и на самого актера. Мейерхольдовская система биомеханики, несмотря на то, что она многим обязана эвритмическим принципам Жака Далькроза, программам рабочей студии Фредерика Тэйлора и приемам японского театра, была сознательным приложением конструктивистских идей к исполнителю. Попытка достичь максимального эффекта с минимальной затратой средств таким образом обнаруживает, что функция определяет форму. Такие общие понятия, как экономия зрительной и словесной форм, как направление основного внимания на конструирование как соответственную интеграцию форм ("безопасная бритва"), а не на композицию как соединение несоизмеримых частей ("буket цветов")¹⁷, все это уже было очевидно в Мейерхольдовском "Балаганчике" в 1906 г. Написанная и поставленная впоследствии футуристами на сцене "Фамира Кифарэд" и "Саломэ" (постановка Камерного Театра) также подготовили почву для пришествия конструктивизма.

Мейерхольду нужен был такой оформитель сцены, который прежде всего был бы способен использовать материал в тесной взаимосвязи с основной концепцией движения на сцене. В феврале 1922 г. в своих эффектных декорациях и костюмах для Таировской постановки "Федра" А. Веснин безусловно приблизился к этому, хотя в душе он все еще полагался на экспрессионистскую интерпретацию (и параллели между

17. The definitions are Lissitsky's. See his "New Russian Art: a lecture" in S. Lissitzky-Kuppers, op. cit., pp. 428-29.

"Федрой" и некоторыми довоенными декорациями Аппии были весьма очевидны). В действительности же такими художниками стали Родченко, Степанова и, прежде всего, Попова, в искусстве которой Мейерхольд нашел необходимую поддержку своему "искусству сознательного театра".¹⁸ С приходом Поповой конструктивизм на сцене стал реальностью, и поэтому нам следует уделить её оформлениям особое внимание.

Любовь Попова принесла в мир сценического оформления чрезвычайно богатый и разнообразный художественный опыт. Она быстро продвинулась от кубизма (она училась у Le Fauconnier et Metzinger в Париже в 1912-13 гг.) к "живописной архитектонике" в 1916 г. и принимала участие в основных авангардистских выставках. Попова была одной из наиболее строгих и принципиальных членов русского авангарда, и, как ни различны между собой были её занятия, она продолжала верить в определенные основные понятия формы и пространства. В отличие от многих её сотоварищей по оформлению сцены Попова обладала редкой способностью мыслить как двух-, так и трехмерно, поэтому, в конце концов, она уже не могла удовлетворяться плоскостью живописного плана. Её желание представить пространство как творческий фактор, поддержанное в дружбе со скульптором Верой Мухиной и Татлиным, уже было явным в 1915 г. в её сериях натюрмортов и портретов, которую она озаглавила "Пластическая живопись" и в её предназначенных для различных случаев рельефах 1916 г.. И именно в своих сценических (структурных) оформлениях Попова в конце концов удовлетворила желание строить из реальных материалов в реальном пространстве.

Попова чувствовала, что театр позволит ей использовать пространство так, чтобы до максимума избежать "зрительного характера искусства, который лишал возможности рассматривать действие лишь как протекающий рабочий

18. The sub-title of one of the most penetrating studies of Meierkhol'd work, i.e. M. Hoover's Meyerhold. The Art of Conscious Theatre, Amherst, 1974.

19. Из лекции "Великодушный рогоносец", которую Попова дала в Институте художественной культуры в апреле 1922 года в Москве. Выдержка взята из работы Е. Рахитиной "Любовь Попова. Искусство и манифести," Ред. Е. Рахитиной и др.: "Художник, сцена, экран". М., 1975 г., стр. 154.

процесс".¹⁹ Именно здесь Попова показала себя как одного из очень немногих подлинных конструктивистов русского театра. В её экономии средств, в строгости организации, в утонченном комбинировании реальной формы и реального пространства Попова расширила элементарные концепции Родченковских деревянных и металлических конструкций 1918-21 гг. и предвосхитила несколько конструктивистских сценических постановок середины и конца 20-х гг..

Поворотный момент в карьере Поповой как сценического оформителя наступил осенью 1921 г., когда после её участия в заключительной и решающей выставке левых художников "5 X 5 = 25" её пригласил Мейерхольд компилировать программу для курса "материалное оформление сцены" на его Государственных Высших Постановочных Курсах в Москве. Именно здесь Попова создала свою выдающуюся конструктивистскую работу и костюмы в спектакле "Великодушный рогоносец", поставленном Мейерхольдом 25 апреля 1922 г.. Мейерхольд взял весьма непристойный фарс Фернанда Кроммелинка о мельнике, который подозревает свою неверную жену, и использовал его лишь как эксперимент чистой игры и чистой формы. Хотя своим оформительским решением Попова обязана идеям, уже высказанным художниками, работающими в мастерской Мейерхольда Сергеем Эйзенштейном и Владимиром Лютсе, именно она вынесла на себе всю ответственность за окончательное сооружение. Это был беспрецедентный случай:

"В вечер первого представления "Великодушного рогоносца" москвичи увидели на совершенно обнаженной сцене, без занавеса, задников, порталов и рампы странного вида деревянный станок-конструкцию. Он был смонтирован в виде своеобразной мельницы и представлял собой соединение площадок, лестниц, вращающихся дверей и вращающихся колес. Станок сам по себе не изображал ничего. Он служил только опорой, прибором для игры актеров — нечто вроде сложной комбинации из трамплинов, трапеций и гимнастических стакнов. Мельничные крылья и два колеса вращались то медленно, то быстро, в зависимости от напряжения действия и темпа спектакля. Умные молодые актеры и актрисы, без грима, в прозодежде (одинаковой для мужчин и женщин) три часа с лег-

костью виртуозов разыгрывали фейерическую симфонию движений"...²⁰.

Конструкция Поповой для "Великодушного рогоносца" продемонстрировала новую концепцию сценического оформления и совершила радикальный перелом, как в русских, так и в западных традициях. Влияние Поповой стало признанным. Например, декорации и костюмы Степановой для Мейерхольдовской постановки "Смерть Тарелкина" в ноябре 1922 г. весьма многим обязаны идеям Поповой и Мейерхольда, и даже в некоторых случаях заходят так далеко, что о Степановой говорят, будто бы она была одержима ревностным желанием "переиграть" Попову.²¹ Прослеживая творчество Степановой от оформления "Смерти Тарелкина" и дальше, мы ясно видим, что Степанову глубоко интересовали экономия средств, простота формы, максимум эффекта. Как и в своей знаменитой "спортодежде" 1923 года, Степанова была ведома очень специфическими правилами в выборе форм. Как и Попова и Родченко, Степанова стояла на полной антитезе оформленителям "Мира Искусства". Как сказал один обозреватель: "Мир Искусства" обертывал актера, как конфету в красивую бумажку"²². Степанова и её коллеги развертывали его. Этот возврат Kogregefuhl к конструированию костюмов проходил параллельно с Мейерхольдовским сокращением употребления грима и, в более широком смысле, с общей заботой, связанной с массовыми гимнастическими и атлетическими упражнениями в 1920-е гг..

Утилитарные костюмы Степановой очень хороши были внутри декорации, которую она использовала на сцене. Применяя серии деревянных конструкций абстрактной формы, Степанова поставила разнородный сценарий: по мере того, как актер двигался по сцене, его представление об окружающих предметах резко менялось; лестницы и перекладины конструк-

20. Ю. Елагин, "Темный гений", Нью-Йорк, 1955, стр. 248-249.

21. В. Мейерхольд. "Учитель Бубус" и проблема спектакля на музыке", В книге под ред. А. Февральского и др., В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы", М., 1968, т. 2, стр. 79.

22. А. Иванов. Театральный костюм. В книге под ред. Э. Голлербаха "Театрально-декоративное искусство в СССР с 1917 по 1927 г.", Л., 1927, стр. 157.

ций служили своего рода механизмом Оп-Арта. Это было простое изобретение, которое Лиситский также использовал в своих интерьерах для выставочных комнат в Дрездене и Ганновере в 1926 и в 1927-28 гг.. Более того, мы можем обнаружить сходную концепцию в афишах театра Степановой для "Смерти Тарелкина": это не просто источники словесной информации, но и "абстрактные" рисунки в чистом виде. Красный клин в центре первого плаката, это всего лишь еще один компонент во всей последовательности горизонталей и вертикалей. Это базирование на уровнях восприятия, а именно на семантической значимости и на формальной, или абстрактной значимости, создает один и тот же род непрерывной модуляции и двусмысленности как дисгармонии между повествованием и декорациями в "Смерти Тарелкина".

В 20-е гг. как в СССР, так и на Западе, характерно общее движение назад, к реализму. Советской аудитории хотелось мелодрамы на сцене или эпического кино, то есть отвлекающего развлечения. Она старалась убедить в том, что "конструктивизм покрыт туманом фантазии"²³. Прямой результат этого давления в основном снизу (а не сверху) означал, что к наступлению 20х гг. советское сценическое оформление возвратилось от конструкции к декорации, от пространства к поверхности. Конечно, было несколько конструктивистских постановок, таких, как Мейерхольдовская постановка "Клопа" Маяковского с костюмами Родченко, и др. в 1929 году, но они не поколебали непреклонного движения назад, в направлении классической традиции.

Точно так же, как советские художники сталинской эры рисовали лица улыбающиеся, в потоке солнечного света среди кукурузных початков, так и художники сцены отвергли прекрасные перспективы утопического социализма ради *Bella prospettiva* театрального оформления и декораций. В 1938 г. Илья Шлепьянов, один из ближайших сподвижников и художников Мейерхольда позднего периода, писал, что "московские театры

23. Отрывок из Т. Стриженовой "Из истории советского костюма", М., 1972, стр. 100.

похожи сейчас на ряд сообщающихся сосудов — уровень воды одинаков”

Джон Э. Боулт

ОКТЯБРЬ

Шереметьев, рябиновый заяц,
Луговой и лесной падишах,
Краснопегих опушек хозяин,
Перелесков со звоном в ушах.
Бабье лето, в стрельбе практикуясь,
Понесёт золотую труху,
По границам своих латифундий
Бродит осень на лисьем меху.
Золотой светотенью пометив,
Где залываются пунктиры охот,
Краснощёкий октябрь — Шереметьев
По жнивью совершает обход.
Он дивится горячим глубинам
Колорита, в родстве с хрусталём,
Отливает берёза рябиной,
И рубином овраг воспалён.
Шелестящую тень разрезая,
Залетев в золотые края,
Пёстрой тучкой клубится борзая
По старинной щетине жнивья.

О. Ильинский

СТАРООБРЯДЦЫ – СОЗДАТЕЛИ РУССКОГО НАРОДНОГО ИС- КУССТВА

Русские народные промыслы неоднородны по своим стилистическим признакам. У одних — имитация городского, современного им искусства, у других — разработка традиционных национальных мотивов. Известна история первых — их организаторами были или выехавшие из города в деревню мастеровые, или представители русской художественной интеллигенции, увлеченные выполнением своего "долга перед народом". Такова, например, многими забытая история создания "Матрешки". Этот "взаправдашийся русский сувенир" на самом деле является старинной японской игрушкой, вывезенной лишь в 90-х годах XIX века Мамонтовыми из поездки по Японии. Первый русский экземпляр был расписан по эскизам С. Малютина в мастерской "Детское воспитание". Размножаемый до настоящего времени в устрашающем количестве, этот псевдорусский сувенир заполонил весь мир, как, якобы, очень русский.

Однако, наряду с "новоделами", существуют (вернее, существовали) действительно народные русские промыслы, перерабатывавшие национальные русские мотивы. Это городецкая, северодвинская и мезенская роспись по дереву (прялки, туески и пр), нижегородское резное оформление деревянных

Автор этой статьи В. М. Тетерятников — выдающийся знаток древнерусского искусства и истории старообрядчества. Им выпущен ряд трудов и сейчас подготовлена большая работа по истории старообрядческой культуры. РЕД.

домов, гжельская керамика, арзамасское шитье золотом и мн. др.

Интересно, что буквально все русские народные промыслы с стилистической ориентацией на древнерусское искусство возникли почти одновременно и лишь в конце XVIII века. Отсутствуют образцы художественного народного творчества не только начала XVIII века, но и более раннего времени. Чем объяснить, например, удивительные факты архаизации стилистических особенностей целого ряда художественных промыслов, ведущих начало от имитации городского искусства или, даже, от подражания заграничным образцам? Такая архаизация проявляется также с конца XVIII — начала XIX века и, как ни странно, даже усиливается к середине XIX века. А ведь по всем теориям народного искусства должен наблюдаваться постоянный обратный процесс: разложение древних традиций под влиянием города. Тем более, что особенностью русской истории является крутая ломка всех древнерусских традиций, проведенная Петром I в начале XVIII века. Почему, наконец, русскому народному искусству часто усваивается термин "крестьянское искусство", хотя мастера-производители не занимались крестьянским трудом, более того, как правило были образованными и развитыми людьми. Да и местоположение всех центров традиционной художественной ориентации далеко отстояло от глухих лесов, пахотных земель, и сосредотачивались они в оживленных торговых поселениях, близких к тому или другому крупному промышленно-торговому городу. Получается парадоксальное положение, когда народное искусство целой огромной страны развивается в противоположном направлении, чем городская, прозападная культура. Более того, художественные вкусы народа формируют отнюдь не самые консервативные, необразованные члены земельного населения. Необъяснимая русификация художественных вкусов отнюдь не вылезает из глухи лесов, топких болот или бескрайних полей, скорее наоборот, активнейшие ее проповедники и создатели жили чаще в городах, чем в сельской местности.

Русские исследователи народного искусства до сего времени не создали стройной теории происхождения и развития народ-

ного искусства. Не исследованы и вопросы исхологии народного творчества.

В самом деле, если возможна лишь плавная эволюция народного искусства в сторону городского искусства, то как объяснить наблюдающееся "движения вспять" в развитии, например, знаменитой гжельской керамики. В 1724 г. в Москве, Афанасием Гребенниковым была основана первая в России мануфактура по производству майолики с росписью по сырой, необожженной эмали. Цель ее создания — имитация европейского, преимущественно голландского фаянса. Для организации фабрики были приглашены иностранные мастера, а сама продукция была лишь упрощенной копией европейской посуды. В 40-х годах XVIII века, русские мастера, работавшие на этой фабрике, наладили производство подобного же рода изделий в подмосковном селе Гжель. До конца XVIII века гжельская керамика имитировала западное-европейские изделия, однако на рубеже XVIII-XIX вв. гжельская керамика приобрела формы древне-русских квасников, кумганов и пр. А сама роспись явно обратилась к растительным и изобразительным мотивам XVII века. Именно эти черты впоследствии и создали славу гжельской керамики и она не расставалась с ними до самой революции.

Аналогичный пример мы наблюдаем и с нижегородской резьбой по дереву. Как известно, украшение деревянных домов резным обрамлением началось в нижегородских краях лишь вследствие организации Петром I строительства на Волге крупных судов "новоманерного" типа. Первоначалу резчики украшали резным орнаментом стоящие здесь суда и лишь с начала XIX века перешли на украшательство деревянных домов. Разумеется, все мотивы, используемые ими для орнаментации петровской флотилии были также "новоманерными", то-есть западно-европейского духа и стиля. Да и эскизы орнаментов, как правило, были заимствованы с западно-европейских гравюр и рисунков. И вот, лишь с начала XIX века мы наблюдаем применение резца к украшению домов местных жителей, но самое удивительное, что по мере распространения этого явления мы наблюдаем упорную русификацию орнамента, сознательный возврат художников к орнаментальным мотивам и принципам древней Руси. Более того, если обычные надписи на резных укра-

шениях, свидетельствующие о дате постройки дома, фамилии хозяина или мастера, в начале XIX века выполнялись гражданским шрифтом, используя новое, европейское летоисчисление, то с середины XIX века мы наблюдаем явное предпочтение хозяев и мастеров церковнославянского языка. Даты уже пишутся древнерусскими буквами, а летоисчисление начинается от сотворения мира.

Даже приведенных этих двух фактов достаточно для пересмотра всей, казалось бы стройной, теории о русском народном искусстве. Остается подчеркнуть, что наблюдалась в этих промыслах очевидная архаизация и русификация находятся в неподобающем противоречии с развитием городской культуры этого времени, тем более, что речь идет отнюдь не о захолустье — Москва и Нижний Новгород были по величине и значению в это время вторым и третьим городом империи. Очевидной своей несостоенностью отличается и узаконенное в искусствоведческой литературе утверждение о путях проникновения культуры города в деревню "через усадьбу". Дело в том, что наличие усадьбы помещика предполагает и наличие крепостных. Однако, все сколько-нибудь значительные центры кустарной промышленности располагались не в деревнях с крепостным населением и барскими усадьбами, а в торгово-промышленных поселениях, население которых можно скорее отнести к разряду мещан, чем крестьян. Таким образом, несмотря на пренебрежительное отношение, сложившееся у русской интеллигенции (особенно "прогрессивной") к самому наименованию — "мещане" — оказывается, что создателями русского народного искусства являются совсем не те крестьяне-хлебопашцы, страдавшие от крепостной зависимости и вызывавшие так много сентиментальных чувств у всего "прогрессивного" русского образованного общества. Именно "презираемые" мещане создали искусство, ярче всего характеризующее душу русского народа.

Указанные нами сложные процессы, наблюдавшиеся в русском народном искусстве, вызывают естественное желание разобраться в главной проблеме — откуда у кустарей-художников конца XVIII — начала XIX века появилась потребность обращения к древнерусским художественным традициям, если теоретически узаконенный предмет их зависти — города — были

прозелитами западной культуры. Неужели, среди части русской нации, и довольно значительной и образованной, существовали противоположные тенденции развития? Если так, то их искусство должно быть программным, нести элемент борьбы с городской культурой. Значит народные художники обладали осознанностью собственного творчества, сознательно противопоставляли свое эстетическое мышление, и, заметим еще раз, происходило это не от невежественности, не в глухих, забытых Богом и цивилизацией местах, а прямо под боком наиболее модернизированных городов России. Стало быть народные художники обладали каким то особым, сильным и плодотворным мировоззрением. Более того, это особое мировоззрение оказалось способным не только сохранить традиции древнерусской культуры в течение сотен лет, несмотря на разрушение ее, проводимое правительством с начала XVIII в. Но даже претворить их в дело, создав новый вид искусства, столь необходимый для полноценного существования нации. Вспомним, насколько радикальны и жестоки в своем выполнении были петровские преобразования, разрушившие древнерусскую цивилизацию. Бесчисленны грозные правительственные указы о бритье бороды, перемене одежды и регламентации женского нижнего белья. Регулировка строительства не только городских, но и крестьянских домов. Распоряжения об обязательном плетении лаптей только "одобренным свыше" способом. Размер длины женских сарафанов и расцветка одежды каждого гражданского сословия. Цвет окраски домов и запрещение производства народных икон и отливки бронзовых крестов. Чиновнической реорганизации подверглась и церковь.

Не удивительно ли, что даже при таких жестоких условиях среди русского народа сохранилась группа, достаточно многочисленная, в высшей степени целеустремленная, чтобы быть способной не только к сохранению древнерусских культурных традиций, но и к творческому развитию их в новых формах народного искусства.

Ответ, возможно, заключается в единственной особенности, отличающей некоторые центры народного искусства.

Как правило, географическое расположение русских кустарных художественных промыслов с древнерусской эстетической

ориентацией совпадает с размещением старообрядческого населения на территории России.

Но что мы знаем о старообрядческом искусстве? Существовала ли особая старообрядческая культура? "Особая" — по отношению к культуре послепетровской России. И откуда у старообрядцев нашлись силы не только противостоять, но и созидать. Не только защищаться, но и проповедывать и воспитывать. Каким образом им удалось не только сохранить художественные традиции древней Руси, но и создать новое искусство, старообрядческое искусство, отличное как от древнего, так и современного послепетровского. И, как мы увидим дальше, на основе старообрядческого искусства создать уже народное русское искусство, предназначеннное и желанное уже не только для старообрядцев, но и остального русского населения. В конечном итоге народное искусство XIX века очарует и городскую художественную интеллигенцию, да настолько сильно, что вызовет создание целой эпохи русского искусства в конце XIX-нач. XX в. Трагическая, самоотверженная и созидательная история старообрядчества запечатлена в серебряном завитке орнамента ювелирных изделий Хлебникова и Овчинникова, в Кузнецовском фарфоре и традиционных мотивах иллюстраций Билибина. В картинах Васнецова и в архитектуре ропетовского (петушиного) стиля. Все национальные русские павильоны на всемирных выставках украшались орнаментами, заимствованными от старообрядческих художников Нижнего Новгорода и Северной Двины, да и изделия самих безвестных старообрядцев наполняли витрины и приносили премии и награды русской экспозиции. Впоследствии национальным краскам, системе художественного видения суждено было преобразиться в полотна русского авангарда — первого русского культурного события, оказавшего влияние и на Запад.

Интересно проследить причины, побудившие старообрядцев взять в свои руки сохранение русского культурного наследия. Почему же, собственные традиции стали чуждыми значительной части русской нации, особенно ее образованнейшей части?

Обратимся к истории...

Семнадцатый век стал последним для древнерусской культуры. Однако, в блестящем искусстве Московской Руси

напрасны поиски каких-либо сполохов предстоящего заката. Источник русской культуры казался неисчерпаем, его истоки надежно защищались обширной православной системой эстетических и идеологических догм — каноном. Благодаря канону, древнерусское искусство было единственным для восприятия всем населением Руси. Но со второй половины XVII века становится все более заметным перерождение вкусов правящих кругов под мощным воздействием западного искусства. Поощряя появление произведений качественно нового искусства, московские власти не могли расстаться с усвоенными еще с юности взглядаами на нерасторжимость идеологии православия с традиционной формой культовых изображений. Поэтому, известные законодательные акты Московского Собора 1666-1667 гг, преследующие цели сохранения православной, традиционной чистоты русского искусства, были, по сути дела, реакцией лишь на свои собственные сомнения. Характерно, что все приведенные на Соборе отрицательные примеры заимствованы, главным образом, из произведений столичных мастеров.

Понимая, что традиционность православного канона — залог стабильности режима и его официально православной идеологии, подчеркивая незыблемость канона, представители правительственный элиты отнюдь не намерены были, в то же время, отказываться от своих личных вкусов, ставших к тому времени уже значительно прозападными.

Такая двойственность желаний подсознательно обернулась молчаливым признанием разделения русского искусства на традиционно русское (для народа), и, предназначенного к потреблению "западноцивилизованными" слоями русского общества.

Таким образом, разложение древнерусской культуры в конце XVII века не было само собой разумеющимся явлением, основанном на естественном отмирании традиционного канона. Разрушение всеобщего канона произошло с уничтожением его главной основы — демократизма, ибо канон всегда демократичен, то-есть обязательен и для царя и для холопа.

В дальнейшем, два направления в русской культуре будут отмечаться уже как искусство города и крестьянское или народное искусство. Однако, подобное разграничение, в специфичес-

ких условиях русской истории, особенно в период Новой, послепетровской России не привело к параллельному и равному сосуществованию двух эстетических систем. Активная политика правительства по сближению русской культуры с Западной, тоталитарные и цезарепапистские особенности русской системы государственности, способствовали формированию у большинства населения России пренебрежения к памятникам собственной древней культуры.

Было бы необъяснимым оживление национальных традиций в народных промыслах в конце XVIII века, если бы еще во второй половине XVII века, среди самого народа, не возникло течение, которому суждено было сыграть выдающуюся, если не единственную роль, в деле сохранения традиций древнерусской культуры.

Течение это было вызвано расколом православной церкви.

Вспомним, что раскол был гораздо шире чисто церковных разногласий. В конце концов, старообрядцы были осуждены Собором правящей церкви не за приверженность к старой идеологии, ибо сохранить эту идеологию старалось само правительство. А за критику тех изменений, что произошли во вкусах и настроениях правящих кругов. Изменений, с точки зрения традиционной идеологии. Приняв внешнее наименование старообрядцев, они отнюдь не были наиболее ортодоксальным направлением среди ортодоксальной православной религии. Ортодоксализм православной религии в те времена заключался не в употреблении тех или иных греческих обрядов, а в идущей еще со временем Византии практике светского (йарского) руководства вопросами религиозного порядка.

Старообрядцы отступили лишь от наиболее ортодоксальной части православной религии — беспрекословного подчинения царской власти. В этом они бессознательно повторили западные религиозные протестантские течения. В конце концов и значительная часть новообрядной русской церкви повторила судьбу старообрядчества после 1917 года. Ибо, оторвавшись в эмиграции от метрополии, организовала параллельную иерархию, подобно старообрядцам - поповцам.

Старообрядцы XVII века, как и их предшественники в других протестантских движениях, написали на своих знаменах

проповедь возврата к чистоте и практике более древнего христианства.

Поскольку внешней причиной разрыва с официальной церковью и правительственной властью явились вопросы обрядового и эстетического характера, то старообрядцы старались сохранить у себя древнерусские обычаи, богослужебные книги, иконы, предметы быта. Впоследствии, именно по наличию в имуществе подозреваемого древнерусских предметов, официальные власти распознавали старообрядца.

Как известно, первые выступления противников церковной реформы начались в Москве. Несмотря на то, что официальной датой церковного раскола является 1654г., лишь последующие преследования царского правительства двинули в путь и принесли неисчислимые страдания этой части русского народа. Особенно усилились гонения, и до размеров геноцида, после 1681 г, когда всем церковным и светским властям было вменено в обязанность разыскивать и уничтожать старообрядцев. Кажется, никогда и никого на протяжении всей русской истории, правительство и церковь не преследовали с таким ожесточением. Ни мусульман, ни евреев, ни язычников, ни сектантов; даже политических противников и военных врагов не уничтожали с таким ожесточением.

Однако, нечеловеческие преследования не смогли уничтожить ревнителей древнего благочестия. Более того, несмотря на всё творимое правительством, их число беспрерывно умножалось, достигнув к середине XIX века более, чем 13 миллионов.¹

Однако, противоборство не всегда ведет к созданию противоборствующего искусства. Для творчества необходимо наличие особой культурной атмосферы. К чести старообрядцев необходимо сказать, что одним из первых шагов, сделанных ими с целью предотвращения влияния господствующей культуры,

1. Трудно установить точное число старообрядцев в России и за рубежом. Все официальные данные о числе старообрядцев в XIX веке весьма неточны. Правительство и местные власти были всегда заинтересованы в преуменьшении числа старообрядцев, ибо каждый год должны были отчитываться в своих миссионерских успехах.

было сохранение древнерусского художественного наследия. Начиная с начала XVIII века все, даже самые незначительные старообрядческие поселения, сознательно концентрируют у себя образцы древнерусской иконописи, богослужебных книг и церковной утвари. Иногда, подобные старообрядческие собрания насчитывали десятки тысяч книг и икон. Более того, создаются собственные иконописные мастерские, школы церковного пения и большое число переписчиков книг. Налаживается широкое обучение грамоте и ремеслам. Коллекционирование предметов древнерусского искусства приобрело такой размах что вызвало потребности исторического изучения древнерусской культуры. Еще в XVIII веке старообрядцы выработали собственные критерии для опознания памятников древнерусской культуры. Более того, сознательность коллекционирования привела их с специальному отбору памятников, исторически достоверных или датированных. Недаром, ученый противник старообрядцев — о. Андрей Иоаннов, писал во второй половине XVIII века: "Я в руках их видел довольно таких книг, которые подписаны собственными руками благочестивых особ царской фамилии, Царевен, Князей и Княгинь, или каторого нибудь архиерея, и Патриарха из древних Российских архипастырей; также множество икон, крестов напрестольных, Евангелий старинных с надписями лет, богатой утвари, какими не можно инде быть, как в знаменитых местах, из коих иные сделаны Царским, иные великим иждивением знатных благочестивых бояр".²

Особенно большой вклад в старообрядческую культуру сделала знаменитая Выгорецкая старообрядческая обитель, расположенная вблизи Онежского озера. Основанная в конце XVII века, она, вплоть до ее окончательного разгрома царскими войсками в середине XIX века, была ведущим культурным и религиозным центром всех русских старообрядцев. Особено важное значение она имела для наиболее многочисленной части старообрядцев-беспоповцев. (8 из 13 миллионов.) В этой обители и прилегающей к ней местности проживало более 20 000 старо-

2. Андрей Иоаннов. Полное историческое известие о древних стригольниках, и о новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах, и разгласиях. 2-е изд. Спб. 1795 г. часть 2. стр. II.

обрядцев еще в начале XVIII века и, несмотря на пятикратный разгром монастыря царскими отрядами, она сумела, возрождаясь из пепла, оставаться ведущим культурным центром старообрядчества.³

Кроме всего прочего, большое внимание было уделено в обители созданию собственных художественных произведений. Огромные иконописные мастерские на протяжении всего XVIII столетия были основными поставщиками икон для всех старообрядцев России. Кроме икон, выгорецкие художники рисовали большое количество настенных картин исторического, аллегорического и нравоучительного содержания. Создавались портреты видных деятелей старообрядчества. Женское искусство было представлено всевозможными видами рукоделия — шитье золотом и серебром, вязание и ткачество. Производство любого вида художественной продукции контролировалось специальными постановлениями. Например, сохранилось постановление выговцев о "Невыделке сундучков и туесков на мирской образец". Судя по этому постановлению, старообрядческие наставники предписывали украшать столь распространенные в домашнем быту предметы, лишь в стиле, свойственном старообрядческому искусству. Более того, всяческим осуждениям подвергалось использование "мирских" изображений, то есть сюжетов и орнаментики городской культуры XVIII века.⁴

Противопоставление своей культуры, а в конечном счете и культуры древней Руси, наблюдалось у старообрядцев не только по отношению к культуре петровской России. Сознание просвещеннейшего превосходства свойственно было, например, образованным представителям Выгорецкого монастыря и относительно других, тоже старообрядцев, но никакой культурой не отличавшихся. Например, видный деятель монастыря — Андрей Денисов, разбирая сочинение некоего Пахомия,

3. Автором написан большой труд по истории Выгорецкого старообрядческого монастыря, но еще не опубликован.

4. Постановление выговцев о невыделке туесков на мирской образец. Рукопись, хранится в Институте русской литературы (Пушкинский дом). Карельское собрание. № 38. л. 19. Поморская рукопись XVIII века.

отмечал, что сочинение последнего написано "вкратце, простою народною беседою".⁵

Приведенные мною два примера — постановление и отзыв, важное для нас свидетельство о том, что процесс сохранения древнерусского наследства, равно, как и поддержание собственной культурной атмосферы на высоком уровне, были сознательными действиями старообрядцев. Более того, многие созданные ими художественные произведения, снабжались соответствующими надписями, свидетельствующими о месте изготовления, а иногда и о цели их создания. Сохранились, например, свидетельства, когда на запрос старообрядцев из других местностей, выгорецкие мастера изготавливали специальный образцовый памятник, на который наносилась надпись, что изготовлен по специальному постановлению настоятелей и утвержден в качестве образца для передачи таким - то лицам.

Роль Выгорецкого монастыря в создании старообрядческой культуры уникальна по своему значению. Однако, расселение старообрядцев по России было почти повсеместным. Первые преследования правительства еще в XVII веке двинули огромное количество населения из центральной России на окраины. В 1672 г. ими была основана первая пустынь на Дону, заселены Керженские леса под Нижним Новгородом. Старообрядческие переселенцы появились в Архангельских, Олонецких и Вологодских лесах. Колонизовали Саратовскую и Астраханскую губернию. Только в Оренбургской губернии к концу XVII века скрывалось более 100 000 человек. К началу XVIII века старообрядцы появились на Урале, образовав впоследствии сплошное поселение при всех уральских заводах. С Урала бежали в Сибирь, заселили Пермскую губернию. Екатеринбург, Тюмень, Томск, Енисейск обязаны своим появлением только старообрядцам.

Следующие волны переселенцев достигли Семипалатинска, проникли на Алтай, бывший в то время вне пределов России. После присоединения Алтая к России, старообрядцы, уже под названием "каменьщиков" были причислены к инородцам.

5. В. Г. Дружинин. О житии Корнилия Выгопустынского, написанного Пахомием.

Впоследствии, распознав в них "своих", русских старообрядцев, царские власти подвергли их преследованию, тогда многие из них бежали далее в Китай, Забайкалье и Амурскую область.

В 1684-85 годах масса старообрядцев бежала "за свейский рубеж". Они поселились в районе Петергофа, организовав старообрядческий район, известный как "Копорщина". В то время это была территория Швеции.

В конце XVII века более 50 000 человек скрывалось в старообрядческих поселениях близ Новгород-Северского. Так называемое "Стародубье". Из Стародубья они были вынуждены бежать в Польшу, где возникла знаменитая "Ветка". Когда царские войска перешли польскую границу, то они вынуждены были бежать дальше — в Пруссию, где вплоть до конца XIX века были известны как "Филиппоны". В Прибалтике ими было сплошь заселено пространство между Чудским озером и рекой Эмаиоги.

Преследования первого столетия существования старообрядчества не способствовали, разумеется, расцвету старообрядческой культуры. Однако, древнерусские традиции были все-таки ими сохранены и в этих жестоких условиях. Более того, именно в это время старообрядцами созданы некоторые особенности в оформлении рукописей. Собственный иконописный стиль. Написано более 1000 оригинальных литературных произведений. Разработана новая и усовершенствованная система записи древнерусской певческой нотации. Созданы значительные коллекции произведений древнерусского искусства. Старообрядцы-знатоки уже оперировали при опознавании древнерусских памятников такими понятиями, как строгановская, новгородская или ярославская школа иконописи. Подобными знаниями древнерусской культуры не обладал еще ни один из "цивилизованных" людей или чиновников.

Интересно, что при экономических затруднениях русское правительство часто обращалось за помощью к старообрядцам. Как же иначе объяснить появление вроде как бы индульгенций, или комерческих сделок, когда в какой то период правительство обещало старообрядцам не преследовать их при условии выплаты ими двойного подушного оклада. А в царствование Екатерины II было объявлено даже прощение всем старообряд-

цам, бежавшим в эмиграцию. И все-таки старообрядцы всегда с радостью принимали любые, даже дискриминирующие их перед остальным населением сделки с правительством, при условии обеспечения более или менее нормального в бытовом отношении существования. Разумеется, если их религиозные убеждения сохранялись за ними. И когда такие, сравнительно спокойные времена наступали, в короткий срок они завоевывали себе крепкие экономические позиции, превосходя многих в смекалке, напористости и взаимопомощи. Вот такие, особенно счастливые времена, установились для них в царствование Екатерины II. И старообрядцы потянулись на родину, бывшую для них когда-то злой мачехой. Во времена Екатерины они заселили Подмосковье и окрестности Петербурга. Именно в конце XVIII века они сделались внушительной, если не главной силой в русском купечестве. Они строили фабрики и заселили почти все центры будущего промышленного потенциала России. Многие русские отрасли промышленности были созданы ими в короткое время "екатерининских свобод". И, в большинстве случаев, несмотря на усилившуюся репрессии николаевского времени, свои позиции в русской промышленности они сохранили и даже развили вплоть до большевицкой революции. С конца XVIII века возрастает их влияние на остальное русское население. Во всяком случае, кажется не существует ни одного миссионерского отчета православной церкви, где отмечались бы даже минимальные успехи по обращению старообрядцев в лоно правительственної церкви, зато пессимистических наблюдений (с точки зрения официальной религии) полны все церковные издания того времени. "Раскол усиливается", "Расколом заражаются" — вот обычные официальные сентенции того времени.

И вот именно на это время падают даты основания почти всех русских художественных народных промыслов.

Разумеется, сознательная организация центров народного искусства с целью пропаганды старообрядчества совсем не входила в планы старообрядцев. Никакого глобального "заговора" не существовало, однако, вероятно, именно старообрядческая среда способствовала возникновению потребности в художественно украшенных предметах быта. Вспомним, что эстетическая, правда с религиозной окраской, оценка иконописи

XVII века и явилась первым толчком для старообрядческой критики всех антирусских нововведений. Ведь первым нововведением Никона еще в бытность его в Новгороде было изменение иконографической формы некоторых иконных изображений. В свою очередь и старообрядцы сделали камнем преткновения при спорах с православными вопросы художественных и догматических требований к произведениям культового искусства.

Таким образом, по сравнению с отсталой интеллектуально деревенской средой основной массы русского населения, почти только одни старообрядцы обладали навыками критической оценки художественных качеств религиозного и бытового искусства. Только старообрядцы испытывали необходимость утверждать свои собственные эстетические ценности в противовес официальному городскому искусству.

Нижегородская губерния издавна являлась оплотом старообрядчества. Знаменитые Керженские скиты руководили духовной жизнью этого края с конца XVII века. В XVIII веке керженцы находились в довольно тесном общении с Выгорецким монастырем, а их культура была лишь слепком с выгорецкой. Особенно усилилось влияние Выгоречии с начала XIX века, когда после 1808 года в этой губернии появляются значительные группы беспоповцев-поморцев. К середине века эти поморцы становятся наиболее многочисленной частью старообрядческого мира Нижегородской губернии.

Общее же число старообрядцев в Нижегородском kraе в 1852 году, по сведениям преосвященного Иеремея, составляло 240 000 человек. Только в г. Городце и его округе в 1903 году насчитывалось 90 000 старообрядцев.⁶ А Городец был центром всего волжского судостроения. Да и резное украшение деревянных домов носит второе название — "городецкая резьба". Здесь же и тоже с начала XIX века возникло производство городецких прялок. Резных и росписных.

Своебразная общественная психология привела старообрядцев к созданию любопытных религиозно-производствен-

6. О числе раскольников в России "журнал "Истина", январь 1882, Псков, Славянская типография.

ных объединений. В руках такого объединения целиком находилось производство так называемой "горянщины" — точеной росписной посуды.

Это и есть знаменитая Хохлома, художественные достоинства которой оказали, пожалуй, наибольшее воздействие на все художественные промыслы конца XIX-нач. XX века. Хохломской стиль декорирования бытовых предметов вдохновил и большинство произведений в так называемом "русском стиле", став, в некотором роде, эталоном "настоящего русского национального стиля". Именно хохломской росписью украшались все многочисленные павильоны русской империи на международных выставках. Да и в советское время, вся детская мебель и все табачные лавки для придания "шикарного" вида расписаны в хохломском стиле. Представьте себе, какую "диверсию" совершили "враги церкви и государства", если даже одна из любимых трубок Сталина была украшена в хохломском стиле, ну а до него, "при царе еще", знаменитый императорский бал, состоявшийся в Зимнем дворце в феврале 1903 года, где весь двор и царская семья щеголяли в "древнерусских" одеждах — этот бал был декорирован в стиле старообрядческого искусства. Такова горькая улыбка русской истории.

Культура старообрядцев, подчас, имеет сложную связь и с художественными промыслами, организованными специально с целью имитации дорогих иностранных предметов быта. Так обстояло дело с жостовскими подносами. Производство росписных металлических подносов в подмосковном селе Жостове началось с начала XIX века и призвано было имитировать английские изделия такого рода. К середине же XIX века этот промысел характеризовался уже как центр популярнейшей в России продукции, предназначенной, в основном, для купечества, мещан и других городских и окологородских жителей. Достаточно сказать, что цветастые подносы были непременной принадлежностью всех российских трактиров, купеческих хозяйств, а производство их достигало астрономических цифр. Первоначалу, продукция украшалась лишь подобием английских изделий, перерабатывавших к этому времени уже который раз реминисценции модного в Европе в начале XVIII века стиля "китайщины".

Однако, на русской почве, цветочная роспись вскоре претерпела значительную зволюцию. Дело в том, что неудачи первых лет производства, заставили организаторов пригласить для участия в промысле специалистов с Урала, точнее с нижнетагильских и невьянских заводов Демидова.

Невьянский завод основан в 1701 году, а Нижнетагильский в 1725 году выгорецкими старообрядцами, имевшими тесные связи с Демидовым. Демидов неоднократно присыпал в Выгорецкий монастырь колокола, даже в те времена, когда производство колоколов для церковных нужд было вообще запрещено петровскими указами. На уральских заводах многие жители занимались производством росписной по металлу посуды, в основном для местных нужд. Относительно возникновения этой росписи, журнал "Азиатский вестник" писал в 1825 г. следующее: "Не подумайте, чтобы дирекция вновь вводила это художество, напротив, она сама пользуется вкусом местным и давним. Искусство малевания исстари было принесено старообрядцами, занимавшимися иконописанием: после кисть их осмелилась быть резвою и начала изображать другие предметы". Комментарии излишни, однако пути происхождения жостовских подносов прослеживаются дальше, благодаря знакомству со старообрядческой историей.

Из рукописей Выгорецкого монастыря мы узнаем, что родиной большинства рабочих, посланных Выгорецией на Урал, было Заонежье.

Красочная живопись Заонежья хорошо известна. Наиболее распространен там еще в XVII веке "цветочный" кистевой стиль в украшении различных предметов. Этот "цветочный" орнамент, вернее его потомки, до сих пор характеризуют художественные особенности жостовских подносов.

Исследователь Заонежской росписи Большева К.А. оставила нам записи своих разговоров с заонежскими художниками. Один из них, некто М.И. Абрамов, заявил, что он обучался живописи у старца из Выгорецкого монастыря. Кроме прялок, Абрамов расписывал православные церкви, писал иконы и переписывал

старообрядческие рукописи, украшая их красочными заставками.⁷

Пример с жостовской росписью лишь один из многих. При желании можно легко установить связь между старообрядческим искусством и северодвинскими прялками, золотным шитьем Арзамаса и Торжка. Палех и Мстера также исконные центры русского старообрядчества, не случайно созданные в них "Иконописные подлинники" — то есть иконографические и технологические руководства для иконописания, обладают специфическими старообрядческими взглядами на то, каким должно быть истинное иконописание.

Да, только старообрядцы сохранили русские былины и иконы, рукописи и национальные обычаи, древние распевы и обряды. И они ничего не утаили — отдали все, что смогли уберечь от России сегодняшней для России будущей.

Вл. Тетерятников

7. К.А. Большева. Крестьянская живопись Заонежья. Крестьянское искусство СССР. Ленинград. Академия. 1927.

“ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ”

М.А. АЛДАНОВ

La chair est triste, helas; et j'ai lu tous les livres.
Mallarmé

К сожалению, нет у меня под рукой статистических данных, касающихся писателей, наиболее читаемых русским зарубежьем. Но едва ли я ошибусь, утверждая, что за все годы эмиграции автором, наиболее популярным у читателей русских библиотек, был Алданов. Как бы отражая общее мнение, Бунин не раз говорил, что когда он получает еще пахнущий типографской краской номер какого-нибудь толстого журнала или альманаха, он первым делом смотрит по оглавлению, значится ли в нем имя Алданова и тогда тут же разрезает страницы, заранее возбудившие его любопытство и, откладывая все дела, принимается за их чтение.

Действительно, как бы к творчеству Алданова не относиться, в одном ему нельзя отказать — в занимательности, в умении так построить свою фабулу, что читатель всегда чувствует себя удовлетворенным, сознает, что не зря потратил время на чтение, что ему приоткрылось много новых исторических фактов, достоверность которых не вызывает у него сомнения. Алданов подлинно знал немного обо всем, что, согласно паскалевской формуле, много лучше, чем знать все о немногом.

Кроме того, в писательской манере Алданова была еще одна черта, которая немало содействовала его популярности. Читатель чувствовал, что автор его уважает, не смотрит на него свысока, хотя в то же время не хочет быть с ним за панибрата.

Вообще подобное отношение не только к читателю, но и к собеседнику или любому знакомому было для Алданова

характерно. Он, хоть и был, так сказать, "на виду" и так случилось, что очутившись заграницей, в литературных кругах сразу же был причислен к группе "маститых", едва ли не до конца дней жил словно улитка в своем домике, из которого неохотно выползал. Едва ли он любил людей по-настоящему, едва ли был способен к кому-либо по-настоящему привязаться. Он со многими был во внешне приятельских отношениях, с некоторыми видными деятелями эмиграции вел усердную "философическую" и литературную переписку, но едва ли был человек, которого он мог считать подлинным другом, с которым мог бы делиться своими треволнениями.

Все его интересы, все его любопытство были как будто направлены к тому, чтобы возможно более пристально разглядеть тех, кто — в прошлом и настоящем — творил историю, отыскать в их биографиях дополнительные черточки, которые остались незамеченными профессиональными историками.

А в той "мышьей беготне", на которую каждый невольно обречен, он всегда и при всех обстоятельствах сохранял какую-то утонченную и отчасти уже устаревшую вежливость и, может быть, чуть напускную благожелательность. "Над чем изволите работать?" — был его трафаретный вопрос при встрече с каким-нибудь коллегой по писательскому или журналистическому ремеслу. Он точно боялся задеть его неосторожным словом или недостаточно лестным о нем отзывом, хотя по существу до себеседника или его писаний, если таковые имелись, ему в общем было мало дела. Да, собственно, чем можно было "прельстить" человека, который по всем областям умудрился прочесть не только все, что "полагалось", но и все, что хоть в какой-то мере могло быть ему полезно для отыскания еще одной "маленькой правды" о своих будущих героях. Ради них он самоотверженно становился библиотечной или архивной крысой, часами просматривал номер за номером пожелавшие комплекты старых газет, сверял или сопоставлял воспоминания и записки современников.

Но все это было одной стороной медали. Была и другая, указывавшая на то, что весь этот собранный им огромный "багаж", вся его эрудиция, как будто не уравновешивала его извечной, словно преследовавшей его тоски.

Вместе с тем, трудно даже с полной уверенностью утверждать, что, собственно, было ему наиболее близко и что было его "Энгровой скрипкой", в какую сторону клонились его подлинные пристрастия. Этот человек, в свое время кончивший три факультета и в молодости побывавший в четырех частях света, чье литературное наследство составляет примерно двадцать пять увесистых томов, был в то же время увлечен химией и это увлечение отнюдь не было платоническим. В ряде высококвалифицированных иностранных журналов он напечатал целую серию своих экспериментальных работ, а несколько исследований с диковинными для профана заглавиями, вроде "Законы распределения вещества между двумя растворителями" или "Актинохимия" были изданы весьма почтенными французскими издательствами, которые дилетантских трудов не выпускали. Даже нелегко понять, как он мог найти время для всего этого.

Уж очень приложимо к нему декартовское изречение, которое Алданов сам не раз цитировал: "хорошо жил тот, кто хорошо скрывал". Впрочем, оговорюсь, остается все-таки под сомнением, несмотря на все его литературные успехи и жизнь, казалось бы, не омраченную никакими провалами, прожил ли он ее "хорошо" в декартовском понимании. Мне всегда казалось, что какой-то маленький, миниатюрный прометеев орел неустанно клевал его.

Я знал его в продолжении нескольких десятилетий, чуть ли не полвека, периодами встречался довольно часто и все-таки чего-то никогда не мог в нем расшифровать.

Дело было не только в его внешней замкнутости, странным образом уживавшейся с ровностью в его отношениях с людьми (из этого его правила надо исключить тех, которые находились по "ту сторону баррикады", так как тогда он был бескомпромиссен и даже упрям и в этом отношении очень следил за своей репутацией, боясь как-то очернить свои "белые ризы") и, вместе с тем, было в нем что-то, что заставляло иной раз задуматься о "загадке Алданова". Сдержаненный и учтивый, порой даже манерный, он мог ошараширить своего собеседника интимнейшими вопросами. В его устах такого рода вопросы были тем более неожиданны, что задавал он их как-то не спроста, не сопро-

вождая приличествующей в таких случаях усмешкой. Он вдруг принимал облик интервьюера и могло казаться, что свои вопросы он ставит ради какой-то научной анкеты.

Он знал все исторические здания Парижа, Рима, Вены, знал, где была создана та или иная классическая вещь, где кто был похоронен. Я вспоминаю теперь, как в давно ушедшие годы мне как-то случилось в небольшой компании отправиться с Алдановым в одно из злачных мест ночного Парижа. К моему удивлению он и тут, если не был в буквальном смысле "гидом", то во всяком случае был хорошо осведомлен обо всей подноготной этого уже давно не существующего заведения. Он знал, кто из политических деятелей его посещал, какие происшествия имели тут место. "Маленькая" история представляла для него неменьший интерес, чем "большая" и он подлинно знал "немного обо всем"!

Алданов покинул Россию с одной из самых первых волн эмиграции и в своем багаже привез заграницу, собственно, одну только книгу, переизданную затем под измененным заглавием "Загадка Толстого".

Будущие историки литературы, вероятно, будут рассматривать ее, как некую "пробу пера" начинающего автора, потому что и по своей тональности, а тем более по фактуре она весьма далека от более поздних алдановских произведений, от столь характерной для него сдержанности. Но все же на этом "предисловии к собранию его сочинений" следует остановиться, хотя бы для того, чтобы яснее понять, кем был Алданов по существу.

Эта небольшая книга не только свидетельство того пиэтера, который ее автор испытывал к Толстому, пожалуй, единственному русскому писателю, которого он любил безоговорочно. Нет, главное в ней то, что несмотря на это поклонение, Алданов отнюдь не стремился сглаживать толстовские противоречия. Напротив, делая их более рельефными, настаивая на них, выставляя их напоказ, он старался не только их объяснить, но и оправдать.

Так, отношение Толстого к науке, особенно к медицине и ее служителям, к которым Алданов применяет тютчевское словцо, что они "Ахиллесы, у которых всюду пятка", было конечно ему

совершенно чуждо. Будучи химиком, то-есть, учёным, он не только по образованию, но скорее по внутреннему призванию был глубоко науке предан и едва ли не поклонялся ей. Тем не менее, Алданов с чувством внутреннего удовлетворения подметил, что иные из интуитивных предвидений Толстого, многое из того, что Толстой высказывал с заостренной полемичностью, в сущности довольно близко к тому, к чему теперь приходят наиболее выдающиеся учёные нашего времени. Противоположности где-то сходятся...

С другой стороны, одну из ведущих идей Толстого — исторический фатализм, Алданов в своей книге всячески старается обосновать, как бы сам себе противореча, потому что с большой убедительностью подчеркивал роль личности в истории и в этом отношении — вероятно, только в этом — Карлейль был ему ближе Толстого.

Но именно это преклонение Алданова даже перед тем, что ему у Толстого было скорее чуждо, показательно. Его "детская болезнь" оставила на нем рубцы на всю жизнь, несмотря на то, что его творчество пошло по совсем другому пути, и Толстой, можно думать, отшатнулся бы от алдановского скепсиса.

Если ближе присмотреться к этой первой книге Алданова, то можно заметить, что уже в его молодые годы, пожалуй, его сильнее всего взволновала повторяемость у Толстого темы смерти. Толстовская тяга к ее описанию была, собственно, непреходящей и Алданов вкратце как бы систематизировал эти описания. В этом перечислении смерти от чахотки, от сердечного удара, от родов, от ушиба чередуются со смертями в рукопашной схватке, в сражении, затем идут линчевания, расстрелы и виселицы, казни, убийства и самоубийства. Мало того, как отмечает Алданов, Толстой с неменьшей трагичностью, вызываемой тем, что большинство толстовских героев умирало в физических страданиях и без нравственного примирения, готов был описывать и смерть лошади, дерева, цветка.

Зная Алданова, мне кажется, что эта черточка толстовского творчества, детали иных толстовских "концовок" как-то особенно действовали на него, врезались в его сознание, влияли на его мироощущение. Мне представляется, что и его едва ли не с отроческих лет преследовала мысль о смерти. Не уверен, следует

ли называть это чувство "страхом смерти", но во всяком случае оно очень глубоко в нем засело и недаром и его произведения так насыщены описаниями смертей, не брезгающими иной раз — что для Алданова довольно неожиданно — унижающими реалистическими, а то и физиологическими подробностями. Всех такого рода описаний не перечислить, но достаточно вспомнить его описание смерти Байрона или Александра II-го или мучительное угасание от рака одного из сановниковalexandровского царствования или еще — самые из них жуткие — описания смерти Бальзака или Ленина и, наконец, самоубийство вымышенного общественного деятеля предреволюционной эпохи и его супруги. Можно было бы вдобавок упомянуть и о некоторых не в меру мрачных заглавиях алдановских произведений — вроде "Начало конца", "Повесть о смерти", "Могила воина" или, наконец, "Самоубийство", роман, в котором описывается не только гибель большинства его действующих лиц, но, в первую очередь, "самоубийство" старой, традиционной Европы, вызванное необоснованной войной.

Тема смерти подлинно владела Алдановым, но он не любил говорить об этом вслух, как, например, с неизменным содроганием был на это способен Бунин. Алданов свою тревогу держал как бы про себя, но она невольно проступала между строчек в его книгах и иной раз — может быть, помимо его желания — в разговоре. Не только потому, что он был усердным читателем Паскаля, но и сам интуитивно сознавал, что "наши близкие нам не помогут и умрем мы в одиночестве" и с этим в каком-то смысле для него вещим постулатом он едва ли когда-нибудь примирился.

Мне кажется, что не будет ошибкой утверждать, что образ Ивана Ильича неизменно витал перед Алдановым, а рядом с ним — где-то в отдалении, на втором плане — образ Хаджи-Мурата. Едва ли он сам сознавал, кто из них ему "понятнее" и в чем-то созвучнее. Алданов так и не разгадал толстовской "загадки", как совместить слова, что умереть мирно можно только найдя Бога с неким авторским восхищением перед "дикарством" Хаджи-Мурата. Ведь в своем дневнике Толстой подчеркнул, что главное в его повести было "выразить обман веры", добавляя: "как хорош был бы Хаджи-Мурат, если бы не этот обман". Но,

приводя эту цитату, Алданов тут же отмечал, что "если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то Хаджи-Мурат, конечно, не имел никакой религии, но как куст татарника отставал свою жизнью до последнего вздоха".

"Хорошо бы это было, ежели все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего" — думал князь Андрей. "Хорошо бы это было" — но даже сам Толстой не смог разрешить сомнений своего героя. Мог ли хотя бы в мыслях разрешить их Алданов?

Воспитанный в рационалистической традиции он, конечно, отлично понимал ничтожество всего, что было "понятно", но едва ли он соглашался поверить в величие "непонятного". Ему несомненно было ближе то, что было выражено Гойей в одной из самых страшных из его "фантазий", изображающей искривленную руку, высывающуюся из под камня пустынной могилы и подписанную одним словом "Nada" — "Ничто". Кстати, об этом офорте Алданов вскользь упомянул в своей книге о Толстом. Отсюда, думается, и шел его страх, его скепсис, та его горечь, которую он — не всегда успешно — пытался утаивать.

В "Воскресеньи" арестантка-старостиха благодушно замечает: "правду-то видно боров сжевал". В своих романах, в портретах исторических лиц Алданов, собственно, это наивно-грубое изречение художественно развил и психологически обосновал. Другого пути выразить свои затаенные мысли у него не было. Меньше всего он был способен на "исповедь" в какой бы то ни было форме. Он был для этого слишком скрытен, даже если в некоторых из действующих лиц его романов — так сказать "по недосмотру автора" — проскальзывают автобиографические черты.

В связи с этим вспоминается мне один эпизод, который можно считать симптоматичным. Во время войны, перед отъездом Алданова в Америку я нередко встречался с ним в Ницце, в старинном кафэ под аркадами, уже тогда казавшимся анахронизмом. Чаще всего я приезжал из Грасса с Буниным, под крыльышком которого я тогда жил. Алданов уже как бы "паковал

чемоданы", хотя, как мне казалось, переселяться за океан ему не очень-то хотелось. Разговоры шли тогда преимущественно вокруг злободневных тем, толкования военных сводок между строк. Алданов был настроен весьма пессимистически, хотя ему очень не хотелось быть Кассандвой в присутствии Бунина, который довольно болезненно переживал отъезд Алданова. "Еще одна связь с былой жизнью разрывается", говорил он.

Однажды — за одной из "последних" чашек кофе — разговор коснулся алдановского романа "Начало конца", экземпляр которого оказался у Бунина в Грассе и который он перечитывал. Бунин вдруг вытащил из кармана листик бумаги, на котором колонкой были написаны какие-то фразы и начал не без иронии убеждать Алданова, что один из героев романа — французский писатель Вермандуа — точная копия самого Алданова. Алданов всполошился, но Бунин продолжал: "подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа, вы сами пишете, "цитировал сто тысяч человек", а вы? "вежливость была в его природе", а у вас? "грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение", а вас? но главное не в этом, а в том, что вы вложили в уста Вермандуа фразу, которую я вам сейчас здесь прочту — "если бы я хотел писать органически, то вывел бы старого, усталого парижанина, которому надоела вся его работа и которому в жизни остались интересны только молодые женщины, не желающие на него смотреть. Может быть, это и было бы искусство, но от такого искусства надо бежать подальше". А дальше ваш Вермандуа говорит: "но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость". Ведь все это ваши собственные переживания, — настаивал Бунин, — да и вы, родись вы французом, давно расхаживали бы в зеленом академическом фраке и были бы "бессмертным".

Алданов, конечно, отрицал автобиографичность своего героя и возражая Бунину, говорил, что ведь в его романе Вермандуа, если и не коммунист, то своего рода салонный "большевизан", а этого достаточно, чтобы оставить мысль об отождествлении с его героем.

— Ну, это вы сделали для отвода глаз, — ехидно добавил Бунин, — это как в армянском анекдоте про зеленую селёдку — почему зеленая? чтоб никто не догадался!

Едва ли бунинские замечания пришлись Алданову по душе — именно потому, что Бунин разгадал кое-что из того, что Алданов хотел было утаить, но, с другой стороны, ему все-таки было лестно, что Бунин тратит время на выписки из его романа, хотя бы для того, чтобы подразнить его.

Очутившись в Париже в незапамятные времена — кажется, еще в 1919-м году, куда он прибыл в составе одной из многочисленных политических делегаций, которые словно бабочки на огонь съезжались для неосуществившихся переговоров с участниками версальской мирной конференции, Алданов с свойственной ему методичностью стал регулярно посещать Национальную Библиотеку. Именно в сумятице первых дней эмигрантского бытия он точно почувствовал свое подлинное призвание. Обложившись историческими трудами и всевозможными мемуарами, он собирал материалы, необходимые для написания задуманной им повести. Повесть эта была "Святая Елена, маленький остров" — заглавие, которое было только повторением той пророческой надписи, которую неизвестно почему юный Бонапарт сделал на одной из своих школьных тетрадей и на которую, вероятно, так же случайно обратил внимание Алданов.

Повесть эта, как известно, стала затем последней частью тетralогии "Мыслитель", в которой Алданов описывал эпоху от французской революции до смерти Наполеона. Трудно, однако, установить, явилась ли у него мысль о создании целого цикла сразу или эту идею подталкивал тот читательский успех, который имел его первый беллетристический опыт.

Повесть "Святая Елена" была как бы хроникой последних дней жизни Наполеона, но нарисованной сквозь видение юной девицы, дочери русского дипломата, посланного в помощь губернатору далекого острова, то-есть фактически для слежки за низложенным императором.

В этой исторической повести, может быть, с чуть подслащенной фабулой, алдановская "горечь" еще не ощущалась. Историческая драма заслонялась некой "розоватостью" действий и разговоров второстепенных действующих лиц, которые воспринимались читателем как декорации эпохи. Алданов писал эту книгу еще не будучи уверен в себе, в новой для него роли

исторического романиста. Но, что ни говорить, "победителей не судят". Повесть пришлась по вкусу читателю и этот успех содействовал тому, что в следующем своем романе — "Девятое термидора" — Алданов решился проявить больше свободы. Он значительно расширил свой писательский горизонт и окончательно избрал для себя форму полифонического романа, то-есть, скрещения различных сюжетных линий.

От основных принципов построения романа "Девятое термидора" Алданов, собственно, никогда не отступал. В эту книгу в общество исторических деятелей с громкими именами он ввел вымышленного героя, Штала, которому суждено было оказаться замешанным во все главные происшествия эпохи. Хоть Шталь и "не хватал звезд с неба", он был свидетелем гибели Робеспьера, убийства Павла I-го, еще ряда исторических сенсаций. Мало того, не только сам Шталь, но и его предки и его потомки играли впоследствии известную роль во всей алдановской исторической беллетристике, доведенной им чуть ли не до описания наших дней.

Хотелось бы, при этом, отметить еще одну черту алдановской техники и требовательности к исторической достоверности. Направив своего Штала, который стал для него неким символом, его "оком", на историческое заседание Конвента, Алданов заставил своего героя задремать в тот самый момент, когда решалась судьба Робеспьера. Описывая эту драматическую сцену, Алданов боялся совершить какой-нибудь промах, потому что некоторые подробности этого трагического заседания, приведшего к падению диктатора, до сих пор оспариваются историками и свидетельские описания во многом не согласуются. Впрочем, не так же ли поступил и Стендаль, заставив героя "Пармской обители" прикорнуть в решающий момент битвы под Ватерлоо, в которой он принимал участие?

*

В короткий срок Алданов стал одним из наиболее популярных писателей зарубежья. Между тем, материальные условия жизни складывались в начале двадцатых годов так, что Алданову показалось, хотя книги его стали переводиться на иностранные языки (некоторые из них были затем переведены на

24 языка), более правильным переселиться из Парижа в Берлин. Это было время неправдоподобной инфляции и для иностранцев жизнь в германской столице была словно у "молочных рек"!

Под редакцией Керенского выходила тогда в Берлине ежедневная газета "Дни" и редактором ее литературного отдела вскоре стал Алданов. Именно тогда — на деловой почве — мы встречались или сносились почти беспрерывно.

С этих давних времен у меня еще уцелела папка с его письмами и короткими записками, которые при всей их лаконичности очень для него показательны.

"Очень нужна статья о Бальмонте. Получил об этом от него письмо", писал он мне. В виде курьеза упомяну, что писал он это с какого-то балтийского курорта, добавляя "здесь очень хорошо, но дорого, тысяч по семьсот марок в сутки!". Затем — был я очевидно крайне ленив — "Рецензию о Бальмонте ждем с нетерпением" или "Была бы очень нужна статья о первом номере горьковской "Беседы" и обещанная вами рецензия о Юшкевиче". Ниже несколько типичных для Алданова фраз: "Я выпустил из вашей рецензии отзыв о романе Степуна; мы лишились бы, вероятно, ценного сотрудника, и две фразы, относящиеся к Волконскому: как же нам, пишущим по старой орфографии, так категорически отстаивать новую?". Все это дела давно минувших дней!

Немного позже — "Не дадите ли статью об умершем Пьере Лоти?" и рядом — "В статье вашей о "Беседе" я, по соображениям высокой и невысокой политики, выпустил несколько строк и, кроме того, позволил себе одну вставку о том, что "мы обходим личный элемент, имеющийся в статье Б. Иначе на нас бы очень обиделся М.".

Я и по сей день чувствую, как Алданов ёрзal на стуле, когда ему пришлось сообщить мне, что моя кисло-сладкая статья о первом номере "Лефа" не пойдет. "В редакционном заседании было постановлено, — писал он, — что новой статьи о "Лефе" поместить нельзя (в политическом разрезе об этом журнале, редактировавшемся Маяковским, уже говорилось). Этим господам из "Лефа" шум, поднятый вокруг них, доставляет слишком большое удовольствие".

Я привожу эти отрывки из алдановских писем, собственно,

не представляющих большого интереса, только потому, что они показывают профиль не только этого деликатнейшего из редакторов, но и Алданова-человека, которому приходилось все время лавировать, чтобы, не дай Бог, кого-нибудь не обидеть и избегать пререканий с авторами, которые никогда не были довольны тем, что о них сказано, как бы ни были нажаты педали. Алданов физически страдал от своей чрезмерной щепетильности и оттого избегал сам писать критические отзывы. А вдруг тот, о котором он пишет, не так истолкует его слова или какое-нибудь "но", завуалированное в его статье.

Впрочем, ни редакторская, ни критическая деятельность не были под стать его характеру. Алданов был прирожденным — хоть он этого долго сам не угадывал — романистом и эссеистом и несомненно в других условиях мог стать блестящим журналистом международного масштаба. Но для этого он родился не вовремя.

Пожалуй, если проглядеть его литературное наследство, то наиболее ценным окажется его дар композиции, умение налагать один пласт на другой, из книги в книгу делать перекличку своим героям без того, чтобы этот прием мог показаться искусственным или надуманным. В большинстве случаев читатель этого и не замечал. Алданов в конце своих романов, составляющих единый цикл, никогда, даже в скрытой форме, не ставил традиционного "продолжение следует", хотя его главная цель — подчеркнуть связь времен и в какой-то мере связь поколений.

С другой стороны, он ни в одном из своих романов не решает какой-либо определенной проблемы, которую надлежит так или иначе разрешить. Нет, это всегда повествование очень умного человека, который, как всякий умный человек, свой ум на первый план не выставляет и им не любуется, хотя никогда от него не отрекается.

Алданова не раз упрекали в "западничестве". Может быть, этот упрек вызывался еще и тем, что даже своим внешним видом, своей аккуратностью и пунктуальностью он скорее старался походить на британского "джентльмена", чем на классический тип русского интеллигента. Но его литературное наследство некоторыми чертами все же удаляется от русской литературной традиции и приближается к таким западно-

европейским образцам, как, скажем, "Тибо" Мартэн дю Гара или "Сага о Форсайтах" Голсуртси.

Вероятно, не случайно в одном из писем Федину Горький говоря об Алданове, характеризует его, как писателя "чрезмерно умного, но с чужим насквозь творчеством", ставя это последнее слово в кавычки. Эти кавычки едва ли делают честь Горькому, и, собственно, что в его устах означает слово "чужой"? С точки зрения будущей истории литературы есть ли в горьковской оценке что-либо по-настоящему уничижительное? Не будем заглядывать в будущее и гадать. Ведь может легко статься, что именно эта "чужеродность" алдановского поставленного в кавычки "творчества", которую ощутил не всегда искренний в письмах Горький, окажется залогом того, что книги Алданова еще будут жить и найдут читателей, когда многое из того, что создавалось по "горьковским" канонам, давно истлеет.

Алдановские герои, и это наиболее ощутимо в тех его книгах, которые описывают годы, начавшиеся кануном русской революции и доходящие до наших дней, нередко настолько скульптурны, что любой читатель готов увидеть в них знакомые ему прототипы (может быть, не всегда те же!) и про себя воскликнуть: "Ба, да ведь это наш Иван Иванович или Павел Петрович, как живой!".

Но и обратное: нередко, рисуя исторических деятелей, знакомых нам не только по школьным учебникам, но и по лубочным картинкам (например, Суворова, Бисмарка, Маркса), Алданов приоткрывает и оборотную сторону их "казенных" биографий. Он слишком хорошо знает, что про любое историческое явление потомки могут знать больше, чем современники. Но в то же время он учитывает, что историческому романисту легко поскользнуться и впасть в бутафорию. Поэтому, Алданов никогда не нажимает педалей, ничего не утрирует и не впадает в карикатуру, как бы она ни была для писателя заманчива. Непредвзятость была девизом Алданова и ей по мере сил он всегда старался следовать.

Может быть, в наиболее удавшемся из его романов, в "Истоках" (прибегая к слову "удавшийся", я хотел бы тут привести мнение Бунина, который в своем увлечении "Истоками" настаивал на том, что под характеристикой Александра II-го не

отказался бы поставить свою подпись сам "Лев Николаевич"!) алдановская историческая объективность сказалась наиболее выпукло. Рядом с описанием народовольческого заговора, с портретом страстной и беспощадной Софии Перовской, с детальным "репортажем" об убийстве Александра II-го, по словам Тютчева "царя благодушного и неуверенного в себе, человека слабого и более светского, чем царственного", рядом со сценами, в которых принимают участие Маркс, Бакунин или Гладстон, в роман введен ряд эпизодов, которые в полной мере оправдывают его заглавие.

В "Истоках", конечно, есть и любовная история, роман одного из вымышленных героев с цирковой наездницей. Так вот — чтобы "не ударить лицом в грязь" — допустить какую-нибудь неточность и авторитетно объяснить сущность "тройного сальто-мортала", Алданов, как он мне сам довольно подробно рассказывал, на недолгий срок присоединился к бродячему цирку, кочуя вместе с ним по Соединенным Штатам. Он знал, что быть и атмосфера этих цирков едва изменяется с годами и широтами. В результате даже в цирковой технике, описанной в романе, и там "комар носа не подточит". Писательская честность Алданова, действительно, была беспредельна.

Едва ли среди современных русских писателей был человек более влюбленный в прошлое, чем он, берегущий память о нем, как золото берегут при промывке. Но, при этом, он ничего не идеализировал, не совмещал свою любовь с какими бы то ни было политическими или бытовыми пристрастиями. Он слишком хорошо знал, что реки не текут вспять.

Может быть, в силу своей "бережливости" к ушедшему он постоянно вводил в свои произведения людей старых, опытных, много переживших и уже ничего от жизни не ждавших. Они ему удавались лучше всего. С этой точки зрения характерно, что самые проникновенные главы "Истоков" посвящены умиранию бывшего сановника, который, как Иван Ильич (я уже упоминал, что этот толстовский образ был как бы неотделим от Алданова), недоумевает, не в силах даже кричать, не знает, что с ним происходит. С неменьшим драматизмом в "Повести о смерти" описана жуткая агония Бальзака, все призывающего на помощь знаменитого врача Бианшона, никогда не существовавшего и

созданного фантазией самого Бальзака в его "Человеческой комедии".

А рядом с этими "гигантами" большинство вымышленных героев Алданова — люди обыкновенные, малозамечательные, нередко с легким оттенком пошлости, вроде адвоката Кременецкого или пробившего себе дорогу журналиста Дона-Педро, к которым все-таки склоняется симпатия их создателя.

Писательская натура Алданова затрудняла ему выпуклое изображение женских типов. Женскую капризность и переменчивость он внутренне не чувствовал. Его женщины все по одному шаблону — либо матроны, либо их подрастающие дочери. Он относится к ним с интересом и даже порой с нежностью, но едва ли их понимает и они точно описаны с чьих-то чужих слов.

*

За мое долгое знакомство с Алдановым он, насколько могу припомнить, только один раз на меня разозлился, вопреки своей всегдашней невозмутимости. При этом, повод к его гневу был подлинно анекдотическим.

В период между двумя войнами существовал в Париже у графини Клермон-Тоннер, урожденной герцогини Граммон, "салон" — едва ли не один из последних пережитков такой "институции". Салон этот пользовался огромным престижем не только в светских, но и в политических и литературных кругах столицы. Было не вполне обычно, что хозяйка его, несмотря на генеалогическое древо — как по своей, так и по мужиной линии — восходящее к крестоносцам, была ярой республиканкой. Это позволяло коронованным лицам, наезжавшим в Париж инкогнито, встречаться под ее кровом с людьми самых разнообразных политических верований, национальностей и положений. В числе ее близких друзей были в свое время такие люди, как Баррес, Анатоль Франс, Пруст или лорд Керзон и Леон Блюм. А, в частности, одним из посетителей салона был внешне казавшийся пещерным человечком Шарль Раппопорт, некогда видный деятель Третьего интернационала, "уличенный" затем в троцкизме и коротавший свои дни в монпарнасских кафэ.

Хозяйка салона обладала также недюжинными литератур-

ными способностями, увековечив свое и без того громкое имя несколькими томами мемуаров, написанных ярко, свободно, с изяществом и тонкой иронией.

Первому тому этих воспоминаний, озаглавленному "Эпоха экипажей", мне случилось посвятить небольшой фельетон. К моему удивлению, вскоре после его появления я получил от герцогини письмо, которое у меня до сих пор сохранилось. По существу это была банальная благодарность за "лестное" внимание. Необычна была только первая фраза, гласившая, что "наш общий друг Шарль Раппопорт перевел мне вашу статью". А кончалось письмо: "примите теперь мою письменную благодарность, пока я не буду иметь удовольствия повторить ее вам в устной форме".

Не придавая письму большого значения, я случайно показал его Алданову, который сразу же осведомился, как я на него реагировал. "Да, собственно, никак". Не будучи даже шапочно знаком с Раппопортом, мне было как-то не по себе устанавливать контакт с герцогиней при его, хотя бы косвенном, посредничестве. Взглядов его я никак не разделял.

Алданов вскипал. Он вскочил словно ужаленный и задыхался от возмущения. Я никогда его не видел в таком состоянии. "Что же я должен был сделать?" — не без робости спросил я. "Неужели вы не понимаете, какую оплошность вы совершили? У вас была возможность попасть в наиболее изысканный из салонов Парижа, а вы, как неуч, как недоросль, грубо ею пренебрегли". Алданов — таков был этот человек! — очевидно считал, что я выпустил из рук "золотую рыбку", и я не сообразил сразу, что его негодование вызывалось только симпатией ко мне. "Вы должны были сразу же послать герцогине букет цветов с визитной карточкой, а на следующий день явиться с визитом. Так поступают люди нормальные", заключил он. Может быть, он был по-своему прав. Встретиться с автором "Эпохи экипажей" мне так и не пришлось.

Второй случай алдановского на меня гнева — правда, не столь страстного — произошел также по курьезному поводу. В те же примерно годы выходил в Милане литературный еженедельник "Giovedì" ("Четверг"), поставленный на столь широкую ногу, что долго продержаться не мог. Редактор ее,

предпочитавший Париж Милану, был еще сравнительно молодой человек, пописывавший какие-то романы и в своем особняке принимавший посетителей в необычайного вида шелковых халатах. Несмотря на желание походить на Дориана Грея, у него была одна бюрократическая страстишка. На стене своего кабинета он повесил огромный разграфленный лист картона, на котором по вертикали были вписаны названия стран, а по горизонтали темы. Этим, собственно, его редакторская работа и ограничивалась. Глядя на своей картон, он заранее знал, что для такого-то номера ему нужно было иметь в руках столько-то строк о русской литературе, к следующему столько-то о русском балете или музыке — и так для всех стран. Их тогда было значительно меньше, чем теперь! Казалось бы, что все это было очень просто, но и до Колумбова яйца надо было додуматься! Уж не помню, как я туда попал, но помню, что работа была мне по душе. Я посыпал переводчику определенное — согласно с цифрами, начертанными на картоне — количество строк и получал вскоре весьма приятный чек.

Так вот: сговорился я с Алдановым об интервью для моей итальянской газеты. Тему избрал он сам — "Современная западная литература" и заранее прислал составленный им текст ответов. Я должен был только скомпоновать вопросы. Алдановский текст каким-то образом сохранился в моем архиве и я хотел бы привести в обратном переводе (для газеты он писал по-французски) несколько его фраз. "Мне хотелось бы сказать, — писал он, — что я не восхищаюсь Прустом, потому что сегодня им восхищаются все без исключения, вплоть до смазливых девиц, его и не читавших. Но — что вы хотите — я, действительно, искренно преклоняюсь перед его эпопеей, кроме последней ее части — "Найденного времени", изданной посмертно. Я думаю, что это плохо расшифрованный черновик... Я также очень уважаю Поля Валери, Моруа, Грина, Мартэн дю Гара. Очень талантливы и Жироду с Мораном, но должен признать, что пустота их блеска меня чуть утомляет, как утомляют ежедневные остроты Бернарда Шоу... А Клодель, спрашиваете вы? Я думаю, что Клодель — превосходный посол". Дальше Алданов совсем вкратце коснулся английской и немецкой литературы, расшаркался перед Томасом Манном и довольно прохладно

отозвался о Ремарке и закончил объяснением в любви к Италии, в которой он побывал, по его словам, десять раз, но, конечно, в "допотопные времена, до эпохи "виз". Кстати сказать, он потом сам испугался, не покажется ли эта "шпилька" слишком колючей.

Но, о, ужас — конечно, без моего ведома миланская редакция по своему интерпретировала алдановские высказывания, и так выходило, что он больше всего интересуется немецкой литературой и, главное, можно было по итальянскому тексту понять, что и Моруа, и Грин, и Мартэн дю Гар утомляют его, хоть он как-то свысока и отдает им должное.

Алданов буквально рвал на себе волосы. Он писал мне: "Подумайте только, все названные мной и, в первую очередь, Мартэн дю Гар, составляют очень влиятельную группу. Они наверное читают "Giovedì", и как я могу теперь смотреть им в глаза? Что они обо мне будут думать?".

Посыпались "письма в редакцию", опровержения, исправления, уточнения, добавления. Казалось, все было улажено, но все-таки Алданов еще долго на меня дулся.

*

Перелистывая его литературное наследство, трудно обойти молчанием сборники его фельетонов — "Портреты", "Современники", "Земля и люди". Это не романтизованные характеристики каких-нибудь видных исторических деятелей в авторском, неизбежно несколько личном преломлении. Это скорее психологически очень заостренные биографии, в которые вкраплены детали из того, что французы именуют "малой историей". Другими словами, Алданов не чуждался в своих портретах иных бытовых подробностей, часто более красноречивых, чем так называемые "исторические восклицания". Благодаря этому алдановские модели как бы приближаются к читателю, иногда за счет утраты внешнего блеска, хотя он неизменно описывал людей калибра Клемансо, Черчилля или Леона Блюма (Исключение — весьма язвительное — он сделал только для Луначарского!). Впрочем, давно уже было сказано, что "великих людей нет" и в своих очерках Алданов только косвенно эту истину подтверждает.

Особняком в его творчестве выделяется "Ульмская ночь",

книга, написанная в вышедшей из моды форме философских диалогов. Сам Алданов утверждал, что эта устаревшая форма освобождает его работу от стилистических эффектов и может служить смягчающим "вину" обстоятельством для отступлений в сторону. Он, при этом, говорил, что такого рода отступления якобы "важный недостаток книги". Едва ли читатель с автором согласится. Эти отступления не только дополняют, но нередко и оживляют его философские и историософские рассуждения, особенно если добавить, что у Алданова была "очень хорошая, приятная и полезная слабость к цитатам", может быть, заимствованная им у Лейбница. Впрочем, я уже упоминал, что в этой "слабости" его полушути -полусерьезно упрекал Бунин.

Но что, собственно, означает заглавие книги, подзаголовок которой гласит "Философия случая"? Что за "Ульмская ночь" и кто о ней ещепомнит?

Биографы Декарта передают, что как-то в молодые годы странствуя по Германии, он посетил Ульм, где целые дни проводил взаперти, имея таким образом много времени для размышлений. Якобы тогда его стали посещать видения. В день святого Мартина он под вечер заснул и, по собственному признанию, во сне открыл "основы изумительной науки". Так и неясно, что Декарт в эти слова вкладывал: открытие ли аналитической геометрии или всю созданную им впоследствии философскую систему, некое "картезиансское состояние ума", то есть, как раз то, что Алданова наиболее притягивало.

Недаром его "Ульмская ночь" (кстати, экземпляр этой книги был его последним подарком мне), которой он придавал большое значение, все заключенные в ней рассуждения о философии случая и теории вероятностей, могут быть восприняты как его философское "кредо" и, вместе с тем, как некий философский "подстрочник" к его романам. Ведь основная мысль "Ульмской ночи", ее лейтмотив — случайность всего происходящего в мире, полная непредвиденность событий, в которых даже самые, казалось бы, выдающиеся, охваченные одной навязчивой идеей деятели, как, скажем, Робеспьер, Наполеон или ближе к нам Троцкий, хоть и повернули ход истории, но в конце концов показали свою близорукость. Они сыграли свою роль, но история "насмеялась" над ними.

Алданов считает теорию вероятностей чуть ли не одной из самых замечательных и увлекательных наук, подчеркивая однако, что для ее главных понятий нет по существу удовлетворительных определений. "Случай" — основа всей теории. Но ведь точного его определения так и не найдено, потому что в каком-то смысле случай есть всё, что происходит в мире. Алданов даже рискует утверждать — вероятно, не без болезненного чувства — что "историю человечества можно представить себе, как сознательную или бессознательную, героическую, повседневную борьбу со случаем".

Разбирая с точки зрения случая некоторые из эпизодов, изменивших ход истории, Алданов, в частности, задерживается на своем "коньке" — истории "девятого термидора". Он вспоминает, что перевороту предшествовало незначительное происшествие. Полновластный представитель революционного правительства в контр-революционном Лионе Фуше, производя разгром города, попутно занимался грабежом в свою пользу. Жена Фуше, возвращаясь в Париж, везла с собой сундуки с награбленными богатствами. У заставы ее коляска перевернулась, часть сундуков вывалилась, и собравшаяся толпа успела обратить внимание на их содержимое. Фуше имел все основания полагать, что это станет известно "неподкупному" Робеспьеру и счел себя обреченным. Якобы история с коляской и послужила одним из основных стимулов термидорианского переворота.

Конечно, несчастный случай с госпожой Фуше одна из тысяч случайностей, но все же над ней следует задуматься... Не менее "случайную" роль сыграло и то обстоятельство, что накануне переворота Робеспьер во всеуслышание объявил свое решение отправить на эшафот новую группу и, вопреки своей привычке, никого поименно не назвал. Этой "оплошностью" не преминул воспользоваться Фуше. Он стал распространять проскрипционные списки собственного производства и этим изменил соотношение сил. Наконец, в решительный момент произошла еще одна "случайность". Один из заговорщиков, Тальен, получил от своей любовницы, в которую он был до безумия влюблен, записку о том, что ее казнь назначена на следующий день. Этот факт окончательно перевесил чашу весов. На заседании Конвен-

та Тальен экспромтом произнес вполне истерическую речь, даже толком не зная, что он должен сказать. Речь его, однако, била в цель, хоть и была совершенно лишена какого бы то ни было смысла. Заговорщики своего достигли, хотя это "свое" оказалось совсем не тем, к чему они стремились.

С точки зрения сцепления случайностей Алданов в "Ульмской ночи" еще более подробно разбирает предисторию октябрябрьского переворота. По его мнению, главная социологическая особенность этого действия заключалась в том, что оно противоречило всем "законам истории" и, в первую очередь тому, что проповедывалось его вождями, то-есть, марксизму и историческому материализму.

Алданов склонен доказывать, что, не будь Ленина, октябрьской революции не произошло бы. Между тем его появление в России в тот кризисный момент в сущности было не больше чем "случайностью". Людендорф мог Ленина и не пропустить через Германию или вместо Людендорфа на его посту мог очутиться более дальновидный генерал.

За две недели до переворота, вспоминал Алданов, на квартире меньшевика Суханова происходило заседание большевицкого ЦК, о котором теперь не любят особенно распространяться. На этом заседании Ленин, приехавший в парике, составил резолюцию о решении начать восстание. В этой резолюции все положения, а их было пять, были ложны. Но на заседании присутствовал один большой человек, а остальные не способны были предвидеть ни того, что произойдет, ни тем менее собственной участи, которая им будет уготовлена на основании обвинений столь же ложных, как те, которыми оперировал Ленин.

Кстати, крайне любопытно отношение Алданова к Ленину, которому он когда-то посвятил небольшую монографию, полностью зачеркнутую последующими событиями и от которой он впоследствии отрекался.

Но едва ли у кого-либо, кто знал или хотя бы читал Алданова, может появиться сомнение в той пропасти, которая отделяла его от Ленина. Вместе с тем, он был о Ленине необычайно высокого мнения, потому что его враждебность к личности Ленина и его идеям не доходила у него до фанатизма и он не

думал, что шарж может стать действенным орудием для идеологической борьбы.

В романе "Самоубийство" фигура Ленина появляется неоднократно и как будто в этом полифоническом романе он наиболее схож с оригиналом, по-человечески наиболее убедителен. Портрет Ленина, составленный из ряда отдельных эпизодов, но вместе с тем целостный, не сравнить ни с теми подслащенным, "житийными" описаниями, в которых его выводили советские беллетристы и драматурги, ни с некоторыми более иссущенными, более схематическими портретами, которые появились сравнительно недавно.

Алданов рисует Ленина с особой тщательностью, может быть, нехотя подчеркивая иные его черты, способные увлечь его как беллетриста. Как-то вскользь одна из героинь алдановского романа говорит про Ленина: "Это какой-то снаряд бешенства и энергии", но это и "большая сила" — тут же добавляет муж героини, точно выражая этими словами мнение автора.

Даже наружность Ленина описана Алдановым безискажений, без иронии, тут я хотел бы привести цитату из алдановской книги: "Ленин был всю жизнь окружен ненаблюдающими, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили. Впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, рассказывал о нем: "Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся — узкие, краснозолотые, зрачки точно проколотые иголочкой, и синие искорки". Я не мог доискаться, какого писателя Алданов имел в виду, но именно этим описанием ленинских глаз, притягивавших и отталкивающих, Алданов пользуется, чтобы, вопреки Толстому, показать, что история может иногда подчиняться решениям и намерениям одного человека.

Едва ли случайно Алданов где-то процитировал слова Мальбранша, смелые для католического мыслителя: "Мир может опротиветь и Богу". Алданов под этим изречением готов был к концу жизни подписатьсь, он был уверен, что "чем

разумнее идея, тем меньше она имеет шансов на успех в мире".

*

Как водится, одно воспоминание неизменно тянет за собой другое. Отчетливо вспоминаю теперь мою последнюю с Алдановым встречу. Как-то собрались у меня на чашку чая несколько старых друзей. Пришел и Алданов, который привел своего племянника. Юноша только что кончил Сорбонну и по настоянию дяди готовился засесть за докторскую работу, еще не зная, на какой теме остановиться. К крайнему моему удивлению Алданов начал настойчиво рекомендовать молодому человеку взять темой будущей диссертации народнического критика, соредактора благородного и весьма скучного толстого журнала "Русское богатство" Михайловского. Несмотря на свои "благухающие седины", как мог быть интересен Михайловский юнцу, родившемуся в Париже? Если я упомянул этот незначительный с виду факт, то только потому, что он мне кажется симптоматичным: в представлении Алданова не могло быть неинтересных, неувлекательных исторических или историко-литературных тем. Дело было только в том, как к ним подойти.

В этот вечер Алданов непривычно много говорил о себе, о том, что его, повидимому, тогда терзало, о неуверенности — какой прием будет оказан его новому детищу, роману "Самоубийство", который печатался тогда фельетонами в одной из русских зарубежных газет. Хотя он был избалован успехом своих книг, но едва ли мог скрыть, что предыдущее его произведение — "Живи как хочешь" — не встретило того отклика, который был для него уже привычным.

Во всех его жестах, а не только в словах, чувствовалось, что он утомлен и еще больше разочарован, со многим не в силах был примириться. "Ялта" и ее последствия усиливали его мрачность. К тому же его физическое состояние невольно влияло на оценку происходящего вокруг. Он вскоре уезжал в любимую им Ниццу на сравнительно недолгий срок и перед его уходом мы сговаривались о новой встрече через столько-то недель. Тогда еще в Америке существовало издательство имени Чехова и мне очень хотелось, чтобы оно — перед тем как окончательно замолкнуть — издало сборник памяти Бунина. Я просил Алданова поду-

мать об этом, и он обещал мне написать по этому поводу из Ниццы. Действительно, он вскоре мне оттуда написал: "Разумеется, я всячески поддерживаю мысль о сборнике памяти Ивана Алексеевича и, если он организуется, попрошу отдать мой гонорар Вере Николаевне. Но пока ничего сделать нельзя, но заранее вам говорю, в редакторы сборника я, по многим причинам, пойти не могу. При встрече объясню. По-моему, надо будет предложить редакторство кому-либо из нью-йоркских руководителей издательства. Ваш список сотрудников хорош. — конечно, приняли бы участие и вы? Но боюсь, что пока к Чеховскому издательству обращаться бесполезно".

Вскоре после этого сестра Алданова, у которой он останавливался при наездах в Париж, пригласила меня к ужину с "Максом" (это была его домашняя кличка). Но за два дня до назначенного срока алдановский племянник спозаранку позвонил мне, чтобы сообщить об отмене ужина, так как позавчера "Макс неожиданно скончался".

Смерть его подлинно была бесшумной. Под утро его нашли мертвым у окна, которое он безуспешно пытался раскрыть. Очевидно ему нехватало воздуха, но до оконной ручки он уже не в силах был дотянуться. Он рухнул на пол, не успев позвать на помощь жену. Несомненно, для родных, для близких, для друзей такая смерть, которую принято называть "счастливой", была страшным шоком. Думается, однако, что сам он такого рода финал предчувствовал. Конечно, не самый момент или обстоятельства его прихода, но в последнее время на его лице было как бы начертано, что не жилец он на этом свете. Вспоминал ли он в свою последнюю минуту фразу Паскаля, которую он часто цитировал, о том, что "наши ближние нам не помогут, и умрем мы в одиночестве"?

Вспоминая много позже последний вечер, проведенный в его обществе, восстанавливая кое-что из того, что он тогда говорил о своем романе "Самоубийство", я только задним числом понял, что в этой книге Алданов как бы суммировал свои взгляды на превратности истории, на превратность человеческой судьбы и свою прирожденную скептическую подменял трагической маской. Было видно, что за судьбу книги он волнуется, вероятно, учитывая, что в готовом виде он едва ли сможет ее увидеть.

В заключение мне хотелось бы еще отметить, что когда во время войны я жил на бунинской вилле в Грассе, в так называемой "башне", то-есть на верхнем ее этаже, Бунин иногда подымался ко мне, чтобы поболтать, когда я уже лежал укутанный в одеяло. Однажды он пришел, с иронией на меня посмотрел и сказал: "А вы, небось, бы не дали Нобелевской премии Алданову! А я бы непременно дал...".

Александр Бахрах

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОССКОМ

Роста маленького, почти миниатюрный. Сложенный удивительно пропорционально, до изящества. Седые усы и борода, составляющие как бы одно целое, гармонично окаймляют маленькое лицо с небольшими морщинками. Но более всего обращают на себя внимание лучистые глаза, светящиеся откуда-то из глубины. Высокий и большой лоб мыслителя, завершающийся гладкой лысиной. Иногда кажется, что он с хитрецой, "себе на уме", но открытое выражение глаз рассеивает это впечатление. Говорили, что он похож на полесского мужичка. Но этот мужичок — один из самых светлых и глубоких русских умов.

Держится прямо, со скромным достоинством, несколько по старомодному. Речь его плавна и спокойна, и в разговоре и во время лекций, немного убыстряясь и оживляясь при полемике, в которой он — редкий мастер. Во всем чувствуется выдержанность, истовость, трезвость. Он всегда готовился к лекциям, хотя и отлично знал свой предмет, и как бы наперед знал возражения противников. Но это все — не немецкий педантизм, а какая-то органическая русская хозяйственность.

Таков облик мыслителя, первого в России построившего стройную и глубокую систему философского мировоззрения, примирившего разум и веру в своем учении об интуиции (Владимир Соловьев, обладавший философской гениальностью, велик более своими прозрениями, чем своей системой, которую он несколько раз перестраивал).

Мое знакомство с Николаем Онуфриевичем Лосским

явились поворотным пунктом всего моего мировоззрения, тогда еще не вполне сложившегося. Тут я должен буду поневоле сказать несколько слов особе, иначе будет непонятным то основополагающее влияние, которое он оказал на меня, будет непонятна призма, через которую я воспринимал Лосского.

Мое знакомство с ним произошло в 1930 году, когда я был студентом второго курса Пражского Карлова университета. Меня представил ему известный историк литературы, профессор Е.А. Ляцкий, шепнувший Н.О. громко на ухо: "Ваш страстный поклонник". В действительности я стал поклонником, а затем последователем Лосского некоторое время спустя — после серьезного штудирования его книг, посещения его лекций и длительных бесед с ним. В то время я только слышал о Лосском много почтительных отзывов и неудачно пытался осилить его "Обоснование интуитивизма", — книгу, впоследствии ставшую моей настольной. Но тогда, в 1930 году, я еще не осознал вполне моих философских интересов и моей первой философской любовью был Шопенгауэр, дальше которого я не двинулся. Изучал же тогда в университете более славянскую филологию, чем философию, правда, по причине слабого тогда владения чешским языком (впоследствии я не только говорил, но и писал для печати по-чешски).

При знакомстве Лосский пригласил меня как-нибудь зайти к нему для беседы. Вследствие юношеской робости и сознания своего философского невежества я долго колебался предстать перед светилом. Для подготовки я всерьез засел за "Критику чистого разума" (в переводе Лосского) и за комментарии Файнингера и Когена. Конечно, я еще раз основательно прочел "Обоснование интуитивизма" самого Лосского, и на этот раз как будто понял его основную аргументацию, но еще не усвоил ее.

И только через полгода после приглашения явился к нему, как раз на Пасхальной неделе. Этот мой визит ознаменовался небольшим комичным эпизодом: дверь мне открыла его теща, престарелая М.Н. Стоюнина. Когда я тихим голосом сказал, что пришел для беседы с Н.О., она полузакрыла дверь, сказав: "сейчас, голубчик". Через минуту она вынесла мне Пасхальное яичко и какую-то мелочь. Я начал объяснять, что я — не нищий, а начинающий философ. Но она, не дослушав, проворчала

"больше у меня для вас ничего нет", и захлопнула дверь. Лишь с трудом мне удалось затем уладить недоразумение, и бедная М.Н. Стоюнина просила у меня прощения.

Мои философские беседы с Лосским начались с кардинального для него пункта: будучи тогда проникнут гносеологией Канта и Шопенгауэра, я утверждал, что суждения "мир есть мое представление" и "вещи в себе непознаваемы", — являются гносеологической аксиомой, и что попытки Лосского утверждать, напротив, познаваемость вещей в себе суть пример классического заблуждения; они могут быть поучительны, как многие заблуждения, но они не соответствуют фактам сознания. Наш мир, как говорили древние индусы, есть обманчивое покрывало Майи.

Лосский отвечал, что гносеология Канта и Шопенгауэра основывается на догматической предпосылке о первичной разобщенности субъекта и объекта познания, и что непредвзятое описание познавательного акта свидетельствует в пользу его аргумента о первичной слитности субъекта и объекта, что сознание — как бы луч света, освещдающий предмет, а не субъективная призма, через которую он преломляется.

Он пояснил, что его гносеология вовсе не является возвращением к до-кантовскому догматизму, а шагом вперед по сравнению с Кантом. "Понять Канта — значит выйти за его пределы", цитировал он в свое время известный афоризм Либмана. Великое открытие Канта заключалось в его усмоктрении, что наш, чувственно-воспринимаемый мир, основывается на бытии идеальном, мире платоновских идей, которые Кант ошибочно называл только категориями рассудка. Проблема отношения между миром явлений и вещью в себе, заключал Лосский, есть проблема метафизическая, а не гносеологическая. В моем учении, добавил Лосский, выше чувственной интуиции стоят интуиция интеллектуальная и мистическая. Но мы познаем внешний мир не как субъективное отражение или конструкцию, а в подлиннике. И наш мир есть не покрывало Майи, а реальность, хотя и внешняя.

Эта беседа побудила меня по новому взглянуть на учение Лосского. Как я убедился затем, Лосский принимал гениальную догадку Бергсона о том, что чувственное восприятие играет роль

лишь сигналов, побуждающих наше "я" направить свое внимание на "задевший" так или иначе меня предмет. Таким образом, чувственное восприятие есть система таких сигналов, а не представляет собой источник познания. Этим источником является само наше "я", могущее направить свое познавательное внимание на предмет. Но условием возможности такого познания внешнего мира в подлиннике является "гносеологическая координация", — непричинное, чисто идеальное отношение сочетанности субъекта и объекта в познавательном акте.

Впоследствии я как-то сказал, что "гносеологическая координация" есть ничто иное как "идеальное бытие, обнаруженное в составе нашего сознания", и Н.О. очень понравилась эта формулировка.

Позже, в своей университетской диссертации "Свобода как условие возможности познания", я пытался далее развить учение Лосского, и он очень положительно отнесся к этому труду. Но во время писания диссертации я не обращался к нему за советами — я дал ее ему уже как готовый труд, написанный в духе его учения, но с многочисленными ссылками на С. Франка, Гуссерля, Макса Шелера, — если говорить только о современных мыслителях.

Мне пришлось также немного пострадать из-за верности Лосскому. Мой университетский учитель, чешский профессор И. Козак (позитивист), рекомендая во время лекции некоторые новые книги по гносеологии, упомянул и Лосского, добавив однако: "Лосского не читайте. Он — интуитивист и мистик, и это не имеет отношения к научной философии". Когда я попытался заступиться за Лосского, Козак сурово меня одернул, советуя оставить "мои русские реакционно-философские туманы" для себя. Из этого я заключил, что почтенный профессор знал Лосского только по имени.

Этот профессор Козак, справедливости ради добавлю, был хорошим преподавателем предмета и, не разделяя его мировоззренческих взглядов, я многим был ему обязан в смысле историко-философской информативности.

Вообще, чешские ученые круги, видимо, не понимали значения Лосского, которого долгое время не приглашали в Карлов университет. Ему дали лишь в 1937 году кафедру по

истории русской философии (а не систематический курс по философии). Добавлю, что когда чешское книгоиздательство "Мелантрих" намеревалось издать по чешски книгу Лосского "Свобода воли", и запросило мнение своего философского консультанта, того же проф. Козака, то последний дал отрицательный отзыв и книга не была издана. Эта превосходная книга, между прочим, является одним из наиболее рекомендуемых пособий по проблеме "Свободы воли" в Гарвардском университете.

Но Лосский выступал нередко в Русском Философском обществе при Народном Университете в Праге. Его лекции бывали подлинным праздником мысли. Лосский — превосходный философский писатель, его стиль — прост и изящен даже в самых сложных философских проблемах. Но он еще лучше как лектор. По слову молодого тогда чешского философа Паточки, "не имел себе равных". (Паточка — единственный серьезный чешский философ, знавший цену Лосскому, но тогда он еще не имел влияния). Свои тезисы Лосский доказывал ясно (для лиц с известной философской культурой), логично, но не чуждаясь иногда самых смелых философских гипотез. От него исходило подлинно-сократовское обаяние честности мысли и глубокой убежденности в своей правоте. Особенно он оживлялся в полемике. Помню, как проф. Сергей Гессен, бывший вообще задиристым, пытался опровергнуть тезис Лосского о том, что его учение о "многоперспективности" предметов в пространстве и времени находит свое подтверждение и в теории относительности Эйнштейна. Сейчас не помню точно аргументов обеих сторон. Помню только общее впечатление, как Лосский тихо и мягко "посадил" своего противника, обнаружив при этом основательное знакомство с высшей математикой и современной физикой. Лекции, которые он читал в Народном университете, вошли в его последующие книги.

Но не все лекции Н.О. были доступны лишь специалистам. В 1940-41 годах он прочел цикл лекций о Достоевском, легших в основу его позднейшей книги "Достоевский и его христианское миропонимание". Многочисленная и благодарная аудитория жадно слушала его мастерские анализы главных героев Достоев-

ского, главы, посвященные личности Достоевского и с симпатией принял его общую концепцию.

С другой стороны естественно, что на лекциях Лосского, посвященных проблемам гносеологии и метафизики, народу было немного, и из молодежи я был чуть ли не единственным.

Чешские философские круги, как я уже отмечал, не жаловали Лосского. Исключением был словацкий профессор Владимир Хоппе, восторженно воспринявший учение Н.О. и объявивший его своим учителем. К сожалению этот философ, не шедший в ногу со своими чешскими собратьями, преждевременно скончался. Вообще, Лосский имел большой успех у словаков. В 1942-45 годы, когда он был приглашен Братиславским университетом, у Н.О. скоро образовался круг его словацких поклонников, среди которых самым выдающимся был, тоже молодой тогда, проф. Дишка. У меня сохранилась фотография, на которой, уже в Вашингтоне, сняты сам Н.О., и справа и слева от него — Дишка и я, его верные ученики. Некоторые словацкие бывшие студенты, которых я встречал в Вашингтоне, говорили, что учение и личность Н.О. явились для них откровением. Всегда внимательный к аудитории, Н.О. почел своим долгом изучить словацкий язык, хотя его вполне понимали по-чешски и, через год после своего назначения, читал лекции по словацки.

Мне проходилось также слушать Н.О. в Пражском немецко-чешском философском кружке. Он давал мудрые и необычайно дальние комментарии к выступлениям его немецких и чешских коллег. Однако, общая атмосфера там не была благоприятна для выступлений Н.О.: почти все чешские профессора были позитивистами, а большинство немецких были последователями феноменологии Э. Гуссерля, учение которого они отстаивали с какой-то сектантской нетерпимостью. Пражские профессора, вежливо выслушав Н.О., отвечали ему кратко и не по существу, и затем переходили на свой гуссерлианский язык. Один раз в этом кружке мне довелось услышать выступление самого Гуссерля, в 1938 году, незадолго до его смерти. Впечатление было сильное: Гуссерль — философ мирового масштаба, всецело погруженный в мир своей мысли. Видно было, что он убежден в том, что вещает абсолютную истину, и других точек зрения для него не существовало. Насколько выгодно отличался от него Н.О.,

всегда готовый выслушать инородную ему точку зрения, и у которого вера в свое учение никогда не переходила в философский моноцентризм. На этом заседании ни Н.О., ни почти никому, не было дано слова. Выступили лишь два ученика Гуссерля, просившие у мастера объяснения некоторых его терминов.

Конечно, после захвата немцами Праги, в немецком Пражском университете стало гораздо хуже — там воцарились профессора, приемлемые для гитлеровской администрации. Впрочем, некоторые из них, отдав необходимую дань расовой теории, читали дельные лекции.

Вообще, успеху Н.О. заграницей часто мешали чисто внешние причины: так, немецкий перевод его "Логики" уже лежал в наборе, но с приходом к власти Гитлера немецкое издательство не рискнуло опубликовать книгу русского мыслителя, хотя бы на аполитичную тему. Его старые книги "Обоснование интуитивизма" и "Мир как органическое целое" вышли в английском переводе еще до первой мировой войны, когда интерес к русской философии в Европе был минимальным. Эти книги были оценены сравнительно немногими специалистами. Появясь они по-английски позже, — они нашли бы большую читательскую аудиторию. Наибольший успех на Западе имела его книга "Свобода воли".

Я не хочу создавать впечатление, будто книги Н.О. игнорировались на Западе — они пользовались признанием, но далеко не таким, какого заслуживали. А что касается России — то прав В. Ильин, сказавший, что, будь в России нормальный режим, — имя Лосского гремело бы и дома и на Западе, и именно он, а не бездарные Митины и Дынники представляли бы отечественную философию...

Возвращаюсь к личным воспоминаниям. Лосский остро и крайне отрицательно реагировал на приход к власти Гитлера и не раз выражал горькое сожаление, что немецкий народ, давший миру столь великую философию, поддался нацистскому психозу. Он тяжело переживал первые громоподобные немецкие победы в России и страдания своего народа, но не стал на позиции "советского патриотизма". Все его симпатии были на стороне западных демократий. Еще будучи в России, он входил в состав партии народной свободы. Он написал несколько статей в

защиту и в утверждение правовой демократии как политического строя, лучше всего охраняющего народы от политических зол. М. Коряков хорошо сделал, что напомнил читателям "Нового Русского Слова" об этой стороне философии Н.О. Однако, утверждение этого автора, что Лосский как социально-политический философ не менее велик, чем Лосский — гносеолог и метафизик, мягко говоря, преувеличено и свидетельствует о малой философской компетентности М. Корякова. Как социальный философ, Лосский не пошел дальше максим здравого смысла (что, конечно, также ценно), но он не создал своей социальной концепции, которую можно было бы поставить в один ряд с концепциями С. Франка, Бердяева, Вышеславцева. Пишу это отнюдь не в уменьшение заслуг Лосского, поклонником и последователем которого я являюсь, но ради объективности.

Переезд Н.О. в Словакию, вообще, военные и послевоенные перипетии прервали мое общение с Лосским, которое возобновилось лишь в 1950 году, уже в Соединенных Штатах. В течение пятидесятых годов, когда Н.О. жил у своего младшего сына Андрея в Калифорнии, где Андрей преподавал историю, — он несколько раз наезжал в Вашингтон, и неизменно останавливался в нашем доме. Но мои беседы с Н.О. в Америке уже не носили характера напряженного искания истины с моей стороны и поучений с его. В широком смысле слова, учиться у Н.О. я никогда не переставал. Но для меня наступила пора приносить конкретные плоды и естественно, что отправной точкой бесед во многих случаях стали мои философские опыты. Н.О. положительно оценил мою первую книгу "Основы органического мировоззрения", но дал понять, что книга эта недостаточно глубока и мало самостоятельна. Более положительно он отнесся ко второму моему труду — "Трагедии свободы". Тут он также дал мне понять (осторожно, чтобы не ранить моего самолюбия), что некоторые главы (о возможности, субстанциальности и др.) можно было бы опустить. Однако, саму постановку темы "Трагедии свободы" он весьма одобрял и написал к книге предисловие, а впоследствии рецензию о ней (в "Новом Журнале"). Ему больше всего понравился раздел "Патология свободы", где речь идет о различных извращениях свободы. Он приветствовал также мою статью "Душа и маска большевизма",

появившуюся на английском языке в 1951 году в журнале "Scientific monthly".

По поводу моей статьи "В защиту русской философии", напечатанной в "Посеве" в 1953 году, он говорил, что "каждый интеллигентный русский читатель должен прочесть ее". (в этой статье я выступал против ложного тезиса о неоригинальности русской философской мысли). Что для меня ценно, — он нашел удачной мою статью о нем, опубликованную по случаю его 80-летия в "Гранях" и появившуюся также по-английски в 1960 году. В основу этой статьи была положена речь о Н.О., произнесенная в Праге по случаю его 70-летия. Его теща, М.Н. Стоюнина, передала мне, что Н.О. был очень доволен этой моей речью. Отмечу при этом, что Лоссий указывал иногда и на недостатки моих работ, делая это в мягкой, необидной форме.

Еще одна деталь: Н.О. попросил меня написать предисловие к его книге "Достоевский и его христианское миропонимание", вышедшей в 1953 году в издательстве имени Чехова. При этом В.А. Александрова сказала Лосскуму: "Вы лучше напишите своему ученику, как о Вас написать". На это Н.О. ответил: "Я совершенно уверен, что Сергей Александрович напишет что надо и как надо без всяких указаний с моей стороны". (Н.О. мне сам об этом рассказывал). Я был чрезвычайно обрадован и польщен.

Однако, если мое общение с Н.О. в Америке было творчески более плодотворно для меня, все же я более ценю Пражские годы философских исканий, когда Лоссий играл для меня роль философской путеводной звезды. Поэтому снова возвращаюсь к тем временам (тридцатые годы). Мое ученичество у Лосского (в широком смысле пожизненное) не означало, однако, рабского подчинения ему (он такое и не одобрил бы). Я продолжал увлекаться различными иными философскими авторитетами, под известным "надзором" Лосского. Особенно сильно было мое увлечение Бергсоном, блестящая аргументация которого на время меня покорила. Я даже пытался тогда нападать на гносеологию и метафизику Лосского с бергсонианских позиций (как раньше пытался нападать с позиций кантианских). С некоторой юношеской запальчивостью я заявлял, что интуиция, достойная этого имени, может быть только иррациональной, что в этом — ее суть, и что рассудок, в интересах практики, искажает

подлинную картину мира. Лосский отводил последнее возражение указанием на то, что рассудок не мог бы овладевать природой, если бы природа не шла навстречу ему и что сама аргументация Бергсона — рассудочна, и пропала бы даром, если столь низко ценить рассудок, который есть функция высшей способности — разума. Вскоре Н.О. дал мне прочесть свою замечательную брошюру "Интуитивная философия Бергсона" (вышедшую еще до революции), из которой я убедился, что Лосский — скорее союзник, чем враг Бергсона, и что он протестует лишь против крайностей бергсонианства. Такая позиция меня вполне устраивала: я мог продолжать восхищаться Бергсоном, не отходя в основном от Лосского. Все же я до сих пор считаю, что Лосский иногда черезчур строго относился к Бергсону. — Когда молодой тогда французский философ русско-еврейского происхождения Янкелевич выступил в Праге с докладом об "Этике Бергсона" (по книге последнего "О двух источниках морали и религии"), то Лосский подверг этику Бергсона очень строгой критике, как "биологизм в этике". Бергсон, как известно, различал между "закрытой моралью", продиктованной биологическим инстинктом сохранения рода, и "открытой моралью", вытекающей из ощущения всечеловеческой солидарности. И вот по отношению к "открытой морали", образцом которой Бергсон считал христианство, критика Лосского, пожалуй, преувеличена.

Более положительно Лосский отнесся к моему увлечению немецким мыслителем Максом Шелером. "Эмоциональный интуитивизм" Шелера, который тот развил в применении к этическим проблемам, мне сильно импонировал. Лосский сам не раз ссылался на филигранные анализы этого замечательного мыслителя, к сожалению, скончавшегося преждевременно в 1928 году, в возрасте 56 лет. Лосский упрекал Шелера лишь в отсутствии обще-метафизической системы, с чем я согласился. Этот мыслитель, вообще, более силен в своих анализах, чем в синтезах, в то время как Лосский одинаково силен как в том, так и в другом. В моих книгах "Основы органического мировоззрения" и "Трагедия свободы" содержится немало ссылок на Шелера, идеями которого я питался довольно долгое время.

Между прочим, Лосский как-то обмолвился, что у него была возможность побеседовать с Шелером на каком-то Философ-

ском Конгрессе, но что он уклонился от этой встречи, зная пристрастие Шелера к вину, особенно во время философских бесед. Это меня удивило и я как-то упомянул об этом Виктору Франку, сыну философа С. Франка, учившемуся в то время в Праге. Виктор Франк, ссылаясь на своего отца, заметил, что у Лосского, якобы, есть черты чересчур благоразумного мещанина. Мой отец — продолжал Виктор Франк, вообще удивлялся, как такой слишком осторожный мещанин как Лосский, одарен таким изумительным философским даром.

Я никак не решился бы назвать Лосского мещанином, он был слишком велик для таких определений и интересы его были слишком возвышенны. Но нельзя отрицать, что житейское благоразумие было одной из черт его характера. Как это мы теперь знаем из его воспоминаний, Лосский заплатил в юности дань иррациональным увлечениям — его поступление в Иностранный Легион и бегство из него под предлогом мнимого сумасшествия, достаточно красноречиво говорят, что Лосский не всегда руководился лишь голосом благоразумия. Но течение всей его последующей жизни было размеренным, планомерным, насколько это позволяли обстоятельства. Мещанского же я не видел в Лосском ничего.

Возвращаюсь к философии. Мое позднейшее сильное увлечение Киркегором не нашло у Н.О. особой поддержки. Он ценил Киркегора за его страстную проповедь религиозной веры и остроумную ее защиту. Но анти-рационализм Киркегора, обновившего тертуlianовское "credo quia absurdum", не находил у него сочувствия. Для Лосского между разумом и верой не было противоречия. Разум был для него естественным союзником веры, лишь лжеупотребление разума приводило, по его мнению, к безверию. Под предлогом борьбы с гегелианским пан-рационализмом, говорил он, Киркегор объявляет войну самому разуму.

Разумеется, я прислушивался к голосу Лосского. Однако, думал я, киркегоровские анализы сущности страха ("Der Begriff der Angst"), отчаяния ("Die Krankheit zum Tode") и других определяющих эмоций настолько глубоко проникают в сущность человеческой природы, находя на дне ее страх Божий и трепетание перед тайной бытия ("Furcht und Zittern"), и настолько мастерски проведены, что за это можно простить этому фило-

софу его крайности, отнюдь не впадая в них. Из моих занятий Киркегором выросла статья "Достоевский и Киркегор", напечатанная в 1936 году в чешском журнале "Кварт". Я находил много общего между Киркегором и Достоевским — что вскоре стало общим местом экзистенциализма, но что тогда таковым общим местом еще не было. Да и сам экзистенциализм, как влиятельное учение, стал популярен лишь после второй мировой войны, с легкой руки Сартра. О Сартре я тогда, как почти все, ничего не знал.

Но я трижды проштудировал книгу его учителя Мартина Гейдеггера "Бытие и время" (1927), узнав, что Гейдеггер подхватил идеи Киркегора. Мной владел также спортивно-философский интерес: преодолеть трудности усвоения этой глубинной, но очень уж заумно-выраженной философии. Лоссский признавал большую философскую ценность анализов Гейдеггера, но отнесся к нему несколько сдержанно, как это видно из его рецензии на "Бытие и время", напечатанной в середине 30-х годов в "Современных Записках". Его отталкивал атеизм Гейдеггера и ненужно-искусственный, по его мнению, жargon этой книги.

Во всяком случае, моих восторгов по поводу Киркегора и пиэнета перед Гейдеггером он не разделял. На мое заявление, что книга Гейдеггера — эпохальна, он ответил, что это — скорее дело интеллектуальной моды. Последователем ни Киркегора, ни Гейдеггера и, тем менее, Сартра, я не стал. И, если бы передо мной возникла дилемма: Киркегор и Гейдеггер — или Лоссский, я, конечно, выбрал бы Лосского. Но подобный интеллектуальный флирт на стороне мне тогда очень импонировал. Помню в связи с этим, как Лоссский, очевидно, в пику Гейдеггеру рекомендовал мне религиозного экзистенциалиста Ясперса, который на некоторое время завладел моим философским вниманием, хотя я до сих пор считаю, что в Гейдегgerе больше философских потенций, несмотря на все его несомненные ереси.

Из русских философов экзистенциализму близки Бердяев и, по иному, Шестов. Вообще, из русских мыслителей, помимо конечно, Лосского и Вл. Соловьева, наибольшее влияние на меня оказал Бердяев, увлечение которым было настоящей философской любовью.

Во многом Бердяев был даже более близок мне, чем Лосский. Во многом, но не во всем и не в самом главном. Бердяев бывал подлинно гениальным в своей этике и философии истории, несмотря на спорность многих его историософских концепций. Особенно остро проницателен был он в философской антропологии — его мысли о человеческой природе, о том, что делает человека человеком, исполнены глубоких прозрений. Я не говорю уже о его подкупающем публицистически-афористическом изложении. Все это иногда заставляло меня колебаться — идти мне за Лосским или за Бердяевым?

В моих беседах с Лосским он пояснял мне, что Бердяев придерживается "двойной гносеологии" — одной в отношении природы (мир объективации), и другой в отношении к Духу, который интуитивно самопостигаем. Но подобная двойная гносеология не выдерживает критики и разрывает цельность мироздания, сам замысел Творца о мире. Тогда пришлось бы отвергнуть великое наследие платонизма, которое по разному развивали такие великие философы-платонники, как Николай Кузанский, Лейбниц, Фихте, Шеллинг, Гегель, Вл. Соловьев и многие другие великие философы.

В конце концов, я пришел к следующему заключению: оставаясь на почве интуитивизма Лосского, можно частично признавать правду Бердяева (в этике, в философской антропологии), в то время как приняв основную установку Бердяева, я должен был бы порвать с Лосским, С. Франком, Вл. Соловьевым, — мыслителями, учившими о мире как о целом. Иначе говоря, Бердяев согласуем с Лосским, в то время как Лосский был бы несогласуем с Бердяевым.

К тому же, я имел много случаев убедиться — из чтения книг Лосского и бесед с ним, как высоко Н.О. ставил Бердяева и даже любил его, в то время как последний почти не упоминал Лосского в своих произведениях.

В силу всех этих причин, я остался в орбите Лосского, как мыслителя более гармонического и более терпимого чем Бердяев, который, несомненно, был одержим иногда духовной гордыней, чуждой Лосскому.

Я знаю из достоверных источников, что сам Н.О., знаяший, конечно, о моей любви к Бердяеву, выражал тревогу по поводу

того, что я могу "изменить" ему и перейти в орбиту Бердяева, который умел заставить собой увлечься. Но этого не случилось, я остался верен Лосскому.

Вообще, должен сказать, что Лосский умел не только развивать свою систему, по стройности замысла и филигранности отделки единственную в русской философии (кроме С. Франка), но и отличался редким вниманием к построениям иных философов. Это видно как из его мировоззренческих книг, так и из его "Истории русской философии", вышедшей по английски в 1951 году. В этой книге с должной полнотой изложены учения не только его единомышленников, но и философских противников. Лосский умел не только поучать, но и внимательно выслушивать своих собеседников, и не только из вежливости, а из интеллектуального любопытства.

При всем том у него все же были свои "слепые точки". Так, в его "Истории русской философии" совсем не изложен Конст. Леонтьев. Когда я, прошедший через кратковременное и частичное увлечение Леонтьевым, спросил его об этом, Н.О. отвечал, что ему настолько неприятно было читать дышащие ненавистью к свободе высказывания Леонтьева, что он его "обошел".

Не изложена им была также философия Льва Шестова, который был чужд всему строю мысли Н.О. Насчет Шестова Лосский сказал, что никакого положительного учения у него, собственно, нет, так что излагать было нечего.

Особый вопрос — о философских взаимоотношениях Лосского и Франка. Этот вопрос затрагивался в наших беседах лишь отрывочно.

С. Франк, философ чрезвычайно крупного масштаба, начал также с гносеологии, подобно Лосскому, и поневоле соперничал с ним. Его "Предмет знания" и "Обоснование интуитивизма" Лосского — два наиболее монументальных произведения русской гносеологической литературы. С. Франк оказал на меня очень большое влияние, уступающее лишь влияниям самого Лосского и Н. Бердяева. В социальной философии Франк был мне даже ближе чем Лосский, и философия солидаризма (по крайней мере, в моей редакции) создавалась под непосредственным влиянием книги Франка "Духовные основы общества". (Замечу, однако, что к самому политическому учению солидаризма С.

Франк относился отрицательно, как, впрочем, и ко всем попыткам организационно-политической борьбы с большевизмом).

В области чистой гносеологии Франк следовал за Лосским, чего он и не скрывал, но существенно дополнил учение о "гносеологической координации" Лосского своим учением о слитности субъекта и объекта познания в контексте Всеединства, как метафизического условия интуиции. Следует отметить, однако, что в то время как вышла книга "Предмет знания", Лосский уже работал над вышедшей в 1917 году книгой "Мир как органическое целое", в которой он исследовал вопрос о метафизическом обосновании интуитивизма несколько иначе чем Франк.

В. Зеньковский считает Франка философом более крупного масштаба чем Лосский. Зеньковский правильно замечает при этом, что у Франка оригинально не его учение о Всеединстве, которое он унаследовал у Вл. Соловьева, а способ обоснования этого учения — путем гносеологического подхода.

С оценкой Зеньковского я не могу согласиться. Признавая все философское величие Франка, я считаю, что именно Лосский проложил путь к гносеологическому обоснованию учения о мире как о целом, и что, поэтому, пальма первенства принадлежит именно ему. Может быть, у Франка больше умозрительного визионерства, чем у Лосского. Но учение Лосского более дифференцировано и потому более четко. Новые понятия, введенные Лосским — "гносеологическая координация", "субстанциальный деятель", "отвлеченное и конкретное единосущие" и др. — открывают перед философской мыслью новые плодотворные горизонты.

В немногих беседах, посвященных Франку, Лосский высказывал мнение, что учение о Всеединстве недооценивает степень вражды и разобщенности элементов мира, переоценивая его единство, и что, в силу этого, оно недооценивает силу зла в мире. Я считаю это мнение глубоко правильным, и развил эту идею в своих двух статьях о Франке. Это, повторяю, не мешало мне чрезвычайно высоко ценить Франка и считать его, наряду с Лосским и сразу после него, моим главным гносеологическим учителем. С самим Франком, жившим до 1937 года в Берлине, я имел лишь одну философскую беседу, после чего я слышал (от

его сына) очень благоприятный отзыв обо мне. Однако, о моей первой книге "Основы органического мировоззрения" Франк, живший тогда в Лондоне, отозвался довольно неблагоприятно. В специальном письме ко мне он, признавая "философскую грамотность" книги и мое умение "излагать хорошим языком чужие идеи", упрекал меня в недостатке оригинальности и заявил, что он "ожидал от меня большего".

Франк не принял во внимание сам замысел книги — ознакомить вырвавшуюся на Запад советскую интеллигенцию, находившуюся в пленау диамата, с современной философской культурой и проблематикой. Но он прав в том, что моя первая книга недостаточно самостоятельна. Не думаю, чтобы Франк отозвался столь же отрицательно о моей второй книге "Трагедия свободы", в которой я не ограничивал себя никакими педагогическими целями. При этом я вполне сознаю скромность моих философских способностей и свое эпигонство по отношению к Лосскому и Франку.

Во всяком случае, оба философа высоко ценили друг друга, и учения их, несмотря на существенные разногласия, внутренне родственны.

Как видно из вышеизложенного, мои беседы с Лосским носили почти исключительно философский характер. Политических проблем мы не касались. Когда, с 1938 года, положение стало обостряться, Н.О. реагировал на происходящее так, как реагировал бы любой профессор с демократическими убеждениями. Во всяком случае, как живой человек, а не сидящий в академической башне ученый, он возмущался и Мюнхенским соглашением, и захватом Чехословакии немцами и другими драматическими событиями тех лет.

Последний раз я виделся с Н.О. в 1959 году, во время его последнего посещения Вашингтона. Он тогда все еще держался для его возраста бодро, проявляя живой интерес к жизни. Как известно, ухудшение наступило в 1960 году после неудачной операции. Как затем я узнал от его сына Бориса Николаевича, Н.О. вскоре заболел старческим недомоганием, и его пришлось поместить в старческий дом под Парижем. Интеллектуальное общение с ним стало уже невозможным, он скончался в начале 1965 года.

Обобщающе оценивая мое долголетнее общение с Лосским, я мог только быть благодарным судьбе за то, что мне выпало на долю счастье и честь общения с великим философом, который дал мне неизмеримо много и который с одобрением (но и с критикой) следил за моими философскими шагами. От Н.О. исходил не только интеллектуальный свет, но и человеческое тепло. В жизни редко бывает, что встречаешь человека, на интеллектуальный и нравственный авторитет которого можно абсолютно полагаться, мыслителя, чей неугасимый маяк мысли указывает верный путь. Н.О. был таким авторитетом и таким духовным маяком. Он был русским философом мирового значения. Он был философом Божией милостью, с незабвенным человеческим обликом.

Сергей Левицкий

С. Ф. ПЛАТОНОВ

В двадцатых годах студентам Петроградского Университета приходилось слушать лекции в холодных неотапливаемых аудиториях. Сидели в пальто. Профессора тоже. Как сейчас помню: вошел в четвертую аудиторию и прошел к кафедре седой подстриженный бобриком старичек лет шестидесяти. Лицо суховатое, растительности никакой, только на подбородке белый клочек. И это Платонов! Какой контраст с популярностью, окружавшей его имя! А популярность была такова, что даже В. И. Невский, старый большевик, один из видных руководителей Наркомпроса, назвал Платонова в своей речи "драгоценным фарфором", подлежащим бережному хранению.

Но вот он начал речь, и к концу лекции наружность его, голос, вся манера говорить, слились в один образ. Стало ясно, что другого облика у Платонова не могло и быть. Лекторская его манера была особенной: — простая разговорно-повествовательная речь, но необычайно плавная, покорявшая своим изяществом. Про Ключевского рассказывали, что он на кафедре разыгрывал русскую историю в лицах, что цитируя документы XVI-XVII в.в., подражал дьяческой гнусавости. У Платонова всякий элемент актерства исключен был совершенно. Доминировал артистизм. Цитат было немного, но подобранные с таким вкусом и поднесенные так, что врезывались в память на всю жизнь. Ничего "вешающего", "вдалбливающего", поучающего в тоне его лекций не было. Все вело к тому, чтобы исторический материал сам собой захватывал слушателя и укладывался в стройную картину. Каждая лекция была художественным произведением и держала аудиторию в течение часа в неослабном внимании.

Столь же исключительным предстал Сергей Федорович в роли руководителя семинара. Уже тогда, в 20-х годах, началось искажение в советских университетах идеи семинарских занятий, превратившихся в школарство, в подобие классной "учебы". Платоновский семинар оставался особенным, был своего рода оазисом, где студент посвящался в тайны научного исследования. "Тайн", собственно, никаких не было, но не было манеры некоторых профессоров "кормить с ложки", — давать советы, наставления, как писать доклад. Просто предлагался список тем в пределах общей темы семинара, и каждый выбирал что ему нравилось. С.Ф. не любил, когда приходили к нему "на консультацию".

Студент должен справляться с докладом своими силами. Кто не умел ни литературы, ни источников подобрать по своей теме, ни обдумать концепцию своего реферата, рассматривался, как недостойный внимания. Из такого все равно ничего не выйдет. Похоже это было на ту школу плавания, когда человека прямо бросают в воду не обучая никаким приемам. Зато в заседании семинара доклад подвергался тщательному разбору. Тут и была истинная "школа". Заключалась она, конечно, не в выискивании промахов и недостатков. Следил Платонов за степенью "вчувствования" в избранную тему, за степенью мобилизации материала, за тонкостью аргументации, за композиционным построением. Мы долго помнили похвалу Сергея Федоровича первому же "докладчику", имя которого я не могу здесь назвать, как человека живущего в СССР. Оставленный одновременно со мной при кафедре, принятый в аспирантуру РАНИОНА и сделавший потом хорошую педагогическую карьеру в одном из высших учебных заведений, он ограничился чтением лекций, но ни строчки не опубликовал в печати.

Воздержанность этого талантливого человека можно объяснить только травмой, полученной многими молодыми людьми 30-х годов, в эпоху беспощадных чисток, арестов и ссылок. Его доклад в нашем семинаре был образцовым.

Когда появились воспоминания Сергея Федоровича о его студенческих годах, стало ясно, что такой метод руководства семинаром вынесен им из Петербургского Университета 70-80-х годов, от К.Н. Бестужева-Рюмина, чьим учеником он был и кто

оставил его при кафедре для подготовки к профессуре. У Бестужева и у Платонова это был метод обнаружения талантов. "Эрудиция — дело наживное", часто слышали мы от нашего руководителя и понимали, что творчество историка не в ее накоплении, а в чем то высшем. Так воспитаны были все его знаменитые ученики — А. Е. Пресняков, С. В. Рождественский, П. Г. Васенко, П. О. Любомиров, Б. А. Романов, С. Н. Чернов и др.

Педагогический метод Платонова — прообраз его ученого облика. Долгое время он сам его не замечал и не знал, что сделался главой новой школы в русской историографии. После разрушения схемы историко-юридической школы Соловьева-Чичерина, русская историческая наука в его лице вступила на путь монографического изучения отдельных сюжетов и на освобождение от предвзятых точек зрения на русский исторический процесс. А. Е. Пресняков характеризовал это, как "научный реализм, сказывающийся, прежде всего, в конкретном непосредственном отношении к источнику и факту вне зависимости от историографических традиций".

В ученом стали ценить не историософские, не политические его построения, а исследовательскую остроту, открытие новых фактов и искусство восстановления исторической картины на их основе, а не на отвлеченных умозрительных спекуляциях. Платонов сделался, как бы вождем и знаменем нового поколения. "Я старый техник", — говорил он не раз на заседаниях своего семинара. Но дело было не в одной исследовательской технике. Платонов явился создателем нового духовного климата в научном творчестве. Этую его роль никто не определил лучше, чем П. Б. Струве. Он уподобил ее роли... Чехова. Портретное сходство тут, конечно, не имелось в виду. Петр Бернгардович видел в обоих представителей 80-х годов — "эпохи реакции", как их принято называть. Часто всех, кто в те годы не заявил себя либералом или радикалом — объявляли "махровыми реакционерами". Но в эти же годы появились и предтечи русского культурного ренессанса. "Не забудем, — говорит П. Б. Струве, — что это поколение дало России Чехова и Платонова — людей духовной свободы и душевной несвязанности,

свободных от всякого рода предвзятостей идейных и политических". "Им были чужды споры их отцов и дедов".

Вот за "душевную то несвязанность", за "свободу от всякого рода предвзятостей идейных и политических" ненавидим был Платонов советской властью и марксистской школой, погубившими русскую историческую науку. Больше всех ненавидел его М.Н. Покровский, бывший едва ли не главным вдохновителем идеи уничтожения старой профессуры. Не написавший ни одной исследовательской работы, всю жизнь "социологизировавший", политизировавший, выбросивший лозунг: "история — самая политическая из всех наук", Покровский сознавал свою низкопробность как историка и с ожесточением гнал подлинную науку, вплоть до физического истребления ее представителей. Торжеством его закулисной политики был 1930 год, когда мало не все русские историки оказались в тюрьме, в лагере, в ссылке, тогда-то семидесятилетнему Платонову и было приписано намерение свергнуть советскую власть и посадить на трон одного из оставшихся в живых великих князей. Глупость этого обвинения была столь очевидна, что весь мир недоумевал, как оно могло возникнуть? Альбер Матье, профессор Сорбонны, бывший член французской коммунистической партии, написал возмущенную статью, осуждавшую варварский акт советского правительства.¹ П.Б. Струве писал тогда: "В трагической личной судьбе С.Ф. Платонова, первого по смерти Ключевского русского историка, по глупейшему и подлайшему политическому обвинению посаженного большевиками в тюрьму, отражается великая трагедия нашей поруганной и растоптанной родины".

*

Работа Сергея Федоровича в университете продолжалась до 1927 года. Из университета его не уволили, он сам ушел, будучи оскорблена обидными условиями, в которые был поставлен. Деятельность его с этих пор сосредоточилась в Академии Наук и в "Постоянной Историко-Археографической Комиссии", учрежденной П. Строевым в 1834 г. Он уже задолго до

1. "Choses des Russie Sovetique". Annales historiques N. 2.

революции был фактическим руководителем этого учреждения, а с 1917 г. сделался официальным председателем. Там, под его редакцией и наблюдением опубликовано множество ценных материалов по истории России.

Уход Сергея Федоровича был для меня особенно тяжел. Незадолго до этого, я представил ему свою работу "Влияние иностранного капитала на колонизацию русского Севера в XVI-XVIII вв."² и будучи предназначен им для оставления при кафедре, рисовал себе перспективу дальнейших занятий в университете под его руководством. Это не сбылось. Политика централизации, проводимая Наркомпросом, потребовала всех оставляемых при университетах для подготовки к профессуре отправить в Москву в РАНИОН.

С этих пор встречи с С.Ф. сделались редки. Приезжая в Ленинград, я видел его либо в Археографической Комиссии (преобразованной впоследствии в Институт Истории Академии Наук), либо "ловил" в кулуарах академической библиотеки, директором которой он в то время был. Бывал иногда и на квартире у него на Каменноостровском проспекте. В разговорах он был прост, но редко выходил за пределы академических тем. Однажды зашла речь о его участии в качестве эксперта при заключении Рижского мирного договора с Польшей в 1920 г.

В Риге ему удалось совершить важное для русской культуры дело. Оно касалось судьбы Российской Публичной Библиотеки — самого крупного книгохранилища в России. В основу его положены были фонды, вывезенные в свое время из Польши в эпоху ее раздела. Поляки в 1920 году потребовали их назад. Это грозило большим ущербом Публичной Библиотеке. Но Сергею Федоровичу удалось найти какую то "зажепку", благодаря которой книги не были взяты. "Они до сих пор благополучно пребывают у нас", — говорил он с довольным видом. Но ему не удалось спасти ценнейшей коллекции латинских манускриптов,

2. Он лестно отозвался о ней в своем докладе на *Russische Historiker Woche* в Берлине 11 июля 1928. Напечатан он в "Летописи Занятий Археографической Комиссии" за 1928 г под заглавием "Проблема Русского Севера в новейшей историографии". Никто в то время не подозревал, что через два-три года в этом докладе усмотрят контрреволюционный антисоветский манифест и призыв к иностранной интервенции.

хранившихся все в той же Публичной Библиотеке. Она возвращена была Польше. И погибла там при нашествии на Варшаву гитлеровских войск.

В одной из бесед довелось услышать любопытный рассказ о дружбе его с Д.Б. Рязановым. Возникла она в первый год революции, когда тот был назначен заведующим Центрархивом, а Платонов -- его помощником. Темпераментный Рязанов, слывший "огнедышащим" большевиком, был всего лишь огнедышащим марксистом. С большевизмом у него обстояло не вполне благополучно, что и сказалось потом на его судьбе. Но и как марксист он создал себе уйму врагов. Рассказывали, что когда какой-нибудь красный профессор распинался перед аудиторией, Рязанов трогал его за локать: "Послушайте! Послушайте! Ведь вы же ни черта не понимаете в марксизме!". Сам он был ученый марковед, исследователь, и не этот ли ученый темперамент сблизил его с Платоновым? Когда-нибудь будут отмечены заслуги этих двух людей в деле спасения архивных ценностей России.

В тогдашнем Питере шел разгром дворцов и правительственные учреждений. В здании Сената, где помещался Центрархив, постоянно звонил телефон, извещавший об опасности, грозившей тому или иному учреждению. Надо было спешить на выручку. Приходили иной раз в последнюю минуту, когда драгоценный материал оказывался уже выброшенным на мостовую, полит керосином и только спички не хватало, чтобы он запыпал. Толпа обычно была глубоко убеждена в своих погромных правах и кричала -- "Царские бумаги спасаете?!". Но натиска Рязанова, его грозного голоса не выдерживала и отступала.

"Кипяток" -- восхищался им Платонов. Поведал, однажды, о таком эпизоде: -- явилась к нему со слезами вдова расстрелянного царского министра юстиции Щегловитова. Ее нигде не принимали на работу. Просилась на службу в Центрархив. Платонов колебался. Как доложить большевику и еврею Рязанову просьбу вдовы создателя дела Бейлиса? К величайшему удивлению, последовало распоряжение -- "взять!". И вдова была устроена. Начавшаяся в Центрархиве дружба Рязанова и Платонова продолжалась весь остаток жизни Плато-

нова. В 1930 году С.Ф. был арестован и сослан в Самару, куда вскоре же сослан был и Рязанов. По доходившим оттуда слухам, оба ходили в гости друг к другу.

Покойный М.А. Алданов назвал ученых в СССР самыми несчастными людьми в мире. Лагеря, ссылки, изгнание из университета, "проработки", оскорблении, насилия над ученой совестью — вот муки, через которые прошло большинство из них. Самая горькая чаша выпала на долю служителей исторического знания. Физики, химики, математики оказались счастливее. Ни монархической ереси в химии, ни эсеро-меньшевистской заразы в математике быть не может. Историкам же прямо сказано: "Кто не с революцией, тот против нас".

Согласно М. Цвибаку, получившему задание "проработать" Платонова, — "всякое историческое исследование, о чем бы о ком бы ни писалось, ведет и должно вести к тому, чтобы объяснить существующее сегодня... Когда историческая школа, в силу своего классового положения, создает историческую концепцию в которой нет места для пролетарской революции, для пролетариата вообще... мы говорим, что такая историческая школа превращается в пустое место".

Вина ученых типа Платонова усматривалась в том, что они не объясняли "существующее сегодня" и в поле их зрения не было "диктатуры пролетариата". Они не превращали историю в политику, в пропаганду. За это и накладывалось на них клеймо вроде "прямой агент антантовского империализма", каковым отмечен был Е. В. Тарле, или: "монархист- германофил" — Платонов. Клеймо "монархиста" такочно срослось с его именем, что почти через сорок лет после его смерти, в новом издании "Большой Советской Энциклопедии" он назван "мэнархистом" и сказано, что "после 1917 года его политические взгляды изменились мало". Такая гнусная личность, как С. Пионтковский — сексот и доносчик, погубивший в 30-х годах не мало ученых и сам расстрелянный в конце концов, называл Платонова даже "царедворцем". Подозрительность свою он переносил и на людей сколько-нибудь близких к Сергею Федоровичу. В бытность мою аспирантом Института Истории РАНИОН, где он после милейшего Е. А. Мороховца сделался ученым секретарем, он взял меня под свое неослабное наблюдение как "ученика

Платонова". Его раздражала каждая моя поездка в Ленинград.

— Ну что? На консультацию ездили к "учителю"?

Никто толком не мог объяснить, в чем заключался монархизм Платонова. Ни в одной партии не состоявшего, никакой политической деятельностью или публицистикой не занимавшегося, ни на каких правительственные постах при старом режиме не значившегося. Ни в книгах, ни в речах, ни в декларациях, ни в каких бы то ни было документах не выражался его "монархизм". Не в личных же добрых отношениях с былым президентом Академии Наук — великим князем Константином (поэтом К. Р.), высоко ценившим Сергея Федоровича и посвятившим ему сонет: напечатанный в сборнике "С.Ф. Платонову. Ученики, друзья и почитатели 1911"? Легенда эта создалась до революции. Еще будучи школьником я слышал от одного из своих учителей поносные речи о Платонове: "генерал от истории", "махровый реакционер".

Учитель этот в свои дореволюционные студенческие годы был отчаянным бунтарем, устроителем сходок и забастовок. Тогдашние университетские беспорядки были его светлым воспоминанием, поэзией. Теперь мы знаем, что ярлык "реакционера" уже в те годы приклеивался профессорам, неодобрительно относившимся к беснованиям тогдашней университетской молодежи и напоминавшим ей, что университет существует для науки и просвещения, а не для политических демонстраций.

Слово "академизм" приравнивалось к "монархизму" и к "реакционности". А. Платонов еще в студенческие свои годы держался академического лагеря. "Сходки мне не нравились, представлялись беспорядочными сборищами, расчитанными на обработку грубой массы", — писал он уже в советские годы. Так же, примерно, отзывался о забастовщиках другой видный историк, профессор И.М. Грэвс, считавший их "мелкими себялюбцами и фразерами, далеко не всегда чистыми и искренними". "На сходках я никогда не выступал", — пишет в своих воспоминаниях С.П. Мельгунов (в то время — студент и весьма "левый") — "нелюбовь к толпе, органическая ненависть ко всякого рода демагогическим приемам у меня осталась на всю жизнь".

История студенческих беспорядков еще не изучена, и какую роль играли тут "профессиональные революционеры" может выяснить только тщательное исследование, которого еще не было. Одно ясно: деление профессоров на прогрессистов и реакционеров пошло от крамольного студенчества. Советская власть подхватила и продолжила эту готовую версию. Когда Г. Зайделю и М. Цвибаку положено было в 1931 г. выступить на открытом заседании Комакадемии в Ленинграде с обличительными речами против Платонова и Тарле, они обратились к этой уже готовой легенде и к логике революционного студенчества: кто не открытый враг царизма — тот друг его. Нельзя не привести здесь интереснейших строк Петра Бернгардовича Струве, описывающих встречу его с С. Ф. Платоновым в Петербурге в конце 1913 г.

"Меня поразил, — пишет он, — глубокий фаталистический пессимизм в оценке того чисто "психологического" кризиса, который переживала Россия и который к тому времени как бы воплотился в бессмысленно-роковую и фатально-бессмысленную фигуру Распутина. Я знал, что Платонов был всегда "правым", что оппозиция императорскому правительству и даже фрондерство против него были С.Ф. совершенно чужды. Но именно потому меня поразил его глубокий, прямо безотрадный пессимизм в оценке того, куда идет Россия. Платонову чуялся — таков был смысл его резко откровенных рассуждений и характеристик, — кровавый дворцовый переворот в стиле XVIII, но в атмосфере XX века, с уже разбуженными, но отнюдь еще не дисциплинированными массами, с государственным отщепенством интеллигентии, не видевшей той пучины, к которой она неслась с каким-то страстным упоением отчаяния. Не я начал разговор. Его навел сам Платонов, точно у него, как у историка, была потребность высказаться передо мной как недавним редактором "Освобождения" и еще более недавним участником сборника "Вехи". Он говорил отрывисто, неровно, ничуть, однако не стесняясь обстановки трамвая, в котором кроме нас, было много пассажиров".

Погиб Сергей Федорович вместе с Академией. Когда-нибудь это трагическое событие будет полно и достойно освещено. Нас современников оно поразило своей неожиданностью.

Разгрома Академии никто не предвидел. Власть была в это время наредкость ласкова с нею, перестала резко противопоставлять ей Комакадемию. Повидимому, уже в то время возникла идея слияния этих двух учреждений. Добились того, что несколько видных большевиков — Луначарский, Покровский, Рязанов, Деборин, Волгин — оказались избранными в число членов Академии Наук. Все предвещало мир и сотрудничество. Вышло постановление об учреждении аспирантуры при Академии Наук. Когда я приехал в Ленинград и встретился с Сергеем Федоровичем, он первым делом объявил мне об этом. Предложил перейти из аспирантуры РАНИОН в аспирантуру Академии и переехать в Ленинград, нарисовав при этом соблазнительную перспективу оставаться при Академии и после окончания аспирантуры. Надо было подать прошение в особую комиссию по приему, возглавлявшуюся В.П. Волгиным. Вернувшись в Москву, я не преминул это сделать и вскоре получил благоприятный ответ.³ Но сущим ударом была встреча с одним осведомленным лицом. — Вы с ума сошли!.. Академия, это осажденная крепость. Не сегодня-завтра она падет. Скорее берите назад свое прошение. Предостережение исходило от человека, которому нельзя было не верить.

Опять — в Ленинград. Сергей Федорович встретил меня хмуро. "Что такое? Почему берете назад бумаги?"

Связанный словом, данным моему информатору, я не мог сказать правды, тем более, что сама эта правда выглядела вымыслом. Видя мое замешательство и смущение, Сергей Федорович прошел со мной вместе в секретариат, попросил достать и возвратить мне мои документы. Это был последний раз, что я его видел.

Разгром Академии начался вскоре, по прибытии в Ленинград комиссии Фигатнера, учинившей жестокую чистку ученого состава и всего персонала, завершившуюся, как известно, арестами ряда академиков, и первым из них был С.Ф. Платонов.

Н. Ульянов

3. В. П. Волгин жил в то время в Москве.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КРЕМЛЯ

Вот уже два десятилетия, как по аудиториям западных университетов широко гуляет идиотская теория о том, что в основе внешней политики Кремля лежит не глобальная идеология коммунизма, а обычный для всех великих держав традиционный фактор — фактор национально-государственных интересов. Так как проповедники этой теории являются одновременно и советниками западных правительств по выработке их "восточной политики", то результаты такой политики общизвестны: фальшивая диагностика — фальшивый рецепт, а в конце — торжествующий коммунизм в самых разных пунктах земного шара.

Советская глобальная стратегия основана на влиянии ряда факторов, одни из которых являются постоянными, другие — переменными. Анализ их возникновения, развития и взаимодействия проливает свет как на эффективность сегодняшней международной политики Кремля, так и на паллиативность западной реакции на нее.

Среди предопределяющих советскую внешнюю политику факторов есть основополагающие факторы, которые могут быть названы *субстанциональными*: это факторы — политико-идеологический, военностратегический, экономический, и факторы переменные, переходящие, производные ("мир", "право на самоопределение", "существование", "разрядка" и т. д.), которые можно назвать *функциональными* факторами. Между теми и другими стоит фактор национальный — национально-государственных интересов страны. Действие этих факторов на разных

этапах советской внешней политики различно в силу различных условий. Иной раз кажется, что эти факторы перемещаются местами, ведущие, субстанциональные как бы теряются из виду, а функциональные, производные выдвигаются как ведущие. Сама советская дипломатия, пропаганда, их организационный аппарат, стиль, формы и методы работы по осуществлению внешнеполитических целей советского государства тоже подвергались и подвергаются постоянным изменениям, вызываемым изменениями внутренних и внешних условий, и, следовательно, перемещением названных факторов. Наша задача проследить этот процесс исторически, оценить значение каждого фактора, выделяя при этом наиболее важные из субстанциональных и наиболее характерные из функциональных факторов советской внешней политики.

Борьба за "мировую социалистическую революцию" в советской внешней политике находит свое выявление в новом типе советского колониализма и империализма. Советский империализм не есть повторение общеизвестных нам вариантов классического империализма. Он вненационален, а потому является революционным и динамичным. Он не чисто экономический империализм, он скорее империализм идеократический. Его в первую очередь интересует не сырье, не рынок сбыта, не даровой труд, не место приложения капитала — все то, что интересовало капиталистический империализм — его интересуют люди для установления над этими людьми определенного политического и идеологического режима. Классический империализм не навязывал колониям и завоеванным им народам своего порядка и своей идеологии. Советский империализм главным образом преследует именно эти цели, благоразумно считая, что все остальное приложится. Вот почему советский империализм есть новый тип империализма — более эластичный, более динамичный, эвентуально более успешный. Он есть, таким образом, империализм внераcовый, который ориентируется на создание новых господствующих классов для поддержки своей политики среди самих же колониальных народов, сохраняя, конечно, за собою верховный надзор.

Многие склонны, особенно среди западных историков, рассматривать советский империализм и советскую внешнюю по-

литику как органическое продолжение империалистической политики императорской России. Другие склонны, особенно среди самих русских в свободном мире, отрицать всякую связь между той и другой политикой. Оба эти взгляда, вполне объяснимые психологически, исходят в своей оценке из эмоционально-субъективных восприятий. Отождествлять внешнюю политику императорской России с внешней политикой советской России значит переоценивать возможности, масштаб, характер, замысел внешнеполитических акций царизма и недооценивать указанный выше интернациональный, интерконтинентальный масштаб и идеократический характер советского коммунистического империализма. Внешнеполитические интересы царской России были территориально-стратегическими и вращались в районе евразийском, а потому были локальными. Интересы же СССР идеологические, а потому глобальны. Коммунисты всегда рассматривали коммунистическую Россию как материальную, военно-стратегическую и человеческую базу для осуществления своей конечной политической цели создания мирового коммунистического правления.

Ленин, именем которого ведется сегодняшняя внешняя политика СССР, разработал ее важнейшие принципы, которые целиком основаны на ведущем и главенствующем факторе — политico-идеологическом. Национально-государственные интересы России Ленин без колебаний ставит на службу своим партийным идеологическим принципам. "В вопросе внешней политики перед вами две основных линии — линия пролетарская, которая говорит, что социалистическая революция дороже всего и выше всего, и другая линия — буржуазная, которая говорит, что для нее государственная великодержавная и национальная независимость дороже всего и выше всего"¹! Мы видим у Ленина ясный и категорический примат идеологического фактора над национальным, его готовность жертвовать национальными принципами и национальными интересами, если этой ценой он ускорит мировую революцию. Этот фактор экспансии коммунистического господства на весь остальной мир собственно и есть ведущий Ленин-

1. В.И. Ленин, Соч. т. 27, изд. 4-е, стр. 261.

ский фактор внешней политики СССР. Поэтому-то советская внешняя политика есть не национальная политика советских народов, а интернациональная политика советских коммунистов.

В сталинскую эру произошли известные перемены в направлениях, темпах и формах советской внешней политики. Перемены эти выразились, главным образом, в перемещении или в меньшем или большем подчеркивании тех или иных факторов.

Предсказание Ленина, что Октябрьская революция является лишь началом, кануном европейской и мировой революции не оправдалось, да и внутренний курс Ленина в России на немедленное введение коммунистического строя оказался тоже битым. Стране предстояло пройти через этап неокапиталистический, через этап нэповский. Внешняя политика этого периода есть политика сначала лавирования, разведки в тылу противника, а потом и торговых отношений с несоветским миром на основе статус кво. Ближайшая цель такой политики — добиться дипломатического признания Октябрьского переворота и советского режима, что и было легко достигнуто. Но в вопросах мировой революции Ленин оставался еще утопистом, продолжал считать, что она неизбежна, хотя и несколько задержалась. Дипломатическое признание советской России со стороны внешнего мира ему было важно для легализации советского нелегального аппарата заграницей и облегчения работы Коминтерна. Эра мировой революции наступила в том смысле, думал Ленин, что на Западе можно организовать отряды коммунизма, которые окажутся в состоянии произвести у себя свои "октябрьские перевороты", как большевики в России. Словом, Ленин попрежнему верит в свою теорию организованной революции. Та же линия была и у Троцкого ("теория перманентной революции"). Но Stalin не верил в реальность схем Ленина и Троцкого. Как Ленин не верил в автоматическую революцию Маркса, так и Stalin не верил в организованную революцию Ленина из-за создавшихся новых условий.

Stalin, хотя он этого открыто никогда не говорил, видел, что капитализм модернизируется, экономический строй Запада все более и более прогрессирует в социальном отношении. Старая теория Маркса о раннем капитализме и новая теория

Ленина о "последней стадии капитализма" ("Империализм, как последняя стадия развития капитализма") опрокинуты жизнью и, следовательно, опрокинуты и политические концепции, выработанные на основе этих теорий. Современные западные государства постепенно становятся надклассовым, общеноародным, демократическим органом политического волеизъявления народа и верховным арбитром социального мира. Вместо пресловутой классовой борьбы пролетариата именно в Германии наметилась эра "гражданского мира", да и сам европейский пролетариат не только стал в оппозицию к лозунгу собственной революции, но и почти целиком пошел за социал-демократией, что свело роль коммунистических партий к роли узких и маловлиятельных политических сект. В ангlosаксонских странах пролетариат пошел даже за буржуазными партиями. Все это заставило Сталина пересмотреть ленинскую теорию организации революции в других странах и выдвинуть свою собственную теорию о строительстве "социализма в одной стране". Из этой теории делались весьма важные для внешнего мира политические выводы. Советская внешняя политика ставилась на службу внутренним целям Сталина: индустриализации, коллективизации и созданию гигантской террористической машины. Соответственно перестраивалась и советская дипломатия. Официальная дипломатия стала дипломатией "единого и неделимого мира" (формула Литвинова). Даже малые страны, непосредственные соседи СССР, были оставлены в покое. Коминтерн, конечно, продолжал действовать, но уже не в качестве "штаба мировой революции", а как агентура советской тайной полиции за границей. Словом, "национал-коммунист" Сталин возобладал и над мертвым Лениным, и над его живыми соратниками (Троцким, Зиновьевым, Каменевым) и приступил к строительству этого "национал-коммунизма" в одной стране не без сочувствия внешнего мира, который хотел видеть в победе Сталина над Троцким победу национальной, хотя бы в коммунистической форме, идеи России над более опасным интернациональным направлением ленинизма-троцкизма. Более того, советский коммунизм считался вполне терпимым, а для русских даже полезным, пока он остается в национальных рамках. Но как выяснилось потом, национал-коммунизм Стали-

на служил в конечном счете той же цели организации коммунистической революции в других странах, созданию там коммунистических режимов, но опирающихся на СССР как главную вооруженную базу и на местных коммунистов как на подсобную силу. Stalin так и понимал свою задачу: "Победа социализма в одной стране не есть самодовлеющая задача. Революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата во всех странах"².

Пока Россия была крестьянской страной, эта база оставалась малоэффективной против высокоразвитых индустриальных держав. Индустриализация и была подготовкой этой мощной промышленной и военно-стратегической базы, созданием исходного пункта для организации коммунистических режимов, опирающихся, в первую очередь и главным образом, не на эфемерные местные силы коммунистов, а на колоссальный военно-промышленный потенциал советского государства. Следовательно, сталинская теория строительства социализма в одной стране, программа индустриализации и колLECTIVизации страны, курс на примат тяжелой индустрии означали во внешнеполитическом аспекте только одно: экономическое и техническое перевооружение страны для активной, экспансивной, завоевательной политики мирового коммунизма. На этой основе в конце тридцатых годов происходит пересмотр старого курса "существования" и, заключив "пакт Молотов-Риббентроп", Stalin приступает к активизации советской внешней политики. Аннексируются части Польши, Финляндии, Румынии, а также прибалтийские страны. Одновременно и в советской идеологической системе объявляется "переоценка ценностей". Происходит "патриотическая революция" с культивированием "советского патриотизма", амнистия русских исторических героев и полководцев, реабилитация в определенных пунктах исторической внешней политики старой России, как признание завоевания Кавказа и Туркестана прогрессивным событием. Русский национализм как будто становится субстанциональным фактором советской внешней политики.

2. И. В. Stalin, Вопросы ленинизма, стр. 102.

Рассмотрим, почему, как и во имя чего это делается. Ненаучно и антиисторично отрицать влияние национального фактора на внешнюю политику коммунистических правительств. Каждое коммунистическое правительство строит и проводит свою внешнюю политику, опираясь на данную, живую, специфическую национальную среду, на активную часть ее народа, на ее территорию, традицию, историю, на национальный менталитет данного народа. Власть, обязанная поступать так, не может безназанно и длительное время игнорировать национально-государственные интересы своего народа, хотя бы они не укладывались в коммунистические, т.е. интернациональные рамки доктрины. Хотя данной, покоренной ими нацией коммунисты пользуются во имя целей далеких и даже противоположных ее насущным интересам, случается все же часто и так, что коммунистическая доктрина выявляет себя как прикрытие или даже как инструмент великодержавной политики этой нации. Таким образом, национализм временами выступает как субстанциональный фактор коммунистической внешней политики с той необходимой оговоркой, что при альтернативе—интернациональный коммунизм или национализм—Ленин выбирал первый, Тито выбрал второй, а Сталин и Мао-Цзэ-дун комбинировали то и другое. История внешней политики СССР собственно и есть, если ее рассматривать только в этом плане, история борьбы между этими двумя факторами за первенство в определении советского внешнеполитического курса.

Поскольку по расчетам Сталина, как уже указывалось, СССР должен был стать базой, исходным пунктом мировой революции, а советские люди ее главными носителями, то и идеологическая концепция Сталина тоже носит не чисто коммунистический, а коммунистическо-патриотический характер ("советский патриотизм"). При ответе на вопрос, к чему апеллировать в деле осуществления внешнеполитических замыслов—к национальному или к националистическому чувству русского человека или к коммунистической, интернациональной сознательности советского человека, Сталин находит странный для коммунистической доктрины, но весьма действенный для его собственных целей ответ: апеллировать должно к патриотизму! Эта "патриотическая революция", начавшаяся с середины 30-х

годов, во внешней политике была реакцией на торжество национал-социализма в Германии, а во внутренней политике капитуляцией Сталина перед русским национальным духом, но с тем, чтобы использовать динамизм русского национального сознания в тех же коммунистических целях. Поэтому было вполне естественно, что во второй мировой войне Stalin никогда не апеллировал к коммунистической философии Маркса и Энгельса (на протяжении всей войны Stalin и его соратники этих имен ни разу не упоминали в своих речах. Даже больше. Он идет на официальный роспуск Коминтерна и на амнистию религии. Той же линии национальной пропаганды во время войны советское правительство держалось и в союзных республиках, призывая их народы быть достойными потомками своих великих предков (Богдана Хмельницкого на Украине, Шамиля на Кавказе, Иманова в Средней Азии и т.д.). Особенно яркое в этом смысле обоснование своей внешней политики дал Stalin в отношении Японии. Говоря о капитуляции Японии во время второй мировой войны, Stalin заметил: "Поражение русских войск в 1904-году, в период русско-японской войны, оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятью будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения этого дня, и вот этот день наступил"³. Stalin, конечно, умолчал, что его партия, основатель этой партии Ленин, были "пораженцами" в русско-японской войне, желали и боролись именно за поражение России в войне против Японии. К этой войне большевики подходили опять-таки с точки зрения политico-идеологического фактора, с точки зрения интересов завоевания политической власти и осуществления своей политической доктрины даже ценой национальной катастрофы. Ставку на национально-русский фактор в "Великой отечественной войне" Stalin сделал именно в результате банкротства коммунистической доктрины. Россия собственно и была спасена во второй мировой войне не советским коммунизмом, а пробудившимся русским национализ-

3. И. В. Stalin "О великой Отечественной войне Советского Союза", 1952, стр. 40.

мом, при наличии роковых ошибок немецкой политической стратегии в войне.

Но и в этом случае национальный фактор надо рассматривать не изолированно, а в неразрывной связи с общей стратегией коммунизма по установлению мирового господства. Так как эта стратегия требует чрезвычайной гибкости в национальном вопросе, то игра коммунистов на националистических, шовинистических чувствах есть лишь оружие, метод и одна из рассчитанных форм порабощения этой же национальности в интернациональных целях коммунизма. Но могут быть ситуации, когда правители подкоммунистических стран вынуждены выдвигать на первый план национальный элемент как ведущий фактор или как фактор, выдаваемый за таковой, как это было со стороны Сталина против Гитлера во второй мировой войне, или со стороны Тито против Сталина после второй мировой войны, или со стороны Пекина против Москвы сейчас. Как раз опыт Тито и Гомулки показывает, что ставка на национализм в междоусобной борьбе коммунистических правителей есть лишь тактический маневр малых правителей, применяемый затем, чтобы заручиться симпатией и поддержкой своего народа против правителей великой страны или, другими словами, эта ставка есть одна из форм самообороны "национал-коммунизма" против "великодержавного коммунизма", а не против коммунизма вообще. Стало быть, национальный фактор как в политике СССР, так и его сателлитов принимает форму субстанционального фактора в случае политического или военного кризиса режима, а во всех других случаях он остается функциональным фактором от власти и идеологии.

Функциональными или производными факторами в советской внешней политике являются: так наз."борьба за мир", "курс на сосуществование", принцип "невмешательства", "право народов на самоопределение", и т.д. В нашу задачу не входит подробное рассмотрение этих факторов. Сама история советской внешней политики является убедительным доказательством того, что все они суть не субстанциональные факторы советской политики, не принципы, определяющие ее интересы и направление, а факторы функциональные и производные, факторы измен-

тивные и тактические, представляющие средства, а не цель. Достаточно указать, что если бы советская внешняя политика руководствовалась действительным признанием права народа на самоопределение и их государственного суверенитета, в Восточной и Центральной Европе не существовали бы "народно-демократические" режимы, а в Прибалтике три советских республики, не говоря уже о ранее покоренных коммунизмом народах. То же самое лозунги "разрядки", "мира" и "разоружения". Поскольку коммунизм не в состоянии победить сразу во всем мире, коммунисты и сегодня держатся известной теории Ленина о "слабом звене" и предпочитают побеждать одну страну за другой. Так как этот процесс разложения и овладения изнутри свободными странами является, по той же теории, процессом длительным, то коммунистическая система готова на "существование" в виде соревнования с капиталистической системой. "Сосуществование" Кремля несет с собой не установление духовного контакта между Западом и Востоком, даже не установление соглашения между национально-политическими и социально-политическими взглядами сторон, а, наоборот, переключение всех средств режима на идеологическую войну против неприятеля. Кремль неоднократно заявляет, что лозунг "существования" означает отсутствие огневой, но продолжение идеологической войны коммунизма против демократии. Это и есть продолжение "холодной войны", переименованной большевиками в "идеологическую борьбу".

Функциональным, производным фактором в советской внешней политике является и национально-колониальный вопрос, или вопрос об освобождении колониальных народов, об их праве на самоопределение. При постановке и разрешении национального вопроса большевизм исходил и исходит из того, что для успешного осуществления общего плана мировой революции можно и должно использовать колониальные и зависимые народы, обещая им широкие национальные свободы вплоть до свободы создания самостоятельных государств. Однако и в этом случае национальный вопрос рассматривается как производная, подчиненная часть общего вопроса о мировой коммунистической революции. Поэтому коммунизм поддерживает только то национальное движение, которое, во-первых,

ослабляет, подтачивает силы Запада, во-вторых, прямо или косвенно поддается контролю и руководству коммунистов.

Фактор страха, фактор "мании интервенции" со стороны внешнего мира, тоже влияет на определение и направление советской внешней политики. Предположение, что стоит лишить руководителей СССР повода для такого страха, что стоит сделать Кремлю далеко идущие уступки, чтобы доказать миролюбие Запада, как Кремль избавится от воображаемого страха и на земле водворится подлинный мир, основано на трагическом недоразумении. Носители таких взглядов забывают, во-первых, источник и природу советского фактора страха, во-вторых, абсолютную условность всяких условий мира с коммунистическим режимом. Вообще говоря, с коммунизмом мир невозможен, а возможно более или менее длительное вооруженное перемирие. Коммунизм рассматривает такое перемирие как паузу, как передышку на путях к очередному этапу коммунистической "освободительной войны". В силу этого советский коммунизм питает вполне естественный страх перед возможностью преждевременного раскрытия конечных замыслов его глобальной экспансии. Таким образом, фактор советского страха является не столько результатом учета уроков истории или намерений потенциального противника, сколько врожденным, имманентным фактором самой агрессивной сущности коммунистической стратегии. Коммунисты убеждены, вопреки всем их тактическим заклинаниям, что сосуществование на долгое время, сосуществование органическое между социализмом и свободным миром исключено. Исключено из-за решимости самого коммунизма покончить со свободным миром. Фактор страха есть фактор боязни советского режима, что его намеченная жертва может предупредить агрессию Советского Союза своим превентивным ударом. В этом смысле он является рефлексивным фактором, первопричина которого лежит внутри коммунизма, а не во внешнем мире. Но этот фактор играет большую пропагандную и тактическую роль. Гигантские расходы режима на подготовку войны оправдывались, оправдываются и сейчас, необходимостью дать отпор якобы постоянно планируемой военной агрессии "капиталистического лагеря" против СССР. Низкий стандарт жизни народа в свою очередь тоже оправды-

вается необходимостью этих расходов. Все это относится к фактору страха Кремля перед внешним миром, но существует и фактор страха коммунистов перед собственным народом. Для длительного и истинного мира между народами необходимо постоянное взаимопонимание, необходимо духовное, культурное и даже идеологическое сотрудничество между ними. Кремль боится такого сотрудничества, боится духовного общения между народами, боится потери "фактора страха" вопреки его политике воспитания ненависти к чужим народам, боится срыва и разоблачения своих внешнеполитических замыслов, боится, наконец, заражения собственного народа извне опасными для режима идеями демократии свободы. Поэтому и существует "железный занавес". До тех пор, пока СССР на деле не откажется от руководства мировым коммунистическим заговором и не снимет "железный занавес" по обе стороны, все разговоры о контролируемом разоружении, о запрещении термоядерного оружия, об обеспечении безопасности мира путем увеличения количества существующих международных договоров суть беспочвенные иллюзии. Требование же делать советскому правительству новые уступки в жизненно важных вопросах европейской и мировой безопасности означает на деле приглашение Кремля на очередную агрессию.

Сегодня мы присутствуем при рождении новой главы в истории советской внешней политики. Ее нельзя свести просто к политике мировой революции Ленина-Троцкого первых лет советской власти, но ее нельзя также целиком отождествить с послевоенным курсом прямой или косвенной агрессии Сталина-Молотова. Новая глава советской внешней политики, связанная с решениями XX, XXII, XXIV, XXV съездов КПСС, ставит перед собой, конечно, те же цели, что и ленинско-сталинская политика, но соответственно с изменившимися условиями как в самом СССР, так и заграницей, особенно в связи с самоуничтожающей опасностью атомной войны, она выдвигает на первый план иные средства и иные методы: военно-экономическую экспансию, идеологическую агрессию, чекистскую инфильтрацию, политику дипломатического шантажа, чтобы взорвать "Европейское сообщество" и НАТО изнутри.

Военно-политическая мысль Кремля не знает таких допотопных предрассудков вроде модных теорий "паритета" и "баланса сил". Она знает лишь одну теорию и один "категорический императив": абсолютное превосходство сил на суше, на море, в воздухе. Поэтому советская военная стратегия основана не на принципах обороны, а наступления. Этот кричащий "секрет" советской военной стратегии выдал еще Хрущев: "Наша страна, построившая социализм, долгое время была единственной в мире социалистической страной и находилась во враждебном капиталистическом окружении. Теперь положение в мире кардинальным образом изменилось. Нет уже больше капиталистического окружения нашей страны. Имеются две мировые общественные системы: отживающий свой век капитализм и полный растущих сил социализм... Опасность реставрации капитализма в СССР исключена".⁴ XXI съезд сделал вывод, что "победа социализма в СССР, создание мировой социалистической системы неизмеримо укрепляют силы международного рабочего (коммунистического — А.А.) движения и открывают для него "новые перспективы".⁵ Об этих "новых перспективах" говорил и Брежnev на XXIV-XXV съездах. На этих "новых перспективах" и основаны международные экономические расчеты Кремля. Другими словами, "новые перспективы" есть не что иное, как рождение нового фактора советской внешней политики—экономического фактора, фактора планирования экономической экспансии в трех формах, в форме экономической "взаимопомощи и координации" с сателлитами (что означает поставить и экономику сателлитов на службу московской международной политики), в форме "технико-экономической помощи" слабо развитым странам, главным образом оружием и "инструкторами", и в форме "мирного соревнования между капитализмом и социализмом" в целях использования технологии и кредитов мирового капитализма для строительства коммунизма в СССР, как базы уничтожения этого же самого капитализма.

Наш анализ субстанциональных и функциональных

4. Н.С. Хрущев. Доклад на XXI съезде КПСС, "Материалы внеочеред. XXI съезда КПСС", Москва, 1959, стр. 97-98.

5. Там же, стр. 98.

факторов советской внешней политики был бы неполным, если бы мы не рассмотрели отдельно еще одного фактора, безымянного, но довольно весомого и важного. Коммунисты его не любят рекламировать, а их противники узнают о его успехе всякий раз постфактум. Это — тактическое искусство.

Дело не в том, что тактика коммунистов эластична. Не всегда она является таковой, иной раз она заводит в тупик и их собственный режим ("военный коммунизм" при Ленине, послевоенный СССР при Сталине), заводит именно тогда, когда коммунисты начинают упорствовать в своих расчетах, явно изменения собственному тактическому учению. Действенность коммунистической тактики, ее эластичность основаны на широте ее диапазона. Отсюда она и динамична, но не вследствие интеллектуального превосходства коммунистического руководства, а скорее, наоборот, вследствие его плебейского утилитаризма, духовной ограниченности, моральной неразборчивости. Динамизм коммунистической тактики надо искать в абсолютном отрицании коммунистами всяких моральных норм как религиозных, так и иных традиционных, обычных. Если казавшиеся еще вчера священными принципы сегодня приходят в столкновение с интересами режима, то они немедленно будут выброшены и заменены другими, полезными иозвучными временем. При этом критерий замены старых и принятия новых принципов будет исходить из того же фактора власти: насколько старый мешает и насколько новый помогает укреплению и расширению власти. Так поступал Ленин, так поступал Сталин, так поступают и их наследники. "Нравственно в нашем обществе все, что служит интересам коммунизма", — говорил Брежнев на XXV съезде КПСС⁶. Вот законами этой "моральной диалектики" лидеры коммунизма всегда оправдывали всякие невероятные метаморфозы в своей тактике. Когда этого требовали интересы дела, даже сама диалектика оказывалась насквозь "диалектичной". Полная внутренняя свобода в трактовке собственного учения, совершенное отсутствие морального тормоза при выборе средств, подкупающий фанатизм в деле отстаивания собственных целей и готовность пожертвовать

6. "Правда", 25. 2. 1976.

любыми идеалами—национальными, социальными, философскими--во имя одного неизменного и ведущего идеала, во имя власти, таковы характерные черты большевицкого учения о тактике. Этой сущностью тактической доктрины и определяется советская внешняя политика и инструмент ее проведения советская дипломатия, а также подбор советских дипломатических кадров заграницей, одна половина которых состоит из штатных, а друга половина из "кооптированных" агентов КГБ. Из марксизма-ленинизма дипломатия Кремля черпала и черпает лишь моральную философию, а средства, приемы, методы ей приходилось самой разрабатывать. Здесь она не пренебрегала и тем, что оставили потомкам старые классические или буржуазные школы в дипломатии от Талейрана и Меттерниха до Бисмарка и Черчиля. Из наследства этих школ брались только те элементы, которые предвосхитили прагматическую философию примата реальных интересов над нравственностью. Разумеется, на словах коммунистические вероучители отмежевываются, скажем, от дипломатического цинизма Талейрана или от государственной философии Макиавелли, на деле они взяли у них все, что укладывалось в столь широкие рамки советской тактики и стратегии.

Принято считать, что консерватизм, вытекающий из марксистской ортодоксии в той или иной степени парализует тактическую гибкость коммунизма, делает коммунистов пленниками собственного учения, заставляет их во имя принципов идти напролом против заведомо непреодолимого препятствия, отказываться от оппортунистических компромиссов во имя чистоты марксизма-ленинизма, жертвовать выгодами создавшегося положения, если оно противоречит проповедуемым доктринам, цепляться за престиж там, где это спасает лишь форму, но вредит содержанию. Ничто не может быть ошибочнее, чем такое представление о коммунистической тактике вообще и о коммунистической дипломатии в особенности. Лавирование, соглашательство, преднамеренные компромиссы, умелое использование противоречий в лагере врага, вербовку временных союзников даже из числа своих врагов Ленин завещал своим ученикам как основу основ советской дипломатии. Искусство лавирования--это и есть первый принцип большевицкой так-

тики. Ленин, величайший из революционных агрессоров, который всегда сочувственно цитирует слова Клаузевица, что наступление и в политике есть лучший вид обороны, тем не менее указывал своим ученикам, что отступление тоже есть особое и специальное искусство, которому надо постоянно учиться.

Второй принцип большевицкой тактики сводится к тому, чтобы правильно выбирать время наступления, а до этого держать противника в постоянном неведении. Это еще Макиавелли советовал правителю не давать врагу знать, что ведется заранее намеченная и определенная политика. Ленин стоит на той же точке зрения. Он говорил: "Связывать себе наперед руки, говорить открыто врагу, который сейчас вооружен лучше нас, будем ли мы воевать с ним и когда, есть глупость, а не революционность. Принимать бой, когда это заведомо выгодно неприятелю, а не нам, есть преступление, и никуда не годна такая политика революционного класса, которая не сумеет продолжать "лавирование, соглашательство, компромиссы", чтобы уклониться от заведомо невыгодного сражения".⁷ Пока это время не назрело, пока идет лишь собирание своих и разведка вражеских сил, надо уметь работать в тылу, в лагере врага. Отсюда Ленин сформулировал третий принцип большевицкой тактики: "Надо обязательно научиться легально работать в самых реакционных парламентах, в самых реакционных профессиональных, кооперативных, страховых и подобных организациях"⁸. Если туда не пускают коммунистов, то "надо уметь... пойти на все и всякие жертвы, даже — в случае надобности — на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды... Конечно, в Западной Европе, особенно пропитанной.. буржуазно-демократическими предрассудками, такую вещь проделать труднее. Но ее можно и должно проделать и проделывать систематически"⁹.

Из этих общих тактических установок исходит и четвертый принцип коммунистической тактики в отношении между-

7. В.И. Ленин, Соч., т. 31, изд. 4-е, стр. 58

8. В.И. Ленин, Соч., т. 25, изд. 3-е, стр. 177

9. Там же, стр. 199.

народных договоров и договорных обязательств. Это— условность всяких обязательств. С затаенным сочувствием цитирует один советский дипломатический справочник Макиавелли как раз по данному вопросу: "Благоразумный государь не может держать своего слова, когда это вредно для него и когда исчезли причины, заставившие его давать обещание"¹⁰. Именно так и подходит ленинизм-сталинизм к оценке значения договоров и к международному праву вообще.

О своем отношении к международному праву и о цене международных договоров в глазах большевизма Ленин выразился так: "Как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот"¹¹. Таковы основы тактического учения большевизма, таково и истинное значение коммунистического "существования". Имеется действующий закон партии, написанный Лениным и публикуемый во всех партийных "кодификациях". Он был принят на том же чрезвычайном VII съезде партии (1918) и гласит: "съезд особо подчеркивает, что ЦК дается полномочие во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну"¹².

Выводы отсюда ясны. Советская внешняя политика есть не национально-государственная политика в обычном смысле, а интернационально-идеологическая функция советской внутренней политики. Она определяется задачами и интересами не страны, а задачами и интересами одной лишь господствующей части народа, коммунистической партии и ее режима. Интересы партии совпадают с национально-государственными интересами страны только во время агрессии извне. Во всех остальных случаях они расходятся. В основе советской внешней политики лежат те же самые движущие субстанциональные факторы, что и в основе доктрины самой коммунистической партии—интересы укрепления режима и задачи установления мирового ком-

10. Дипломатический словарь, т. 1, Москва, 1948, стр. 588.

11. В.И. Ленин т. 31, изд. 4-е, стр. 360-361.

12. "КПСС в резолюциях", т. 8, стр. 27, 1970, 8-е изд., Москва.

мунистического господства. Советская внешняя политика по природе своей не может быть пассивной, оборонительной и консервативной. Поскольку она есть лишь функция общей политики мировой революции, мирового господства, постольку она есть и эластичный инструмент в деле осуществления задач этого господства. Поэтому на ее вооружении имеется только наступательное оружие, а ее доктрина всегда насквозь агрессивна даже в случаях, когда она вынуждена лавировать или отступать, и всякое отступление ею рассматривается лишь как пауза, как передышка для нового наступления. Различные факторы, в том числе и национальный, в разной степени влияют на отдельных этапах на советскую внешнюю политику, но два фактора — интересы власти внутри и победа коммунизма во вне — предопределяют советскую внешнюю политику. Это означает далее, что борьба ведется не за какой-то абстрактный коммунизм в виде гармоничного социального общежития, а за новоклассовый режим господства коммунизма, именно советского коммунизма, борьба ведется за создание единой мировой коммунистической системы правления во главе с Советским Союзом. При всех действительных или кажущихся зигзагах во внешней политике СССР от Ленина до Сталина, от Хрущева до Брежнева эти два фактора остаются постоянно действующими и предопределяющими. Из этого вытекает важный и непреложный вывод: советская политика "разрядки" есть политика ленинской "передышки", а так наз. "существование" ленинское "средство собирания сил" для окончательного решения того же ленинского вопроса "Кто кого?".

Заключая мир с немцами в 1918 году Ленин говорил, что он торгует пространством во имя времени, а в наше время Кремль, наоборот, торгует временем во имя пространства. Когда кончится передышка и как кончится "существование", будут решать сами коммунисты. В этом и заключается величайшая опасность любого мира с коммунистами. Все внутренние хозяйствственные планы, планы строительства так называемого коммунизма, если их брать только во внешнеполитическом аспекте, суть планы подготовки нового комбинированного наступления коммунизма на свободный мир, на этот раз уже на всех участках — военно-политическом, идеологическом,

экономическом и научно-техническом (см. "Программу КПСС", "КПСС в резолюциях", т. 8, 1972, стр. 196-306). Это торжественно и от имени КПСС подтвердил на XXIV съезде генсек Брежnev: "Сегодня мы хотим еще раз заверить наших соратников—коммунистов мира: наша партия всегда будет идти в одном тесном боевом строю с вами... Полное торжество социализма во всем мире неизбежно. И за это торжество мы будем бороться, не жалея сил"¹³

Неограниченность тактического диапазона советской внешней политики, её полный иммунитет от морально-этических норм, её чистейший утилитаризм в подходе к международному праву и вытекающие отсюда её свобода и вольность в интерпретации принятых на себя обязательств, делают советское правительство в международных договорах опасным партнером. Свои права, вытекающие из договоров и соглашений, советское руководство рассматривает, как права безусловные, а обязательства, вытекающие из них, как обязательства условные (см. Хельсинки). Поэтому безопасность свободного мира, основанная не на его собственной силе, а на договоре с Кремлем, будет действенна только до тех пор, пока Советы не исчерпают своих договорных прав и связанных с ними выгод и не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы безнаказанно разорвать их.

Накануне войны, во время войны и сейчас же после войны СССР заключил около 25 крупных международных договоров и соглашений, касающихся ненападения, дружбы и невмешательства во внутренние дела других стран. Какие же были результаты? 24 из этих договоров разорвал СССР и только один договор — его партнером был Гитлер.

Международные соглашения и договоры нужны СССР, с одной стороны, для закрепления уже фактически завоеванных им позиций (Одер-Нейсе линия, Берлин, Восточная Европа как сфера влияния СССР) или, с другой стороны, для использования их по инфильтрации идей и людей и тыл своего идеологического врага.

Причем как раз в эру Брежнева СССР обогатил свою международную практику уникальным "новшеством": он подписывает

13. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 22, 1971 г., Москва.

международные соглашения, о которых не только он, но и его партнеры знают заранее, что они никогда не будут соблюдаться советским руководством. Новейший классический пример: Хельсинки. Отсюда нельзя, конечно, делать тот вывод, что с Кремлем вообще не имеет смысла заключать договоры. Суть в другом. Надо, наконец, понять после тяжких уроков истории от Ялты до Хельсинки, что Кремль не обычная договаривающаяся сторона. Ему внушает уважение лишь сила, превосходящая его собственную силу. Ему импонируют лишь государственные деятели, способные воспользоваться этим превосходством. Поэтому договоры и соглашения с Кремлем только тогда имеют смысл, если вы в состоянии гарантировать их обоюдное соблюдение.

A. Авторханов

СОВЕТСКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА СОЦИАЛИЗМА

I. Национальный продукт на душу населения, как мера уровня жизни.

Национальный продукт / НП. / на душу населения является обычной мерой уровня жизни. НПдн вычисляется, как сумма стоимостей всех, произведенных в стране товаров и услуг, поделенная на число душ населения. Рассмотрим, например, производство мужских костюмов. Это производство может иметь следующие ступени: 1. производство сырых материалов, 2. производство синтетической массы, 3. производство синтетического волокна, 4. производство синтетической ткани, 5. производство самих костюмов. Положим, наше предприятие включает в себя все пять ступеней и не нуждается ни в каких дополнительных материалах или полуфабрикатах. В этом случае стоимость всех произведенных костюмов и будет та стоимость, которая должна быть включена в НП.

Положим, наше предприятие производит только синтетическое волокно и покупает синтетическую массу. В этом случае из стоимости синтетического волокна, произведенного предприятием, нужно будет вычесть стоимость синтетической массы, так как только эта разница должна войти в НП. Это значит, что только та стоимость, которая создана на самом предприятии, должна быть включена в НП.

НП, вычисленный таким образом, не будет зависеть от того, как мы скомбинируем пять ступеней в одно или несколько предприятий. Именно так вычисляется НП во всем мире за исключением СССР. В нашем примере и с пятью отдельными

предприятиями советские экономисты включают в НП все стоимости продукции всех пяти предприятий без вычитания. Это значит, что в НП 5 раз войдет стоимость сырых материалов, 4 раза стоимость синтетической массы, 3 раза стоимость синтетического волокна, 2 раза стоимость синтетической ткани. Ясно, что советская цифра НП будет значительно завышена и будет зависеть от структуры промышленности (5 ступеней раздельны или объединены).

В СССР считают, что чем больше предприятие, тем оно экономичнее. Поэтому в течение последних 15-20 лет происходит объединение многих предприятий в огромные комбинаты или, как их называют, фирмы. Естественно, что при принятом способе расчета НП вклад такой фирмы в НП окажется меньше, чем сумма вкладов отдельных предприятий до их объединения. Этот эффект получил свое освещение в советской прессе и экономисты предлагают считать вклад такой фирмы так, как будто объединения не происходило. Это позволит сохранить прежние завышенные цифры НП.

В связи с обрисованным положением советской статистики приходится притти к следующим выводам:

1. Советская статистика НП весьма завышена и не может применяться для измерения советского уровня жизни.
2. Советская статистика НП не может быть использована для сравнения уровней жизни СССР и других стран.
3. Советская статистика НП не может быть использована для сравнения разных периодов истории СССР: структура промышленности менялась и предприятия объединялись и разделялись.

Имеется и еще очень важная причина непригодности для нашей цели советской статистики НП. В экономике Свободного Рынка стоимости и цены создаются по закону спроса и предложения. В планируемой экономике СССР стоимости и цены есть простое отражение политики производства и распределения. Соответственно и официальный курс рубля не имеет никакого отношения к его относительной покупательной способности. Советский рубль не котируется на биржах мира. Рубль, конечно, не является конвертируемой валютой.

2. Тонны, метры, штуки, как мера уровня жизни.

Я неоднократно пытался использовать для сравнения уровня жизни советскую статистику тонн, метров, штук. При этом лишь обнаруживались аналогичные трудности. В этом случае они именовались "приписками".

Любой работник снизу до самого верха заинтересован в выполнении предписанного плана, т.е. точнее, цифры плана. Это привело к тому, что отдельные и многочисленные личности, а также и коллективы, оставшиеся неизвестными, разработали огромную серию способов, как, скажем, записать 12 тонн, когда произведено лишь 10. Или записать незаконченную продукцию, как законченную. Или записать произведенный брак, как годную продукцию.

Не удивительно, например, что даже всеведущее Политбюро в шестидесятых годах было вынуждено поинтересоваться, куда делись 130 миллионов тонн стали, если все колхозы и совхозы жалуются, что не могут достать простого куска стали для ремонта сельскохозяйственных машин (тем более, что и запасных частей тоже нет).

После тщательного исследования Госплан сообщил: горнорудная промышленность является самым крупным потребителем стали, а сталелитейная самым крупным потребителем руды. Так там огромное количество стали и крутится. Типичный анекдот.

Примерно в то же время председатель Совета Министров СССР Косыгин, буквально, на коленях вымаливал у представителей фирмы Фиат, помогавшей строить автозавод на Волге, стальной лист. Те, конечно, недоумевали: ведь Италия выплавляет стали раз в десять меньше, чем СССР.

СССР закупает сталь везде, где может, даже в Египте. В 1974 году на покупку стали СССР израсходовал 2 000 миллионов долларов, т.е. 20% всех расходов валюты.

Следует отметить, что 130 миллионов тонн стали в год позволяет производить ежегодно 10 миллионов легковых автомобилей плюс 1 миллион тяжелых танков плюс 2 миллиона сельскохозяйственных тракторов плюс 50 000 километров железных дорог плюс 60 килограмм на душу населения разных сталь-

ных изделий. Все это не оставляет никаких сомнений, что 130 миллионов тонн стали являются блефом.

Я уверен, что большинство людей зарубежом думают, что советское сельское хозяйство электрифицировано и механизировано на 100%. В 1964 году на закрытой конференции в Новосибирске было доложено, что уровень механизации составляет мизерные 7% (почти как в Царской России). Пожалуй еще один пример будет полезен. По советским данным в стране было произведено тракторов:

1965	1966	1967	1968	
354 300	382 500	405 100	423 400,	т.е.всего

I 565 300 тракторов. За те же годы в сельском хозяйстве находилось тракторов:

1965	1966	1967	1968	
1 613 000	1 660 000	1 739 000	1 821 000,	т.е. увеличение всего лишь на 218 000 тракторов. Куда девались остальные 1 347 000 тракторов? Ответ: существенная часть этих тракторов просто не была произведена.

Мой и всех советских жителей опыт подсказывает, что мы не должны этим тоннам, метрам, штукам верить. Расхождение с действительностью может быть не малые 2-5%, а 20-50% и более.

Конечно развал советского сельского хозяйства нынче не нужно доказывать. Однако миф об огромных достижениях социализма все еще очень силен и даже усиливается из-за все растущей военной мощи СССР.

Мы имели опыт в 1941 году, когда Непревзойденная Мощь Советского Оружия оказалась блефом. Положим, что она не блеф теперь. Должны ли мы поражаться? Должны ли мы классифицировать это как большое экономическое достижение, прямо связанное с уровнем жизни? Я уверен, нет. Посмотрите на Китай! Китай очень отсталая страна почти с наименьшим в мире НП на душу населения. Тем не менее Китай имеет наибольшую армию в мире. Он имеет спутники земли, межконтинентальные ракеты, атомные и водородные бомбы и даже продает довольно

современное оружие другим странам. Ясно, что 250 миллионов населения СССР и сильное и целеустремленное руководство ими может иметь любые желаемые результаты на одном избранном участке.

3. Для чего нужно развитие экономики?

Поставим себе вопрос: для чего нам нужно развитие экономики? Для того, чтобы устрашать окружающий мир своей военной мощью? Для того, чтобы делать спутники земли или водородные бомбы? Конечно, на ограниченном отрезке времени такие цели могут быть оправданы, хотя и спорны. Однако, кто и как может оправдать сплошной поток таких целей на протяжении более чем 50 лет, т.е. в течение активной части жизни почти двух поколений? Тем более, что эти цели не оставляют места для чего-то человечески полезного. Ведь военная мощь не есть мера уровня жизни.

Как видно, для измерения уровня жизни нам лучше обратиться к простейшему факту: сколько товаров или услуг может гражданин страны получить в обмен на свой труд.

Для этой цели нам нужно будет знать только цены в магазинах и зарплаты граждан. Конечно надежная цифра средней по стране зарплата была бы нам крайне полезна. К сожалению, даже эта цифра советской статистики не является надежной.

4. Официальная цифра советской средней зарплаты тоже ненадежна.

В 1969 году я и мои коллеги были очень обеспокоены все увеличивающейся текучестью нашего основного рабочего состава. Эта текучесть составила уже 25% в год. Она ставила под серьезную угрозу и качество наших исследований и выполнение планов и подрывала всю нашу организацию работы. Причиной был простой факт: рабочие и другие сотрудники могли получить больше зарплату на некоторых других предприятиях в нашем районе Москвы.

Нашему предприятию (Научно Исследовательский Институт Электронных приборов), как и всем другим предприятиям СССР, нашим Министерством был установлен лимит средней

зарплаты, который не мог быть превышен. Если заплатить кому то больше, нужно было заплатить меньше кому-то другому.

Конечно, мы хорошо знали, что наш Институт, работающий целиком на оборону, имеет более высокий лимит, чем любое гражданское предприятие. Многие сотрудники этих гражданских предприятий перебегали к нам на работу. Текущесть на гражданских предприятиях была еще значительно выше. Например, завод "Красный Пролетарий", производящий металлообрабатывающие станки, имел текущесть около 100% в год. Как они могли работать, одному Богу известно. Так или иначе, но мы должны были что-то предпринять. Тем более, что нашему Институту был установлен лимит в 109 рублей средней зарплаты в месяц, а уровень средней зарплаты по стране по официальным данным был 120 рублей в месяц. Наш Институт был несомненно одним из важнейших в стране и иметь более низкий лимит было совершенно абсурдно.

В конечном итоге мы с группой моих коллег отправились в Комитет по Труду и Зарплате при Совете Министров СССР, который регулировал все эти вопросы по стране. Мы были приняты высокопоставленным чиновником, который нанес нам сокрушающий удар. Он сказал нам, что официальная средняя зарплата по стране в 120 рублей является блефом, и наши жалобы совершенно не обоснованы. Он также сказал, что в нашем районе Москвы было несколько и еще более важных предприятий, чем наше. Конечно, он хорошо всех нас знал и был уверен, что мы не разболтаем этот секрет, кому не надо. Нам осталось лишь размышлять, какова же была истинная цифра средней зарплаты по стране. Видимо, не более 100 рублей.

Так мы получили и еще один урок. Конечно мы уже знали, что в нашей стране все должно служить социализму. Даже литература и искусство. Однако мы, ученые и инженеры привыкли к истинам точных наук. Это казалось абсолютно невозможным, чтобы статистика (точная же наука!) должна была служить политическим целям социализма.

5. Надежный способ сравнения уровней жизни.

Так я пришел к выводу, что советской статистикой нельзя пользоваться и особенно для нашей цели.

Однако известные мне цены в магазинах, конечно, представляли собой вполне надежную информацию, так как они стандартны по всей стране. В качестве зарплат я, конечно, мог использовать хорошо мне известные ставки зарплат для определенных категорий работников, дополнив их теми, которые были мне известны из достаточно надежных источников. Конечно, зарплаты могли несколько варьироваться, но они однако достаточно для нашей цели точны и, кроме того, каждый, имеющий более точные цифры, может сам легко проделать вычисления.

Зная часовые зарплаты разных групп населения и цены в магазинах, можно подсчитать сколько каких товаров может приобрести тот или другой человек за один час работы. Безусловно, можно считать, что уровень жизни соответственно выше там, где человек может за час работы получить больше товаров или услуг. Такой способ сравнения доступен любому, знающему цены и зарплаты, без пользования любой фальсифицированной статистикой.

Таблица 1 показывает почасовые зарплаты в СССР в 1968-1970 годах и в Царской России в 1913-1914 годах. Таблица 2 показывает соответствующие цены главнейших потребительских товаров и соотношение покупательных способностей царского и советского рубля. Можно видеть, что один царский рубль эквивалентен 5,30 советским рублям. Следовательно, средняя инфляция на протяжении 54 лет составила 8% в год. Таблица 3 показывает вычисленное вышеуказанным способом соотношение уровней жизни в СССР и в Царской России. Можно видеть, что в среднем советский гражданин живет на 53% хуже, чем "угнетавшийся" житель Царской России. Какой результат! После полувека-то социализма!

Пожалуй, следует напомнить и некоторые другие факты сравнения с Царской, всеми оплеванной Россией.

1. Царская Россия производила хлеба на 30% больше, чем США, Канада и Аргентина, вместе взятые.

2. Крестьяне Царской России владели более, чем 80% всей пахотной земли.

3. Промышленное производство Царской России увеличивалось с 1890 по 1913 годы в среднем на 17% в год. Поддерживать такой рост на протяжении 23 лет не могла ни одна страна в мире, включая СССР.

4. Авиационная промышленность Царской России была на уровне таковой в США. СССР, как известно, утверждает, что Царская Россия не имела авиационной промышленности вообще.

5. Законодательство Царской России давало рабочим больше прав и возможностей, чем в СССР.

6. Закон 1866 года обязывал работодателя обеспечивать бесплатную амбулаторную и больничную помощь рабочим. В 1907 году ею пользовались 84% всех рабочих.

7. Закон 1912 года ввел государственное страхование рабочих от болезни и несчастных случаев. При этом рабочий платил только 1-3% заработка, а остальное платил работодатель.

8. Женщины-рабочие в Царской России имели оплаченные отпуска по беременности и родам.

9. Начальное обучение в Царской России было бесплатным, а с 1908 года и обязательным. Каждый год с 1908 года открывалось по 10 000 новых школ. В 1913 году 82% всех детей в возрасте от 12 до 15 лет и 93% мальчиков были грамотными. Для сравнения: во Франции в 1938 году было 7,5% неграмотных. В 1943 году в США 13,9% призывников были неграмотными. Пользуясь официальной советской статистикой, можно подсчитать, что в 1967 году в СССР было 39% населения, которое не окончило никакой школы и нигде не училось.

10. В Царской России было всего лишь 32 750 заключенных всех сортов, т.е. 0,02% от всего населения. Для сравнения: в Англии в 1967 году было 0,19%, т.е. почти в 10 раз больше. Что уж тут сравнивать с миллионами заключенных в СССР!

11. В Царской России прямые и косвенные налоги на население были много меньше, чем в Европе и в США.

12. Очень поучительно, что рядовой школьный учитель в Царской России получал пенсию 25 рублей в месяц, что по покупательной способности соответствует 133 советским рублям. В СССР максимальная пенсия после по крайней мере 20 лет

рабочего стажа 120 рублей в месяц. Большинство же получает около 60 рублей, а официальная минимальная пенсия — 30 рублей.

13. В 1913 году в Царской России безработицы практически не было совсем. По секретному обследованию, проведенному в 1967 году по РСФСР, безработица составляла 13,4% всего состава рабочих. Причем, 42,1% из них были согласны на любую работу: уже не могли даже выбирать.

14. В царской России не было нехватки жилищ.

15. В Царской России любой человек мог ехать куда угодно, найти там работу и жилище. Если человек в СССР захотел переехать, то на жилище в новом месте ему вообще нельзя расчитывать и работу он сможет получить только много худшую, если сумеет. Кроме того в большие города ему дорога вообще будет закрыта по причине отсутствия разрешения на прописку. Колхозники же, как известно, даже не имеют паспортов, где эта самая прописка должна регистрироваться. Им не разрешено вообще покидать их колхоз.

16. Каждый год около 300 000 рабочих Царской России выезжало на заработки в Германию: зарплаты в Германии были выше, а жизнь в России значительно дешевле после обмена немецких марок на рубли.

В Царской России не было ни для кого ограничений в поездке заграницу и обратно. СССР, как известно, является огромной тюрьмой, из которой чрезвычайно трудно убежать.

6. Сравнение уровня жизни в СССР и в Англии в 1968 году.

Давайте тем же способом сравним уровень жизни в СССР и в Англии в 1968 году. Таблица 4. показывает почасовые зарплаты в СССР и в Англии в 1968 году для трех главных категорий работников. Таблица 5. показывает цены, отношение покупательных способностей и соответствующее отношение уровней жизни. Можно видеть, что 1фунт стерлингов имеет покупательную способность 6,74 советских рублей, а советский уровень жизни в среднем составляет 21% от английского, т.е. в 5 раз хуже.

7. Уровень жизни в Англии в разные периоды.

Давайте посмотрим тем же способом, как менялся уровень жизни в Англии в разные годы. Таблица 6. показывает цены в 1914, 1928, 1968 и 1975 годах. Таблица 7. показывает почасовые зарплаты и соответственные изменения уровня жизни.

Можно видеть, что покупательная способность 1ф. ст. 1914 года равна 4,87ф. ст. 1968 года. Средняя скорость инфляции 7,2% в год.

Уровень жизни в 1968 году был в среднем в 2,7 раза выше, чем в 1914 году. Таблица 8 суммирует полученные данные. Если уровень жизни в Царской России в 1913-1914 годах взять за 100%, то в Англии он будет 80%. В 1968 году он будет в Англии 216%, а в СССР — 47%. Между 1914 и 1968 годами скорости инфляции в Англии и в СССР были примерно одинаковы. В 1968 году безработица в Англии составляла 1,7%, а в СССР — 13,4%. Поскольку считается, что в СССР нет безработицы, то пособий по безработице советские безработные не получают вообще. Весьма показательно, что минимальное пособие по безработице или минимальная пенсия по старости в Англии в 1968 г. составляли 19,50 ф. ст., что по покупательной способности эквивалентно 131 рублю в месяц, т.е. существенно превышает официальную советскую среднюю зарплату (120 р. в м.).

Интересно, что между 1968 и 1975 годами скорость инфляции в Англии составила 25,9% в год и уровень жизни понизился на 15% или по 2% в год. Причины этого явления для меня очевидны. Это есть результат продвижения Англии по дороге к социализму: более, чем 50% промышленности уже национализировано. Экономика свободного рынка прекращает свое существование: все в значительной степени монополизировано. Когда будет национализировано 90% хозяйства, а все будет подчинено Национальному Плану, результаты будут значительно хуже, чем в СССР хотя бы потому, что нет того огромного опыта, которым в этой области обладает СССР.

8. Грубая оценка НП на душу населения в СССР в 1968 году.

Следует отметить, что в 1914 году НПдн Царской России составлял 33% от НПдн в Англии. Это не противоречит тому,

что Царская Россия имела даже несколько более высокий уровень жизни. НПдн вычисляется для товаров и услуг, производимых на тот или другой рынок. Существенная часть населения Царской России жила натуральным хозяйством, т.е. почти ничего не покупала и ничего не продавала. То же, что производилось на продажу остальным населением, т.е. то что составляло НП, делилось для получения цифры НПдн на все население. Поэтому для экономики Царской России, только частично товарной, Цифра НПдн является вводящей в заблуждение в отношении уровня жизни.

Однако для экономики СССР и Англии 1968 года цифры (правильные) НПдн вполне отражают уровни жизни. Поэтому, зная соотношение уровней жизни, мы можем (в обратном порядке) считать, что та же цифра выражает соотношение НПдн. Известно, что в 1967 году Англия имела НПдн 1975 долларов. Следовательно, НПдн для СССР должен быть около $1975 \times 0,21 = 415$ долларов. (Официальная цифра — 1030 рублей на душу населения, т.е. 1144 доллара).

Эта весьма вероятная цифра НПдн СССР ставит его на 57-ое место среди стран мира и далеко позади, скажем Италии и Испании, за исключением, конечно, Народной Республики Китай с ее 90 долларами на душу населения.

9. Будущее советского уровня жизни.

Будущее советского уровня жизни очень хорошо отражено в секретных предложениях Политбюро, просочившихся в Самиздат. Таблица 9. показывает наиболее важные цифры этих предложений. Например, средняя зарплата увеличится от 1970 до 1985 года со 125 рублей в месяц до 170 рублей. Увеличение на 36%, т.е. 2,4% в год.

Между тем, как мы уже знаем, инфляция за истекшие 54 года составила 8% в год. В последующие 7 лет произошли новые резкие повышения цен. Поэтому ожидать в будущем инфляцию существенно меньше 8% в год трудно. Это значит, что Политбюро проектирует на будущее дальнейшее снижение уровня жизни, примерно, по 5% в год.

Таким образом экономические достижения Царской России

останутся для трудящихся СССР неосуществимой чудесной мечтой.

9. Главные причины низкой экономической эффективности социализма.

Первой причиной является, конечно, эгоизм, который дает великолепные экономические результаты при экономике Свободного Рынка, но все более и более плачевые результаты при национализированной и планируемой экономике СССР.

Экономика Свободного Рынка статистически управляет миллионами индивидуальных мозгов в соответствии с очень строгими законами, очень хорошо служащими выживанию человеческой расы, так как каждый индивидуум преследует цели своего выживания. Социалистическая экономика управляет несколькими, скажем, тысячами мозгов, которые к тому же не имеют непосредственного знания миллиардов частных местных условий, которые тем не менее важны для жизни человека. Это вторая причина.

В экономике Свободного Рынка люди на месте решают и действуют в соответствии с местными обстоятельствами. Их решения не искажаются и не замедляются. В национализированной и планируемой экономике местные сигналы относительно местных обстоятельств замедляются и искажаются на их пути к тем людям, которые наверху выносят решения и фактически управляют страной. В свою очередь решения этих верхних людей замедляются и искажаются на пути к тем людям внизу, которые будут претворять эти решения в жизнь. Это есть третья причина.

Важно при этом иметь в виду, что национализированная экономика не может быть децентрализованной. При децентрализации будет существовать множество местных решений без всякой надежды, что все они в сумме дадут что-то сбалансированное с правильными пропорциями и соответствующее национальным ожиданиям. В соответствии с эгоизмом человека и его пониманием местных условий и директив сверху это множество частичных решений и действий будет, практически, таким же хаосом, как при Свободном Рынке, но без той

ответственности за эти местные решения, которая накладываетя на решающего в условиях Свободного Рынка: банкротство или выживание.

Поэтому, и несомненно, экономика полностью национализированной промышленности, но децентрализованной, будет еще менее эффективной и практически неуправляемой и нерегулируемой.

Пока средний человек является эгоистом (в наилучшем смысле этого слова), экономика Свободного Рынка будет являться системой, приносящей наибольшее благополучие и процветание людям, находящимся на любых ступенях общественной структуры. Конечно я должен отметить, что экономика Запада уже не является экономикой Свободного Рынка и поэтому постепенно теперяет свою эффективность, буквально, с каждым годом.

А.П. Федосеев, 1976

Таблица 1. Почасовая зарплата и вспомогательные данные.

	СССР	Царская Россия.
Число официальных праздников в году	8	36
Средняя продолжительность рабочего дня (часы)	8,14	9,7
Полное число рабочих дней в году	253	277
Полное число рабочих часов в году	2060	2687
Зарплата в месяц (в час)		Отношение
рублей (копеек):		
Неквалифицированный рабочий	80/47 ¹	32/14 ² 3,36
Квалифицированный рабочий	140/82 ¹	70/31 ² 2,65
Канцелярский работник	80/47 ¹	75/31 ² 1,42
Бухгалтер	75/44 ³	150/67 0,66
Медицинская сестра	60/35	75/33 1,06
Врач	140/82	250/112 0,73
Учитель	110/64	70/31 2,06
Крестьянин	37/22 ⁴	27/12 ⁵ 1,83

Примечания: 1. В Научно Исследовательском Институте Электронных Приборов.

2. "Завод Парвиайнен" в Петрограде.
3. Бухгалтер столовой.
4. Средняя сумма платежей деньгами и натурой.
5. Работая по найму на помещика.

Таблица 2. Цены и отношение покупательной способности советского и царского рубля

	Цена в копейках.			
	СССР 1968-1970	Царская Россия	1913-1914	Отношение
Говядина	1 кг	180	35	5,10
Сл. масло	1 кг	360	90	4,00
Сах. песок	1 кг	94	29	3,20
Картофель	1 кг	10	2	5,00
Яйца	десяток	110	20	5,50
Черный хлеб	1 кг	10	7	1,40
Белый хлеб	1 кг	29	15	1,90
Молоко	1 литр	40	8	5,00
Ситец	1 метр	85	18	4,70
Сукно	1 метр	1600	204	7,80
Снять частную квартиру	1 кв. метр в месяц	250	17	14,70

Средняя покупательная способность царского рубля — 5,30 советских. Инфляция за 54 года 430% или 8% в год.

Таблица 3. Отношение уровня жизни в СССР в 1968-1970 к
уровню жизни в Царской России в 1913-1914 годах

	Неквал. рабочий	Квал. рабочий	Канцел. работник	Бухгалтер	Медсестра	Врач Учит.	Крест Отн. ср.
Говядина	0,66	0,51	0,28	0,13	0,21	0,14	0,40
Сл. масло	0,83	0,66	0,36	0,16	0,27	0,18	0,52
Сах. песок	1,05	0,82	0,44	0,20	0,33	0,23	0,64
Картофель	0,67	0,53	0,28	0,12	0,21	0,15	0,41
Яйца	0,61	0,48	0,26	0,12	0,19	0,13	0,38
Черн. хлеб	2,50	1,85	1,00	0,46	0,74	0,51	1,44
Бел. хлеб	1,83	1,37	0,74	0,34	0,55	0,38	1,07
Молоко	0,67	0,53	0,28	0,13	0,21	0,15	0,41
Ситец	0,72	0,56	0,30	0,14	0,22	0,16	0,44
Сукно	0,43	0,34	0,18	0,08	0,14	0,09	0,26
Снять кв.	0,23	0,18	0,10	0,04	0,07	0,05	0,14
Среднее от- ношение	0,93	0,71	0,38	0,18	0,29	0,20	0,56
							0,49
							0,47

Среднее по всем категориям: 0,47

Таблица 4. Средние почасовые зарплаты в Англии и в СССР в 1968 году

	Рабочий физич.	труда.	Раб. умств. тр.	Сельскохоз. рабочий	
	Англия	СССР	Англия	СССР	Англия
Средняя недельная зарплата до налога	23,00 ф.ст.	24,00 рубл.	27,93	22,00	15,25
Тоже после налога.	20,24 ф. ст.	21,00 рубл.	24,58	20,00	14,18
Среднее число рабочих часов в неделю	46,4	40,7	46,4	40,7	46,4
Почасовая зарплата	0,436 ф.ст.	0,52 рубля	0,53	0,50	0,306
					0,22

Таблица 5. Цены, отношение покупательной способности IФ. ст. к рублю, стношение уровня жизни в СССР к уровню жизни в Англии в 1968 году

Товар (кг, м, л, 10)	Цена Англ. ф. ст.	СССР р.	Отнош. пок. сп. раб.	Отношение уровня жизни физ. тр. Раб. умст. тр. Сельск.	Среднее отношение.
Мука	0,067	0,33	4,90	0,24	0,20
Хлеб	0,09	0,29	3,20	0,38	0,29
Говядина	0,79	2,00	2,50	0,47	0,37
Молоко	0,073	0,40	5,50	0,22	0,18
Сл. масло	0,41	3,60	8,80	0,14	0,11
Яйца	0,17	1,10	6,50	0,18	0,15
Картофель	0,034	0,10	2,90	0,42	0,30
Сах. песок	0,078	0,94	12,00	0,10	0,08
Водка 0,5л.	1,55	3,60	2,30	0,51	0,41
Мужск. кост.	6,80	120,00	17,60	0,07	0,05
Мужск. рубашка	1,50	8,00	5,30	0,22	0,18
Мужск. ботинки	1,75	15,00	8,60	0,14	0,11
Женск. туфли	3,60	25,00	6,90	0,17	0,14
Женск. чулки	0,25	2,00	8,00	0,15	0,12
Телевизор 19 дм.	55,00	240,00	4,40	0,27	0,22
Транзистор	6,75	120,00	17,80	0,07	0,05
Снять кварт.	1,00	2,50	2,50	0,48	0,38
Купить кварт.	86,00	180,00	2,10	0,57	0,45
(кв. метр)					
Малолитр.	467,00	3000,00	6,40	0,19	0,11
автомобиль					
Среднее			6,74	0,26	0,21
				0,16	0,15
					0,21

Среднее по трем категориям: 0,21

Таблица 6. Цены в Англии в разные годы Цены в десятичных фунтах стерлингов

		1914	1928	1968	1975
Говядина	1кг	0,09	0,158	0,79	1,30
Баранина	1кг	0,096	0,172	0,62	1,54
Бекон	1кг	0,103	0,147	0,404	1,42
Мука	1кг	0,014	0,022	0,067	0,142
Хлеб	1кг	0,013	0,021	0,09	0,215
Чай	1кг	0,167	0,266	0,70	0,93
Сах. песок	1кг	0,018	0,03	0,078	0,25
Молоко	1литр	0,013	0,02	0,073	0,15
Сл. масло	1кг	0,133	0,204	0,41	0,79
Сыр	1кг	0,08	0,128	0,40	1,04
Маргарин	1кг	0,064	0,069	0,20	0,52
Яйца	десяток	0,11	0,16	0,17	0,34
Картофель	1кг	0,006	0,013	0,034	0,165
В среднем		1,00	1,60	4,88	13,70

Ф.ст. 13,70 Ф.ст. 4,88 Ф.ст. 1,60 Ф.ст. 1,00

Инфляция за 54 года с 1914 до 1968 388% или 7,2% в год

Инфляция за 7 лет с 1968 до 1975 181% или 25,9% в год

Таблица 7. Зарплаты и уровень жизни в Англии в разные годы

Рабочие физического труда

1914 1928 1968 1975

Недельная зарплата до налога

1,70 ф.ст. 2,90 ф.ст. 23,00 ф.ст. 59,58 ф.ст.

Число рабочих часов в неделю

49 44,4 46,4 43,6

Налог

4,6% 9,4% 12% 24%

Почасовая зарплата после налога

0,033 ф.ст. 0,059 ф.ст. 0,436 ф.ст. 1,039 ф.ст.

Сравнительный уровень зарплат

1,00 1,79 13,21 31,48

Сравнительный уровень жизни

1,00 1,12 2,71 2,30

Таблица 8. Резюме сравнения уровней жизни

Уровень жизни.

1914 год

1968 год

Англия

80%

216%

Царская Россия 100%

СССР

47%

Средняя скорость инфляции.

Англия / 1914-1968/

7,2%

СССР / 1914-1968/

8,0%

Безработица.

Англия / 1968/

1,7% работающего населения.

СССР / 1968 /

13,4% работающего населения.

Пособие по безработице для одиночки.

Англия / 1968/ ф. ст. 19,50 в месяц. Это эквивалентно 131 рублю в мес.

СССР / 1968/ НУЛЬ "безработицы нет"

Пенсия по старости для одиночки.

Англия / 1968/ ф. ст. 19,50 в месяц. Это эквивалентно 131 р. в мес.

СССР / 1968/ От 30 до 120 рублей в месяц.*

* Средняя величина пенсии по официальным данным 37 рублей в месяц.

Таблица 9. То, что Политбюро обещает в будущем.

	Миним. зарплата в месяц	Средняя зарпл. в месяц	Средн. доход колхозника в месяц	Миним. пенсия в месяц	Норма площади на чел. в городе
1970 год	60 р.	125 р. ¹	70 р. ¹	30 р. ²	11 кв.м. ³
1975 год	75 р.	140 р. ¹	95 р. ¹	45 р. ²	12,5 кв.м. ³
1980 год	95 р.	155 р.	130 р.	67 р	14 кв.м.
1985 год	110-120 р.	170 р.	148-150 р.	86 р.	15 кв.м.

Примечания: 1. Фиктивная. Действительная существенно меньше.

2. Я знал людей, которые в 1971 году получали 15 рублей в месяц. Мать моего товарища, колхозница получала в 1971 году 5 рублей в месяц.

3. В Москве в 1971 году не ставили на очередь людей, имевших больше 4,5 кв. метров на человека. Действительная цифра: 7,2 кв. м. на человека.

На одну комнату в среднем приходится 2,3 человека, живущих в ней.

КАК ПРОИСХОДИЛО ПОРАБОЩЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РКП/б/ И ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА РСФСР

В данной работе я хочу обратить внимание на то, что еще до возникновения Советского Союза, еще до установления коммунистических правительств на территориях отделившихся от советской России после 1917 г. национальных государств, отношения между РСФСР и этими отделившимися от нее государствами теоретически должны были быть отношениями внешними, относящимися к области международной политики. В действительности же решающую роль в этой внешней политике РСФСР сыграла разработанная РКП/б/ политическая доктрина по нациальному вопросу.

*

В истории современных наций на первый план выступает проблема национального суверенитета. По существу национальный суверенитет означает управление развитием национального сообщества самим этим сообществом. Но именно в этом возможности отдельных наций не одинаковы, они зависят как от потенциала самих наций, так и от того, в соседстве с кем они живут. На первый план эта проблема выступает тогда, когда возникает угроза ограничения или ликвидации национального суверенитета со стороны другой нации или государства.

Одним из периодов, когда проблема национального суверенитета проявилась в исключительно острой форме, был период распада многонациональной русской империи после прихода к власти коммунистической партии большевиков, а именно в 1917-1922 гг. Несмотря на торжественно про-

возглашенные заявления большевиков о том, что не будет никакого национального гнёта в Советской России, несмотря на обещания о добровольности союза наций ряд нерусских народов воспользовался первоначальной нестабильностью коммунистического правления и провозгласил создание собственных национальных суверенных государств.

Возникновение этих национальных государств было результатом страха перед "диктатурой пролетариата", проявлением недоверия к большевицким обещаниям национального равенства и попыткой спасти национальное целое. Ведущие представители отдельных нерусских наций восприняли приход к власти коммунистического правительства как наивысшую опасность, нависшую над их национальным бытием, их развитием как национально суверенных целых. Кроме того, создание национальных независимых нерусских некоммунистических государств на территории бывшей империи было реакцией на ту часть коммунистической политической доктрины, которая характеризовала национальную проблему как проблему второстепенную в развитии человеческого общества; это была реакция на большевицкое понимание политической власти как монопольной диктатуры их партии в централизованном и как можно большем государстве. О большевиках было известно и то, что они не были партией, которая бы стремилась культивировать национальное сознание и которая позволит отдельным нациям управлять своими делами автономно, и это тоже сыграло свою роль в подъёме сепаратизма нерусских народов. С точки зрения отдельных наций в русском многонациональном государстве приход коммунистов к власти означал, что национальные представительства будут исключены из управления национальными делами и что власть над нациями перейдет к новому суверену, к коммунистической партии.

Уже в первом ленинском правительстве был учрежден Комиссариат по делам национальностей, во главе которого был поставлен Сталин. Для этой должности у него были два преимущества: во-первых, грузинская национальность, а во-вторых — "теоретическая подкованность" в этой области, так как Сталин был автором высоко ценимой Лениным работы по национальному вопросу. Этот Комиссариат должен был заниматься

делами нерусских национальностей и способствовать стабилизации "советской власти" внутри этих народов. Другими словами, было создано какое-то связующее звено между центром диктатуры и нерусскими народами. Но сама Грузия вместе с соседними закавказскими народами, армянами и азербайджанцами, отделилась от коммунистической РСФСР, как это сделала Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, среднеазиатские народы, крымо-татары.

Провозглашение независимых национальных несоветских республик в Закавказье вовсе не означало, что коммунистическое правительство РСФСР смирилось с этим положением и намерено отказаться от данной области. РКП/б/, действовавшая на территории Закавказья, начала применять в этом районе ту же тактику, которой она пользовалась в других нерусских областях, т.е. она стремилась установить свою власть в форме советов. Наибольшего успеха коммунистическая партия добилась в Баку, где 25 апреля 1918 г. было создано правительство народных комиссаров во главе с профессиональным революционером, большевиком С. Шаумяном. Это правительство продержалось у власти вплоть до конца июля 1918 г., т.е. до момента, когда Баку заняли англичане.

В независимых национальных несоветских республиках Закавказья большевицкие организации действовали вначале нелегально. Их работа руководилась Кавказским краевым комитетом, во главе которого стоял Орджоникидзе. Эти большевицкие организации Закавказья были составными частями РКП/б/, так как несмотря на то, что отдельные организации коммунистов, действовавшие в нерусских областях, были названы в соответствии с национальностями этих областей, они никогда не были самостоятельны и являлись лишь инструментом единой и из единого центра руководимой коммунистической партии. "Принцип пролетарского интернационализма" позволял партийному центру авторитетно выступать везде, где на территории бывшей России действовали коммунистические организации, совершенно независимо от того, какая форма государства была избрана тем или другим народом.

В Грузии лишь в мае 1920 г. была учреждена Грузинская коммунистическая партия, которая могла действовать легально.

Этот поворотный пункт во внутренней и внешней политике самостоятельного грузинского государства был вызван изменением взаимоотношения сил в Закавказье и на Кавказе. На Северном Кавказе Одиннадцатая Красная Армия разбила антикоммунистические части под командованием генерала Деникина, а западноевропейские державы и США, которые могли бы помочь закавказским республикам в их стремлении сохранить свою самостоятельность, этого не сделали. Закавказские республики оказались предоставлены самим себе перед угрозой коммунистической РСФСР. Ни одна из них в отдельности и даже все три вместе взятые не обладали достаточным потенциалом, который позволил бы им защитить свою независимость.

Что же касается коммунистических заявлений о праве кавказских народов на собственные государства, то насколько они были правдивы и искренни мы можем видеть из заявления Рыкова на VIII съезде РКП(б) в 1919 году. Выступая в прениях по национальной политике РКП(б), Рыков совершенно отчетливо заявляет, что национальная программа федеративного союза должна быть расширена в отношении единства экономического строительства, так как "природные условия, существующие независимо от нас, предоставляют тем или другим советским федеративным государствам те или другие материальные условия, необходимые для их существования и совершенно необходимые для всех остальных республик. Конкретно, Украина, например, Донецкая область — полностью обеспечена каменным углем, Северный Кавказ (я не теряю надежды, что наконец-то он будет наш) имеет достаточно жидкого топлива и других природных ресурсов, совершенно необходимых для того, чтобы могли существовать Литва, Латвия, Белоруссия и любое другое государство".¹ Рыков воспользовался термином "Северный Кавказ" потому, что три закавказские республики, обладавшие как раз теми важнейшими природными ресурсами, о которых он говорил, в то время были несоветскими. Но Ленин еще за год до Рыкова (на VII съезде РКП(б) говорил о том, что противоречия и конфликты между державами создали

1. Протоколы VIII съезда РКП(б), Партиздат, Москва, 1933, стр. 98.

благоприятную обстановку для того, чтобы коммунистическая революция могла осуществить свой "блестящий триумфальный марш в европейской России, перешагнуть в Финляндию и начать завоевывать Кавказ и Румынию".²

Постепенно коммунистическая власть была установлена в Дагестане, Осетии, Кабардии, Чечне и Ингушетии. Учреждение 8 апреля 1920 г. Кавказского бюро РКП(б) явилось непосредственным результатом успешного наступления Красной Армии РСФСР и отхода английских частей из этой области. В конце марта 1920 г. Красная Армия РСФСР уже стояла на северных границах Азербайджана, обеспечивая тем самым поддержку коммунистов Азербайджана в их работе. В то время количество коммунистов в Азербайджане было совершенно незначительным, но вопрос количества не был существенен. Важно было то, что существовала определенная, организованная единица, которая провозгласила себя представителем "трудящихся Азербайджана", так как только такое представительство нации допускала национальная политика РКП(б). 27 апреля 1920 г. в Азербайджане началось большевицкое восстание. Теоретически — незначительные в количественном и качественном отношении коммунистические силы не имели никакой надежды на успех, но т.н. "Революционный военный комитет Азербайджана" обратился за помощью к Красной Армии РСФСР. Одннадцатая Красная Армия РСФСР вступила в независимый Азербайджан, свергла национальное правительство муссаватистов и торжественно провозгласила Азербайджанскую советскую социалистическую республику с правительством коммунистической партии Азербайджана, которая располагала правами губернской организации РКП(б).³

В Армении подобное восстание началось в мае 1920 г., но местному национальному правительству дашнаков удалось его подавить до вмешательства Красной Армии РСФСР, так как в то время Красная Армия была занята в Азербайджане. В этой

2. В. И. Ленин, Сочинения, XXVII, стр. 95-96 (англ. издание).

3. Это положение национальных коммунистических партий на территории бывшей русской империи было оформлено на VIII съезде РКП(б) в 1919 г., но для широкой общественности оставалось засекреченным.

обстановке между РСФСР и Грузинской демократической республикой был заключен договор. В нем договаривающиеся стороны заявляли: "РСФСР и Демократическая республика Грузия, руководимые общим желанием установить между обеими странами мирное сожительство на благо населяющих обе страны народов решили заключить для сего особый договор..."

Статья I.

Исходя из провозглашенного РСФСР права всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав которого они входят, Россия безоговорочно признает независимость и самостоятельность Грузинского государства и отказывается добровольно от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к грузинскому народу и земле.

Статья II.

...Россия обязывается отказаться от всякого рода вмешательства во внутренние дела Грузии."

Однако к этому соглашению 7 мая 1920 г. было добавлено "Особое секретное дополнение к договору между Россией и Грузией".

Статья I.

Грузия обязуется признавать за находящимися на территории Грузии коммунистическими организациями право свободного существования и деятельности, в частности, право свободного устройства собраний и право свободного издательства (в т.ч. органов печати). Во всяком случае не могут быть принимаемы никакие репрессии ни против частных лиц, как судебные, так и административные, вытекающие лишь из публичной пропаганды и агитации за коммунистическую программу, или деятельности лиц и организаций, основанной на коммунистической программе".⁴

Полный текст договора без приведенного выше секретного дополнения был опубликован в книге "Политика советской

4. ЦПА ИМЛ, Ф.80, оп. 4, ед. хр. 90, фотокопия оригинала. Статью I было трудно прочитать.

власти по национальным делам за три года 1917-1920" (Госиздат 1920, стр. 29), а статья X этого опубликованного договора была сформулирована следующим образом: "Грузия обязуется освободить от дальнейших преследований, судебных или административных, всех лиц, которые на территории Грузии подвергались репрессиям за деятельность в пользу РСФСР или же в пользу коммунистической партии".

Уже первая статья договора между двумя суверенными государствами с различными типами политической системы носит совершенно особый характер. Говорится только о политике РСФСР, о ее добной воле и подчеркивается, от чего отказывается РСФСР, т.е. другими словами, первая статья договора как бы подчеркивает благожелательность, которую РСФСР — проявляет по отношению к грузинскому народу и грузинскому государству, так как в договоре РСФСР отказывается от суверенных прав на грузинскую землю и грузинский народ. Таким образом, 1-я статья договора носит явно пропагандный характер, так как если РСФСР провозгласила право наций на самоопределение и на создание самостоятельных национальных государств, то тем самым она и обязалась к такому "добровольному" отказу в случае, если какой-либо из народов отделится. Момент добровольного отказа содержится уже в самом провозглашении права наций на самоопределение. Но ведь не только РСФСР "отказывается", но и Грузия проявила волю отделяться от РСФСР, так как грузинский народ решил жить в своем и им самим управляемом некоммунистическом государстве. Но этот момент, т.е. грузинское решение, грузинская национальная воля вовсе в договоре не содержится. В этом смысле договор чрезсчур односторонен, так как отражает лишь волю РСФСР. Таким образом, сама формулировка первой статьи подчеркивает как бы подаренную самостоятельность, а не завоеванную волей грузинского народа и им же защищаемую.

Во второй статье договора РСФСР обязывается не вмешиваться во внутренние дела грузинского государства. Такая формулировка логически вытекает из признания самостоятельности Грузии и, разумеется, должна была быть воспринята Грузией весьма положительно, в особенности, в

ситуации, когда на границах Грузии стояла Красная Армия РСФСР, государства, несравненно более сильного, чем Грузия. Но это торжественное обязательство могло удовлетворить и успокоить лишь грузинскую общественность, которой не было известно полное содержание договора. Но слова словами, а дела делами. Ведь "особое секретное дополнение к договору между Россией и Грузией" абсолютно аннулировало это торжественное обещание, так как фактически Грузия была выдана на милость и немилость ленинской РСФСР, которая и в данном случае применила основные положения "национальной теории" и "национальной политики" РКП(б). Это секретное дополнение ставило Грузию в положение неравноправного партнера коммунистической РСФСР. Ведь на территории РСФСР с ее коммунистическим правительством не могли свободно действовать организации и люди с некоммунистической идеологией и некоммунистической политической программой, которые бы управлялись из грузинского государства; в РСФСР никто не мог легально действовать в пользу Грузии и находиться в оппозиции к правительству своей республики, пропагандируя политическую программу свержения этого правительства и диктатуры РКП(б).

Тот факт, что грузинское государство согласилось подписать это секретное дополнение, был, без сомнения, продиктован страхом перед возможностью интервенции Красной Армии РСФСР — и это была реальная оценка обещаний РСФСР относительно национального суверенитета Грузии и невмешательства в ее внутренние дела. Наряду с этим, принятие упомянутого дополнения было и выражением надежды, что "дополнительная" уступка может такое вмешательство предотвратить, если Грузии удастся стабилизировать внутреннюю обстановку в государстве, так что в таких условиях коммунистическая пропаганда не будет представлять собой серьезную опасность. Грузия, безусловно, надеялась и на изменение международного положения, что тоже могло воспрепятствовать вооруженному нападению Красной Армии. Но с другой стороны, сам факт опубликования текста договора в печатном органе сталинского ведомства — Народного комиссариата по делам национальностей — свидетельствовал о

том, что РСФСР и РКП(б) рассматривают грузинское государство не как равноценного партнера внешней политики, а как объект своей "национальной политики", объект "коммунистической революции" и ждут лишь удобного случая для включения Грузии в многонациональное коммунистическое государство. Таким образом, это секретное дополнение означало, что грузинское государство разрешает, чтобы на его территории совершенно свободно, без какого-либо контроля со стороны суверенной грузинской республики действовала организация другого государства, РСФСР, политическая программа которой (организации) была направлена на установления в Грузии идентичного с РСФСР режима.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что подготовка РСФСР (РКП(б)) к уничтожению самостоятельного грузинского государства начинается с синтеза двух сил. С одной стороны — вооруженные силы РСФСР. Внешне РСФСР не вмешивается. Формально она признает суверенитет Грузии и якобы не занимается ее внутренними делами — но Красная Армия стоит на границах как фактор, гарантирующий соблюдение Грузией и секретного дополнения к договору. С другой стороны — внутри Грузии действуют коммунистические организации, которые знают, что им все дозволено, что они действуют безнаказанно и что могут не только заниматься агитацией и пропагандой в пользу коммунистической программы, но и на основе этой программы проводить свою деятельность. (См. секретное дополнение к договору.) Таким образом, все еще суверенная и некоммунистическая Грузия попадает в положение, когда ее суверенитет на ее собственной территории ограничен тем, что она не может воспользоваться своей властью по отношению к организации, действующей в интересах другого государства и стремящейся (как составная часть правящей в РСФСР партии) ликвидировать существующий в Грузии общественный строй, заменив его существующим в РСФСР типом государственной организации, и уничтожить суверенитет Грузии.

На этом примере мы еще раз видим, насколько успешной оказалась для большевиков система строительства РКП(б). Коммунистическая партия Грузии не была самостоятельной политической партией, она была составной частью РКП(б).

Ленин строил свою партию как единую партию в рамках предреволюционной России. На протяжении всей истории большевизма он ни разу не допустил партийного федерализма, который мог бы нарушить централизм в управлении партией. Только после прихода большевиков к власти, когда в многонациональной России мы видим буквально взрыв национальной проблемы, Российская коммунистическая партия создает национальные коммунистические организации с собственным национальным руководством. Но их самостоятельность лишь кажущаяся, так как все они продолжают оставаться составными частями единой РКП(б), а их права являются правами местных, губернских организаций, задача которых — проведение в жизнь инструкций ЦК РКП(б) среди своей национальности. Прекрасно знающий партию изнутри Сафаров об этом писал: "Коммунистическая партия России никогда в течение всего своего развития не отступила от интернационалистических принципов строительства партийной организации. Для того, чтобы быть более близкой местным пролетарским слоям автономных областей, областные комитеты Кавказа, Украины, Туркмении и др. называются "Кавказский областной комитет РКП(б), ЦК КП(б) Украины и ЦК КП(б) Туркмении" и т.д. Но все это органы единой КП России, подчиненной своему ЦК".⁵

Коммунистические организации, которые до заключения приведенного выше договора действовали в Грузии нелегально под руководством Кавказского бюро, были этим договором узаконены, получили "самостоятельность", но этот акт вовсе не ликвидировал их принадлежность к РКП(б) и их непосредственную подчиненность Кавказскому бюро РКП(б). Напротив, именно эта принадлежность и эта подчиненность были грузинским государством легализированы.

Осенью 1920 г. доживала свои последние дни самостоятельная Армения. 29 ноября 1920 г. армянские большевики при помощи частей Одиннадцатой Красной Армии свергли армянское национальное некоммунистическое

5. Г. Сафаров, Национальный вопрос и пролетариат, Петроград, 1922, стр. 188.

правительство и провозгласили советскую Армению, которой стало руководить Кавказское бюро РКП(б). В Армении повторилась азербайджанская история, когда местное коммунистическое восстание было согласовано с вооруженными действиями Красной Армии. Это было вторым восстанием в Армении, но теперь оно окончилось для РСФСР успешно.

Коммунистическая партия Армении, как и Азербайджана и Грузии, была немногочисленной организацией, но ее задачей было провозгласить себя национальным представительным органом армянского народа и армянского государства и узаконить тем самым оккупацию Армении Красной Армией РСФСР.

Договор между РСФСР и Грузинской республикой начал наполняться конкретным содержанием. Организации, которые получили право пропагандировать коммунистическую программу и деятельность которых не могла быть грузинским правительством ограничена, подготовили антиправительственное восстание. Вооруженный путч начался в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года. Грузинские национальные силы, способные справиться с внутренним противником, не могли выстоять перед наступлением Одиннадцатой Красной Армии РСФСР, которая 25 февраля заняла Тифлис (Тбилиси) и провозгласила Грузинскую советскую республику. Последнее сопротивление грузинских меньшевиков (когда-то большевистских партнеров в единой социал-демократической партии России) было сломлено 18 марта, когда Красная Армия РСФСР вошла в Батумский порт. Таким образом, благодаря интервенции Красной Армии РСФСР возросло количество "независимых" национальных советских республик. Но содержание этого понятия "независимые" вполне разъяснил Сталин на совместном заседании закавказского бюро ЦК РКП(б), центрального и бакинского комитета коммунистической партии Азербайджана, которое состоялось 9 ноября 1920 года. В этом выступлении Сталин откровенно заявил, что он против независимости советского Азербайджана и что единственной причиной согласия партии с провозглашением советского Азербайджана было опасение, что местная буржуазия и националистическая интеллигенция будут обвинять советскую Россию в том, что она

захватила и оккупировала Азербайджан. Далее Сталин сказал: "Для того, чтобы вырвать это оружие из рук интеллигенции, мы должны сказать, что Азербайджан является независимой страной... Такая формальная независимость — это вопрос нашей политической стратегии".⁶ Позиция Сталина, который выступал за централизм и неограниченную диктатуру (что наглядно проявилось в 1922 г. при образовании СССР) не была случайной. Это была политическая концепция большевицкой партии, которую Сталин осуществлял, ни на миллиметр не уклоняясь от данной линии.

Но даже в этой формально независимой форме советских республик закавказские республики, как и другие республики договорной федерации просуществовали лишь до декабря 1922 года, когда их представители "попросили" включить эти республики в СССР.

Франтишек Силницкий

6. См. М. С. Куличенко, Борьба коммунистической партии за решение национального вопроса в 1918-1920 гг., Харьков, 1964, стр. 440. Речь идет о документах из архива ИИП КП Азербайджана, ф. I, оп.74, док. 36, лист 17-22.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ?

(ВАТИКАН ДЕРЖИТ КУРС НА КОНВЕРГЕНЦИЮ)

"И если за Тобой, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи, десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного?"

("Братья Карамазовы"*, *Легенда о Великом Инквизиторе*, Ф. М. Достоевский)*

"Церковь считает, что все на земле должно быть подчинено человеку, как средоточию и вершине этой земли!"

(Папа Павел VI, "Gaudium et Spes".)

Ватикан задает католикам все новые и новые загадки, чем вызывает смятение и недоумение.* Особенно сильно начало это проявляться со времени II-го Ватиканского собора. Ватикан исходит из предпосылки, что вслед за настоящей эрой социализма человечеству суждено будет перейти в эру коммунизма. К этому можно было бы относиться как к надвигающемуся несчастью, одному из тех, которые уже неоднократно угрожали человечеству в его истории, и изыскивать предохранительные средства. Но в том-то и дело, что папа верит, что социалистический строй духу христианства более отвечает, чем капиталистический, что ограничение свободы личности в рамках гря-

* Всё здесь сказанное косвенно и в различной степени относится и к Загорску, и к Женеве.

дущего коллектива с излишком вознаградится соответственным ростом нравственности. В результате Ватикан предпринял в последние годы ряд шагов на дипломатическом поприще, которые нельзя иначе назвать, как политикой разрядки напряженности, аналогичною той, которую проводил министр иностранных дел С.Ш.А. — Кисинджэр. Сюда надо отнести и договор Курии с Московским патриархатом, и договор с Югославией Тито, и демиссия (покойного) кардинала Мидценти в угоду венгерским коммунистам, и острастка, данная папой националистическому движению украинцев-униатов с кардиналом Андрием Слепым во главе, и давление на польский епископат в направлении дружественного сосуществования с коммунистическим режимом в Польше, и поддержка "левых священников" в Испании и Португалии, и дружественные связи с режимом на Кубе, и благожелательное отношение к арабским и негритянским странам "третьего мира", и пропалестинские симпатии на Ближнем Востоке, и заискивающая приветливость по отношению к красному Китаю. Верный своей генеральной линии Павел VI не преминул в августе 1975 года протелефонировать правительству генерала Франко в Испании и ходатайствовать о помиловании приговоренных к смерти баскских террористов, но не воспользовался этим случаем осудить террор, как таковой, и не подал голоса, когда несколько дней спустя испанские террористы снова убили нескольких полицейских; в ноябре же с.г. газеты оповестили, что папа послал свое особое благословение и приветствие архиепископу Капуччи, приговоренному израильским судом к тюремному заключению за контрабанду оружия и взрывчатых веществ в пользу арабских террористов. Нам неизвестно, объявлял ли святейший отец "урби эт орби", что террор осуждается церковью, как "смертный грех"! Итак, Ватикан идет на конвергенцию с коммунизмом.

В нашу задачу не входит рассмотрение положительных сторон реформаторства Павла VI в области церковной и богословской, хотя такие, несомненно, имеются. Политика "аджиорнаменто" все-таки имеет кое-какие светлые стороны. В том, что некоторые устарелые литургические формы отменяются как архаические и совсем непонятные современным людям, большой беды нет. Тому, что на II-м Ватиканском соборе значи-

тельно расширена экклезиология — можно только порадоваться. А вот уже всякие попытки *дружественного сосуществования и сотрудничества* с богочеловеческими системами — явно представляют прямую угрозу церковному миру.

15-го июня 1973 года состоялась в Загорске католическо-православная конференция, в резолюции которой, между прочим, сказано: "Обе Церкви одинаково признают, что социализм содержит позитивные начала", а "христиане обязаны их изучать и признать их ценность". Поразмыслим немного над этими начальными и их ценностями.

Исторически христианство зародилось в экономически бедной среде и распространялось в тогдашней эллинистической среде социальными, так сказать, низами... Рыбаки, пастухи, солдаты, рабы — по преимуществу. К ним, прежде всего, была обращена Нагорная проповедь: Блаженны.... нищие (духом)... плачущие... кроткие... алчущие и жаждущие (правды)... милостивые... чистые сердцем.... миротворцы... изгнанные за правду... Именно их назвал Иисус Христос "солью земли" и "светом мира". "Трудно богатому войти в Царство небесное". Евангельских текстов на эту тему можно подобрать множество. Христос, по-человечески, был ближе к угнетенным, обиженным, обойденным и голодным, чем к преуспевающим и владычествующим. Однако делать из этого вывод, как это теперь свойственно социализирующему клирикам и радикально-левым мирянам, что Иисус Христос был "социалистом", "реалистом", "социальным революционером" и т.п. — нет никакого основания. Не сказал ли Христос: "Царство Мое не от мира сего"? (Ин. 18, 36) Не материальные блага сулил Христос бедным, а "мзду многу на небесех". "...не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми *верой* и наследниками Царствия, которые Он обещал любящим Его?" (Иак. 2,5). Не ясно ли, о каком богатстве и о каком Царстве говорил Христос?

Само выражение "христианский социализм" надо принимать с большими оговорками, ибо "социализм" — слово многосмысленное. Взятый во всей растяжимости этого понятия, социализм враждебен христианству и поэтому "христианский социализм", как это уже заметил Бебель, заключает в себе "контрадикцию ин объекто". Целиком ни христианство не может

быть социалистическим, ни социализм — христианским. Объемы этих понятий, однако, отчасти перекрываются. С правильно понятым "христианским социализмом" мы имеем дело тогда, когда христиане на основах христианской этики определяют нормы взаимоотношений между людьми.

Явление "христианского социализма" есть попытка покрыть старый грех преобладающего большинства обществ западноевропейской культуры, воспринявших христианство лишь формально, или же ограничившихся участием в литургической, сакраментальной и мистической жизни церкви, или же сосредоточивших внимание на области дискурсивной теологии... но позволивших выпасть из жизни церкви одной из самых важных заповедей любви к ближнему со всеми их экзистенциальными импликациями. Если правда, что "душа человеческая по природе христианка" (Тертуллиан), то "мутатис мутандис" можно сказать, что человеческое тело — великий язычник.

Так и уживаются между собой эти различные стихии и в индивидууме, и в обществах, и в народах, причем как правило, телесный элемент всегда преобладал над духовным. Жизнь христианских государств в социальном аспекте мало чем отличалась от жизни государств языческих, духовенство же христианское больше заботилось о душах человеческих, чем о их телах. Не надо, однако, недооценивать харитативной роли католической церкви (в укор нам, православным, будь сказано!). Было много орденов, монастырей, братств, миссионерских и благотворительных обществ, делающих много добра и оказывающих много сострадания ближним. Католическая церковь, особенно же в лице папы Льва XIII (1878-1903), посвятила много внимания и затратила много труда для удовлетворения социальных нужд бедных классов. Сюда надо отнести и факт, что в С.Ш.А., например, существует огромное количество католических университетов, колледжей, школ, госпиталей, приютов и тому подобных организаций. Было много "католических акций" и в Европе. И делала это церковь, не оглядываясь на социализм. Но факт остается фактом: христианство, вернее — христиане, не преобразили социальные строи своих государств, а сами государства в своей политике руководились принципами эгоистическими, т.е. совсем языческими. Реформаторские и революцион-

ные брожения и начались в результате назревания протеста против существующего общественного уклада, протesta, рожденного из голода, холода, эксплоатации... Лишь позднее был подведен под эти движения политико-философский базис. А так как историческая церковь, добровольно или поневоле (как, напр. в период, ознаменовавшийся принципом: "куиус рэгио эиус рэлигио") поддерживала существующий порядок вещей (режим), будучи по природе консервативной, то революционное движение пошло заодно и против церкви. Забота о социальных правах народных масс, особенно же пролетариата, была по большей части инициативой людей нецерковных, а то и попросту противо-церковных, атеистов и богоборцев, принявших название социалистов.

Согласно принципу, что "природа не терпит пустоты", католическая церковь и решила: если суждено быть социализму, то надо пытаться его в меру возможности христианизировать...

Основные лозунги социализма — свобода, равенство, братство и сытость — оказались, на практике, сущим враньем. Кое-кто из нас убедился в этом на личном опыте, других, теоретиков, можно отослать к энциклопедии: "Архипелаг Гулаг".

Прощитируем слова А. Сахарова. В брошюре "О стране и мире" А. Сахаров утверждает, что последовательно проведенный в жизнь социализм привел в СССР ...к совершенному государственному капитализму и к тому же худшему — полицейско-монополистического вида. Как же это отразилось на жизни пролетариата, т.е. "народа", для которого-то и делалась революция? По свидетельству того же Сахарова советский рабочий зарабатывает одну двадцатую того, что зарабатывает американский рабочий. Обращаясь к американскому безработному, Сахаров восклицает: "... ведь даже снизив уровень жизни в пять раз, вы всё еще будете жить богаче людей самой богатой в мире социалистической страны". А как же выглядит современное общество в стране победившего социализма? "Венец социального портрета общества, — пишет он, — люмпенизация, развращение и трагическое спаивание огромной массы населения, в том числе женщин и молодежи. Потребление алкоголя на душу населения втрое больше, чем в царской России". Кроме медленного умерщвления огромного числа заключенных по

политическим и религиозным делам в лагерях и "психушках", в СССР ежегодно расстреляются от 700 до 1000 человек за уголовные преступления: убийства, спекуляцию и хищение государственного имущества.

Итак, на обороте революционно-социалистических знамен следовало бы написать: не-свобода, не-равенство, не-братство и нужда...!

В статье "Два пути социального движения" (Путь, №р. 4, 1926 г.) Б.П. Вышеславцев отмечает, что во всех социалистических теориях сочетаются традиции философской нищеты и юридического невежества. Наиболее опасным свойством этого мировоззрения, однако, является *смешение добра и зла*, которое он, ссылаясь на Вл. Соловьева, называет "игрой полуистинами".

"Такие полуистины, — пишет он, — обладают некоторым удивительным свойством: то, что в них истинно, не осуществляется никогда, а то, что в них ложно, осуществляется прежде всего и всегда. Ложь вводит в заблуждение и соблазняет своим "правдоподобием", равно как зло соблазняет своим "доброподобием". То, что в полуистине есть истинного, не искупаet ложь, не нейтрализует, как сода кислоту, а, напротив, усугубляет ее, превращая в самооправдание неправды, а не-правда, оправдывающая себя, есть самая великая ложь". И Вышеславцев добавляет: "Жестокость инквизиторов потому так ужасна, что она совершается из любви к людям, террор революции потому так преступен, что он совершается во имя свободы. Рабство коммунизма потому так безнадежно, что оно возвещает анархический идеал... угнетение рабочих потому так нагло, что оно делается во имя пролетариата. Самая страшная тирания есть тирания, одержимая идеей или прикрывающаяся идеей. Иллюзорное "величие идей" превращается в реальную величину преступления. Таково свойство "полуистин". Говорят: "в социализме есть нечто верное", и даже сам Соловьев так думал; мы должны на это сказать: тем хуже для социализма! ибо он тем более ложен, чем более "правдоподобен". (Стр. 127)

И совершенно правильно замечает Вышеславцев дальше, что "весь либерально анархический фасад социализма есть

раскрашенный гроб, предназначенный для того, чтобы не испугать мертвой головой коммунистической тирании". (Стр. 128).

На тему "Проблема 'христианского социализма'" написал интереснейшую статью и другой выдающийся русский философ, С.Л. Франк.*

На первый взгляд, говорит Франк, каждый христианин должен быть "христианским социалистом", поскольку речь идет о действенной любви к ближнему и чувстве ответственности за его материальную судьбу. Но подлинная "социалистичность" этим не ограничивается. При близком рассмотрении вопроса сразу же возникают две проблемы, по отношению к которым христианин должен определить свою позицию.

Во-первых, социализм утверждает (и не без основания), что на личную благотворительность и чувство христианского долга по отношению к ближнему возлагать большие надежды не приходится, и что социальные проблемы должны решаться в принудительном порядке путем государственных социальных реформ;

Во-вторых, социализм считает, что буржуазный (капиталистический) строй неизбежно приводит к обогащению немногих за счет нужды и нищеты большинства и что, поэтому, он должен быть заменен строем социалистическим, "при котором экономическая жизнь и распределение народного дохода регулировались бы, в интересах справедливости, государственной властью или вообще каким-либо планомерно действующим органом коллективной народной воли (партией?)".

Каково должно быть суждение христианина об этом?

Если христианское учение притязает на то, что в христианстве заключена вся истина целиком, то в ней, в свою очередь, должна заключаться и истина о социализме. Поэтому христианину нельзя попросту отмахнуться от навязывающихся социальных проблем. Решение, данное в этой области С.Л. Франком, очень знаменательно.

Подходя к вопросу социализма, равно как и ко всякому

* Статья эта была сначала напечатана в журнале "Путь" (1939 г.), затем в сборнике "По ту сторону правого и левого" (Имка Пресс, 1972), а затем и в "Зарубежье", №р. 41-42, 1974.

другому важному вопросу, христианин должен помнить о том, что "христианскому жизнечувствию и жизнепониманию присуще сознание коренной, "нераздельной и неслиянной" до конца мира и его чаемого последнего преображения *неустранимой двойственности сфер бытия*, в котором живет и которой причастен христианин. В каких бы словах мы ни формулировали эту двойственность — как царство "небесное" и царство "земное", как внутреннюю жизнь с Богом или "во Христе" — и жизнь в "мире", как сферу "Церкви" (в основном, мистическом смысле этого понятия) и сферу "мира", или как сферу "благодати" и сферу "закона", — самый факт этой двойственности и его существенный смысл непосредственно понятен и очевиден всякому сознанию, внутренне причастному христианскому откровению".

В результате первого вывода, который можно сделать из этой установки, будет "сознание, что земными нуждами во всяком случае не исчерпывается нужда человека, более того — что духовная жизнь и ее нужда обладают неким онтологическим *приматом* над жизнью земной и ее интересами".

Конечно, исходя из любви к ближнему, христианин будет приветствовать всякие реформы, облегчающие жизнь человека. "Однако, при всем принципиальном сочувствии социальным реформам, поскольку последние выражают в сфере организованной коллективной воли заботу о судьбе близких, христианин никогда не сможет считать такое организационное преобразование человеческих отношений *единственным* и даже только *наиболее существенным* путем к преодолению человеческих бедствий. Ибо он знает, что эти бедствия и общий трагизм человеческой жизни имеют более глубокий, внутренний духовный источник, недоступный никаким политическим мерам".

Иными словами, материальные нужды, в христианской перспективе, не суть самые существенные нужды, а во всяком случае укоренены они там, куда никакие декреты не проникают. С такой позиции становится ясно, что христианин не может разделять те социалистические мнения, которые покоятся на материализме, на вере в исключительность земных благ, на возбуждении классовой ненависти, на разжигании инстинктов корысти и зависти. Больше того, не будучи социальным утопис-

том, христианин не сможет быть ни политическим или социальным революционером, ни террористом, ни анархистом, ни социальным или политическим фанатиком.

"С одной стороны,— пишет С.Л. Франк,— он отклонит, как гибельное заблуждение, великий радикальный переворот в социальных отношениях, который всегда опирается на надежду сразу, единым взмахом избавить человечество от всех или хотя бы от наиболее существенных его бедствий. Так как он заранее знает, что все человеческие реформы суть *палиативы*, что с отстранением одних бедствий, особенно чувствительных в данный момент, обнаружатся другие бедствия, о которых люди сейчас не думают,— то он будет склонен отдавать преимущество постепенным и частичным реформам перед всякого рода мнимо-спасительными переворотами, связанными с великими потрясениями. *Именно в силу своего религиозного радикализма*, именно в силу своей *надмирной позиции*, христианин будет в сфере социально-политических реформ *умеренным и реалистом*; в отношении всех мирских забот и планов он отдаст предпочтение "здравому смыслу", основанной на жизненном опыте холодной мудрости перед всяким страстным энтузиазмом, рождающимся из слепой и ложной веры. И с другой стороны, имея опыт духовной основы всей человеческой жизни, он всегда будет сознавать, что даже самая разумная и целесообразная социальная реформа, т.е. организационная перемена внешних условий жизни, может быть подлинно плодотворной лишь в связи с внутренним, нравственным и духовным улучшением самих людей. Он никогда не забудет, что единственное, чему можно приписать универсальное значение в человеческой жизни, есть забота о внутреннем духовном строе человеческой души. И в этом отношении он поэтому тоже отдаст предпочтение постепенным реформам, связанным с перевоспитанием человека, с улучшением внутренних навыков его жизни, перед *всякими поспешными, внезапными и радикальными переменами*".

На самом деле практика показала, как мы об этом упомянули уже выше, что коммунистический строй не только не устраниет социальных бед, а наоборот, усугубляет их почти во всех областях жизни. Но нас здесь интересует не экономический или правовой аспект социализма, а нравственно-религиозный, и

вот в этой связи Франк выдвигает весьма важное соображение:

"Можно ли и дозволительно ли, — спрашивает он, — с точки зрения христианского сознания, добиваться справедливого, братского отношения к ближним с помощью *Принуждения*? Может ли христианская заповедь любви к ближнему быть превращена в *принудительную норму права*? Ответ на этот вопрос, думается, совершенно очевиден: он состоит в том, что это и *фактически невозможно, и морально и религиозно недопустимо.*"

Вот именно здесь намечается расхождение между христианской этикой и социалистической. Следующие слова Франка попадают "не в бровь, а в глаз" сторонникам "христианского социализма":

"К самому существу христианской веры принадлежит, что христианин стоит перед тяжкой альтернативой: либо он остается со Христом, т.е. с христианским идеалом жизни, основанном на свободной любви, — ИДЯ ПРИ ЭТОМ НА РИСК ВНЕШНЕГО НЕУСПЕХА СВОЕГО ДЕЛА (выделено нами, и. Г.), — либо же он поддается стремлению облегчить человеческие нужды с помощью земной, внешней силы принуждения, — и, тем самым, фактически отрекается от истинного существа христианской жизненной установки, осуществимой лишь при полной внутренней свободе и отрешенности от мысли о внешнем успехе. Последний член этой альтернативы не перестает быть искушением, впадением в ересь оттого, что побуждением к нему служит благородный, морально правомерный мотив любви к людям. И положение тут таково, что чем отзывчивее человек на чужие страдания, чем более страстно он ищет правды в человеческих отношениях, тем легче ему впасть в это заблуждение".

Вот эти слова, как нельзя лучше, определяют антропоцентристическую позицию и политику Павла VI; мы к этому еще вернемся.

Имея все время в виду ту *двойственность*, о которой речь была выше, Франк пишет, что для христианина существуют два пути овладения жизнью: внутренний путь *преображения* и внешний путь *ограждения* жизни в пределах мира от зла и содействия тем формам и начинаниям, которые имеют в виду победу правды и добра. Ни государство, ни общественный строй в его материальном аспекте, по существу, не может быть "христиан-

ским", ибо термин этот прежде всего относится к Церкви, хотя церковность и может, и должна, пронизывать, просвечивать изнутри всякий внешний мирской и лаический строй. Однако для христианина совсем не безразлично, каков этот строй.

"С точки зрения христианской веры и христианского жизнепонимания предпочтение имеет тот общественный строй или порядок, который в *максимальной мере благоприятен развитию и укреплению свободного братско-любовного общения между людьми*. Сколь бы это ни показалось парадоксальным, но таким строем оказывается не "социализм", а именно строй, основанный на хозяйственной свободе личности, на свободе индивидуального распоряжения имуществом. Ибо социалистический строй, лишающий личность свободного распоряжения имуществом и *принудительно осуществляющий социальную справедливость, тем самым лишает христианина возможности свободно осуществлять завет христианской любви* (конечно, в той мере, в какой осуществление христианского завета вообще зависит от внешних условий). Социализм — не в какой либо случайной, отдельной форме своего осуществления, а в самом своем существе и общем замысле — есть система жизни, *отвергающая христианский идеал свободной братской любви* (с ссылкой на его неосуществимость ввиду эгоистической природы человека) и заменяющая его государственно-правовым, т.е. *принудительным* осуществлением социальной справедливости. Напротив, правовой строй, признающий свободу личного распоряжения в хозяйственной жизни, есть необходимое или, по меньшей мере, наиболее благоприятное условие для осуществления христианской любви вплоть до пожертвования всем своим имуществом и свободно-любовной общности имущества".

Что может лучше изобразить ложность той установки, которую избрал глава Ватикана?

"Для христианского сознания, — заключает С. Франк, — есть только один выход из этой трудности, но выход совершенно очевидный и возвращающий нас — после всего этого ориентирования в производном слое христианской жизни — к центральной христианской жизненной установке. Христианская *вера* есть, ведь, по самому существу нечто парадоксальное, т.е. противоречащее жизненному "опыту", "мудрости века сего". Так и в рас-

сматриваемом вопросе. Перед лицом трагической социальной судьбы человечества, сознавая свою христианскую ответственность за нее, надо, вопреки всякому опыту, верить во всепобеждающую силу жертвенной братской любви к людям и проповеди этой любви".

Исходя из факта, что феодальная эпоха канула в историческое прошлое, а за ней туда же устремляется и эпоха капиталистическая (не утверждает ли этого социализм?), надвигается же на весь мир эпоха коммунистическая, и видя, что процесс этот непреодолим, Ватикан считает, что благоразумным будет приспособляться к новым обстоятельствам, возможно даже, что на весьма долгое время. Ватикан и Москва, поэтому, ведут себя, как два игрока в покер: говорят то, что необходимо следуя из правил игры, но так, чтобы не открывать свои карты противнику. Ватикан делает вид, что не принимает всерьез богочестия коммунизма, а Москва делает вид, что верит этому. Ватикан думает: коль скоро весь мир движется к коммунизму, то дай-ка я попытаюсь ухватить в руки бразды этого направления... а там посмотрим! А Москва думает: коль скоро Ватикан помогает нам создавать это направление, то мы будем делать вид, что мы попутчики ему; когда же субверсия свободного мира будет завершена, тогда мы примемся и за Ватикан... Неизвестно, кто кого "переблефует".

Возникает только вопрос, можно ли богочеловеческую реальность Церкви устраивать так по-человечески?

Однако, помышления Павла VI — оставим на попечении Судьи, целесообразность его политики — оставим суду Истории. Но есть один аспект его деятельности, удобоподтвержденный суду самого рядового мирянина: живет ли святейший отец НЕ ПО ЛЖИ? И вот на это, положа руку на сердце, нельзя ответить утвердительно. Словом можно излагать мысли, но можно их же скрывать. Грешить же можно "словом, делом, помышлением, ведением и неведением" и...умолчанием там, где "камни волиуют".

Когда по адресу всего левого слушаешь его слова — неизменно приветливые, доброжелательные, всепрощающие и благословляющие и ни одного слова осуждения; когда слышишь его

слова, порицающие у правых то, что в стократных размерах наблюдается у левых, но о чем не говорится (о! дипломатия!), то невольно начинаешь думать, что подлинно настали времена, когда, вопреки поговорке, приходится быть *plus catholique que seul pape.*

Игумен Геннадий.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ

Если бы немцы так же чувствительно реагировали на свое прошлое, как французы, они бы уже давно покончили с собой.

После всего девяти дней и сравнительно небольшой демонстрации был снят с экрана фильм "Давайте петь под оккупацией". В фильме были показаны те, кто своим искусством развлекал немецких оккупантов, — Морис Шевалье и Шарль Трене, прекрасная Арлетти и менее прекрасный Фернандель. Но интеллектуалы Франции вряд ли стали бы говорить о "скандале" и об "охоте на ведьм", если б продюсер Халими не взял на мушку некоторых интеллектуалов — католика Поля Клоделя, экспрессиониста Жана Кокто, но особенно, — этому едва можно поверить! — экзистенциалиста Жан-Поля Сартра. Все они искали похвал тех, относительно кого еще Гейне писал, что он боится, что их "кожаные сапоги" будут попирать "священную землю бульваров".

Жан-Поль Сартр, поэт и философ, который во имя преданности и чистоты левой линии отклонил Нобелевскую премию, сотрудничал с немцами?

*Ганс Хабе — очень известный немецкий писатель и публицист. Самый популярный его роман "Сеть" повествует о психических искажениях современной молодежи, ведущих ее в преступный мир. Последний нашумевший его роман "Палаццо" посвящен судьбе Венеции. Хабе является также автором "Воспоминаний", где он дает тонкий и глубокий анализ духовных течений нашего времени. Прим. ред. "Голоса Зарубежья".

Я вижу его перед собой как живого, маленького, полуслепого, с такой энергией настоящего на том, чтобы засвидетельствовать свое уважение террористу Андрею Баадеру, заключенному штутгартской тюрьмы, и бросившего на чашу весов весь свой престиж, чтобы побудить мир поверить в ложь, в то, что в Западной Германии пытают политических заключенных. Сейчас Сартр так чувствителен по отношению к террористам, а тогда был равнодушен, несмотря на концлагеря в Гюре и Ривесале, — как это может быть?

Страшно даже пытаться заглянуть в глубину души г-на Сартра. Не так давно скончался другой великий философ-экзистенциалист, Мартин Хайдеггер, и больно вспоминать о его коричневом прошлом. Он, не смущаясь, читал "арийским" студентам свою философию экзистенциализма, в то время как СА гнали из университетов и арестовывали еврейских студентов.

Не экзистенциализм ведет к существованию с насилием, к нему ведет элитарное мышление, которое типично для всего современного интеллектуализма.

Интеллектуальность отвернулась от интеллигенции. Она не "правая" и не "левая", она прежде всего антинародная.

Впервые в истории интеллектуалы не являются акушерами какой-либо идеологии, они стремятся исключительно к элитарной власти, своей собственной власти, конечно. "Народ" им безразличен, но они его не боятся. Они боятся демократической, стало быть, антиэлитарной интеллигенции, которая видит интеллектуалов насеквоздь. Интеллектуалы на самом деле стоят не за ту или иную диктатуру, они просто против всякой демократии.

Воспользоваться для своей цели коричневым или красным сапогом? Разве это не противоречие? — Нет, если в это вдуматься.

Интеллектуал, который с подсознательным чувством безнадежности стремится к господству элиты, — евнух власти. Властность красных или коричневых падишахов импонирует ему чрезвычайно; у него интимные отношения с властью. Жан-Поль Сартр не имеет ни малейшего понятия о том, чего добивается Баадер, но он знает, что у Баадера есть мускулы, которых нет у Сартра. Примитивному Андрею Баадеру казалось, что анархизм

— это путь к коммунизму, интеллектуальному Жан-Полю Сартру коммунизм представляется путем к экзистенциальному анархизму. К тому же диктатура, даже если она выдает себя за народную, в действительности всегда элитарна. Гитлер строил "орденские крепости" и мечтал об аристократии кавалеров ордена "Рыцарского креста". Социализм строит свои "орденские крепости" внутри высших школ. Интеллектуал, будучи обычно политически совершенно необразованным, не понимает, что власть элиты, к которой он стремится, не имеет ничего общего с плебейской элитой фашизма и социализма. Политический сапог интеллектуала протаптывает путь тому сапогу, который раздавит и его самого.

И, наконец, от эзотерического презрения к человеку, которое характеризует в наше время интеллектуала, до вульгарности — всего один шаг. Интеллектуал уважает только тех, кто подобен ему, но презирает тех, кто на него похож, а именно — интеллигента. Он надеется позже справиться с СС-овцем или с красноармейцем. Он уважает его не больше, чем собаку, но считается с ним как с собакой слепого, которая выведет интеллектуальную элиту к свету.

"Сартры" не могут быть искренними, иначе им пришлось бы признать, что их прошлое делает их незаслуживающими доверия в настоящем. Их сердце бьется ни "направо", ни "налево", оно не бьется ни для Франции, ни для Германии, ни для всего мира. Оно бьется только для сартров. И у людей с этим сердцем нет характера.

Ганс Хабе

РОДНАЯ ЧУЖБИНА

Когда я уезжал из России, мне было, без полугода, тридцать лет. Уже по одному этому, да еще и по неискоренимой — как оказалось — привязанности моей к русскому языку, никакую другую страну не могу я ни ощутить, ни признать своей родиной, кроме России. Не чувствую родиной и Францию, хоть и прожил в Париже больше полувека. Писал по-французски. Стал — на время — французским писателем. Могу предъявить даже и официальное свидетельство об этом в виде почетного звания, полученного мной в этом именно качестве. У меня давно уже и паспорт французский и я с полным удовлетворением себя сознаю лояльным гражданином Франции. Но французом я себя все-таки не ощущаю. По-французски все реже и пишу. Хочу жить в родном языке до конца моих дней. А если Бог даст, то и немножко подольше.

Итак, на чужбине я прожил пятьдесят два с лишним года? Да, не на родине, но на чужбине все-таки родной. Не сочувствую соотечественникам моим, изгнанным или по собственной инициативе уехавшим из России, которые этого родства не чувствуют. Жалею их впрочем, так что в этом смысле сочувствую, но, как они, чувствовать не могу. Не только относительно Франции, но и других европейских стран, даже и заокеанских (как обе Америки и Австралия). Я родился в Европе, в европейско-русском городе Петербурге, и какой бы азиатчиной наши скиро-марксисты ее ни пичкали, продолжаю считать Россию европейскою страной. Уехав из России на Запад, я остался в Европе, очутившись на чужбине, которая уже в России не казалась мне чужой, которую уже в России научился я уважать,

почитать, любить. Как родную любить? И да, и нет. Скажем, как невесту, которая была бы и двоюродной моей сестрою. Вполне понимаю, что возможно полюбить и совсем чужое — Индию, Японию. Зато совсем не понимаю, как это возможно русскому Европу не любить. Это значило бы, что он "Моцарта и Сальери", "Каменного гостя" не любит, что он Ломоносова, Державина, Карамзина и всех их преемников русскими не считает. И что он любит Россию без ее культуры или с одной ее крестьянской, горизонтальной (как я ее зову) культурой, которая давно уже не двигалась, а вырождалась и которой попросту больше нет.

Правда, Европу образуют разнообразные страны, народы, языки. Все это знать и любить в одинаковой мере невозможно. Этого однако, никто и не требует от нас. Прошлое наше требует от нас лишь того, чтò для русского и вообще, на мой взгляд, вполне естественно: любить свою русскую Европу, и тем самым быть готовым и всякую другую, "чужую", нерусскую Европу полюбить. Французскую, например. Пожалуй даже в самую первую очередь именно ее, французскую. Не понимаю, как может сколько-нибудь просвещенному русскому человеку безразлична быть Франция, прошлое которой, и уже сам ее язык, столь тесно связаны с русским прошлым, что величайшему нашему поэту, по собственному его признанию, легче было писать, как деловые, так и любовные письма по-французски, чем по-русски. Да и так естественно было сказать: "Любви нас не природа учит, / А Сталь или Шатобриан". Изречение это не только мудро вообще, но и совершенно точно исторически. Христианской любви нас, правда, учили — помимо церковных проповедников — Владимир Мономах и протопоп Аввакум (когда о своей Марковне говорил), но не поэтизации языческой любви (с участием, хоть и тайком, того же христианства).

Конечно, Франция не заменяет русскому не только России, но и других европейских стран. Франция — не моя родина, не только потому, что я родился и вырос в России, но и потому что, при другом стечении обстоятельств, такой же полуродиной, родной чужбиной, могла бы стать для меня Италия, Германия, Англия, а в принципе и любая другая западная страна, европейская или пусть только дочерняя в отношении Европы. Однако

Францию выбрал я, уезжая на Запад, все же не случайно. И не только из каких-нибудь практических соображений (потому, например, что французский язык был мне ближе других знаком), но из заочной к ней любви, — к ней, к ее языку, ее литературе, ее искусству. И рад я был не только уехать, что мне удалось не без больших хлопот, но и — приехать. Приехал-то ведь я не куданибудь, а в Париж. Такой приезд показался мне едва ли не важней самого отъезда. И не преминул я при этом, конечно, обоих Пушкиных вспомнить, и дядю, и племянника. И стишок Василия Львовича: "Друзья, сестрицы, я в Париже, / Я начал жить, а не дышать...". И письмо Александра Сергеевича Вяземскому (май 1826 года): "Если царь даст мне свободу, я месяца в России не останусь. Услышишь: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится".

Проклятие едва ли тут было таким уж серьезным, но что вполне показательно, это что "удрать" Пушкин собирался именно в Париж. Не отпустил его царь; так он в Париж и не попал. Не повезло ему, говорил я себе, гуляя по набережной Сены — левой, конечно, там, где книги продают. А мне повезло: "удрал". Хоть и с паспортом, но хитростью полученным. Приехал в Париж. Живу в Париже. Вспоминал я при этом еще и комического героя одного из рассказов Горбунова, который, попав в Париж, объявляет, что разве лишь мертвым его оттуда вывезут. *Его* Париж правда, не мой Париж, как не моим Парижем увлечен был уже и "дядюшка Василий Львович". Веселил меня не тот, что веселится. Не легко мне было здесь и жить, особенно в первые годы. Но именно тогда больше всего и радовался я, что живу именно здесь. Денег, вырученных за продажу отцовского кольца с бриллиантом хватило мне на три четверти, примерно, года. Литературные заработки были ничтожны. Пробавлялся частными уроками. Но устраиваться получше не торопился. Хлопотать об этом, времени у меня не было: Париж у меня все мое время отнимал. По утрам, почти ежедневно, ходил я в Лувр; днем осматривал церкви, посещал большие и малые выставки, занимался в библиотеках историей старого и нового французского искусства. Ощущал себя гораздо реже эмигрантом, чем этаким свободным путешественником, как за двенадцать лет до того в Италии. Жил сперва возле Тюильрийского сада, потом

возле Люксембургского. Как полюбил я и тот, и другой! И как, с самого начала полюбил я также оба острова: тот, на котором высится Нотр Дам и, во дворе Дворца Правосудия, та волшебная, невсамделишная Святая Часовня, начали строить которую при Людовике Святом; но и другой остров, поскромнее, названный именем этого короля, с высокими деревьями тихих его набережных и старинными домами, в двух из которых, позже, я нередко бывал у моих друзей. И еще я тогда же, с первых месяцев, особое пристрастие возымел к Собору Инвалидов, гениальному созданию младшего Мансара, строителя Версальского дворца. Я конечно, не гробницу Наполеона полюбил, которая всего лишь мешает стать в центре под куполом и тем самым узреть совершенство внутренней архитектуры храма; нет, я именно храм этот полюбил, наружным видом которого ничто не мешает любоваться. Фасад его и купол не искажены ничем. Для меня они — самый незапятнанный и очевидный образ всего наиболее французского в духовной жизни Франции.

Архитектура этой церкви зависит, разумеется, от Италии. В частности от той фазы в развитии римского барокко, которая вновь выдвигает на первый план его никогда не забывавшееся классическое наследие, путем известного рода укрощения буйных его, через край переплескивающих сил. Но столь насквозь интеллектуальной архитектуры, как эта, не породил ни один итальянский зодчий, как и ни один из их учеников по сю сторону Альп. В интеллектуальности этой нет никакой сухости, нет ничего только надуманного, кабинетного, нет ни малейшего академизма, хотя неопытный глаз именно в нем склонен будет Мансара обвинять. Тут, как в театре Расина, чем отчетливей, вычерченней, тем живей и страстней. Тем даже, позволительно сказать, чувственней; но сама чувственность эта бесплотна, — живость нервов больше, чем мускулов, сопряжение лишенных не только жира, но и мяса тел, не знающая тяжести духовность. Классическая антично-итальянская система форм тут внутренне приближается к готической, — такой она достигает четкости членений, стройности пропорций, дематериализирующей отполированности всех профилей и плоскостей. — Такова и Франция. Таково все самое французское и во французской поэзии, живописи, скульптуре, литературе.

И что ж? Все это — чужое? И поэтому нам ненужное?

Во-первых уже само "поэтому" здесь — абсурд. Мансаруто, например, ведь необходима была итальянская архитектура, без которой это его творение исторически немыслимо, да и попросту непредставимо. А во-вторых это искусство, именно в заостренной французской своей, вовсе нам и не чужое. "Нам", то есть русскому духовному миру, уже предпушкинскому, а позднейшему и того менее, если не считать культурных наших провалов — частичного, во второй половине девятнадцатого века, и гораздо более, чем частичного в двадцатом. Франция или вернее французскость очень нам нужна. Париж нам нужен, — не теперешний, а всегдашний, который и в теперешнем не так уж безнадежно погребен. Нам нужна та дисциплина четкости, точности, которой веками славился французский ум и язык, и все то французское, без прививки чего не только не было бы у нас ни Пушкина, ни пушкинской России, но даже — очень я боюсь — не существовало бы и попросту России достойной Пушкина.

*

Нынешняя Россия, сравнительно с прежней, очень обруслена. До того обруслена, что в ней и России не узнать. Что такое "мерси" и "пардон" не знает: слова эти, в изданиях наших классиков неизменно переводятся подстрочно. "По-английски пред самоваром/ Узорно хлеба не кроши", (зато сам этот хлеб, за недохватом своего, выписывает, — правда не из Англии. "Не увлекается "Сен-Маром"... Я конечно понимаю, что увлечения некалмычек этим романом Винни Пушkin вовсе и не одобрял, и мелким англоманиям тоже не сочувствовал; но едва ли особенно и огорчался тем, что роман этот читают соотечественницы его не в переводе, а по-французски: сам он, особенно в последние годы жизни, весьма усердно читал французские (как и английские, пусть и не без труда) журналы и, например, совершенно самостоятельно оценил стихи Сент-Бева (как и столь же самостоятельно "открыл", для себя, и стихи, и прозу Кольриджа). Толстой, одно время, носил на груди медальон с портретом Руссо, вместо образка. Достоевский воспитался на трагедиях

Корнеля и Расина, что сыграло несомненную роль в зарождении его собственных романов-трагедий, и что объясняет, в свою очередь, увлечение ими молодого Клоделя (мне случалось узнать из его собственных уст, что именно драматургией Достоевского был он увлечен читая его романы). Относительно связей наших с Францией и тем самым, конечно с Парижем, в начале нашего столетия, не стоит и распространяться. Но после золотого и серебряного века, у нас, минуя всяческую бронзу или медь, воцарился, безо всяких колебаний, железный, и вся родная чужбина стала русачкам нашим попросту чужой. Я уверен — я даже знаю — исключения встречаются. Но правило, увы, только подтверждается ими. Русичи одни на ее земле живут, русаки, московиты (вроде описанных Олеарием и Герберштейном), а когда попадают оттуда на Запад, ой как им тут холодно и неуютно, какая это горькая, для них, чужбина, где нет ни воблы, ни "Литературной газеты", ни черных сухарей. Иным уже и Пушкин начинает казаться каким-то чужеземным фертиком. Недаром в Лицее прозвище его было "француз".

Кажется вышла уже в свет (но я ее еще не видел) книга стихотворений недавнего выходца из Советского Союза, Юрия Иофе, "Вне России". Некоторые стихотворения из этой книги я, однако, читал, — без особого одобрения, как и без особого неодобрения. Но стихотворение, напечатанное 24-го октября 1976 года в "Новом Русском Слове" меня задело за живое. Оно, как и заглавие книги самое непосредственное имеет отношение к теме о чужбине — родной или чужой. — Третья строфа этого стихотворения гласит:

Хожу, гляжу, ничего не вижу.
Закат над миром тяжел и рыж.
И что мне проку, скажи, с Парижу?
А здесь — чужое. А здесь — Париж...

Стихи эти, — надо иметь в виду, — написаны не в Париже, а в маленьком немецком (гессенском) городке Вейльмюнстере; в Париже автор может быть еще и не побывал. Он уже, однако, знает, что проку для него в Париже — никакого, и что городок ли этот или Париж — всё одно. Раз ушла от него Россия (как сказано в первой строфе) "за толщи лет и за тыщи верст", все прочее — трин-трава. "Древний Запад" называет он западней.

Повсюду

Чужие стены. Чужие башни.
Чужие жизни, чужой охват.

Что такое, в данном случае, "охват" не очень мне ясно. Но я убежден, что этот охват у русских людей, уезжавших — даже и навсегда — из России, а не из СССР, был не в такой уж мере чужд "охвату" жителей "древнего" Запада. Думаю поэтому, что заглавие книги Юрия Иофе и неточно, и, с литературной точки зрения, беспомощно. Цветаева-то ведь назвала свою "После России", а не "Вне России". Было ею этим высказано нечто и о самой России, а не только о местонахождении автора или о том, где написаны печатаемые им стихи. Разве "Россия" — да еще для писателя, для поэта — всего лишь географическое понятие? Покуда ты пишешь стихи, стишкы, прозу, что угодно по-русски, ты в России, а не вне ее. И твоя верность русскому языку важней, чем твоя тоска по обозначаемым теперь четырьма буквами просторам. Вне России, это еще не без России. А после России — увы — живут и те, кто нынче живут в СССР.

Очень мне грустно, что все это я должен объяснять соотечественникам моим, взорванным Россией, после того, как она перестала быть Россией. Разъяснить, что для *России* не был Запад чужбиной, а если и был, то чужбиною родной. Но почему я рад, так это, что строчкой

И что мне проку, скажи, с Парижу
отомстила-таки автору та Россия, о которой он забыл и вне которой, благодаря этой строчке, он и в самом деле оказался. Русский язык его подвел или покарал. Сдается мне, что по-украински и по-польски можно сказать "с Парижу". По-русски, во всяком случае, так ни писать, ни говорить нельзя.

Жаль мне Вас, бедный поэт. Недоучила Вас русскому языку та не совсем Россия (чтобы помягче выразиться), которая для Вас — вся Россия. Тоскуйте по ней. Никто вам этого не запрещает. Но только, пожалуйста, отныне на вполне русском языке.

B. Вейдле

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

М.В. ВИШНЯК

В августе 1975 года на 94 году жизни в Нью Иорке, в госпитале св. Луки скончался Марк Вениаминович Вишняк. М.В. был видным публицистом первой эмиграции (был таковым и в России 1917 года в эс-эрковской печати) и видным общественно-политическим деятелем. Здесь, в Америке М.В. долгое время много писал в "Новом Журнале", был членом Корпорации "Нов. Журнала" первого состава. С чувством товарищеского и общественно-литературного долга я хочу отметить кончину М.В., как выдающегося человека и заслуженного ветерана зарубежной литературы.

Я очень хорошо знал М.В. в течение долгих лет. Знал его большие достоинства, как человека и политического деятеля. Одно время мы очень дружили и встречались почти ежедневно, так как М.В. с своей горячо им любимой женой, милой Марией Абрамовной жили в том же доме, что и мы с женой. Знал я, конечно, и человеческие слабости М.В. (а у кого их нет?). Характер у М.В. был трудный, неровный, подчас совершенно невозможный, что он и сам знал. Он легкоссорился с людьми из-за сущих пустяков и при этом мог "возненавидеть навеки". Что меня в конце-концов, кажется, и постигло. Но я не принимал эти черты характера М.В. всерьез, и у меня в отношении к нему никогда не было "недобрых чувств" при его жизни. А уж после его смерти я хочу вспомнить его на этих страницах только как ценного и выдающегося человека.

М.В. родился в Москве в 1883 году в ортодоксальной

еврейской семье. В Москве он окончил гимназию и университет по юридическому факультету, после чего был оставлен известным государствоведом Ф.Ф. Кокошкиным при университете для подготовки к профессорской кафедре по государственному праву.

Но жизнь М.В. сложилась иначе. Он увлекся политикой, вступив в нелегальную партию социалистов-революционеров, в какой-то время состоял всю свою жизнь. М.В. знал аресты, побеги, эмиграцию. В февральскую революцию 1917 года М.В. сотрудничал в главных эсеровских газетах: — "Труд" и "Воля народа". И вместе с Ф.Ф. Кокошкиным (вскоре зверски убитым большевиками) был деятельным членом комиссии по подготовке выборов в Учредительное Собрание.

В печальном однодневном Учредительном Собрании М.В. был избран секретарем этой Всероссийской несостоявшейся конституанты. При чем изданная в эмиграции солидная книга М.В. "Учредительное собрание" является и поныне главным первоисточником для истории этого, разогнанного большевиками, учреждения.

Живя в Париже, кроме этой книги М.В. опубликовал биографии двух видных политических деятелей-евреев: "Х. Вайцман" и "Леон Блюм". Но лучшими книгами М.В., по-моему, останутся те, что были опубликованы им в Нью-Йорке: "Дань прошлому" (воспоминания с детства до эмиграции из Парижа в Нью-Йорк) и "Современные записки" — единственный серьезный труд об этом замечательном русском "толстом" журнале, бесменным секретарем редакции которого был М. В.

За свою жизнь М. В. написал великое множество публицистических статей — в "Совр. Записках", "Русск. Записках", "Нов. Журнале", "Последних Новостях", "Днях", "Нов. Рус. Слове", "Народной Правде", "Соц. Вестнике" — всего не перечислишь. Да это и не нужно. Важно, по-моему, только подчеркнуть основную линию всего написанного М. В. Эта линия: — полная его непримиримость к большевизму. М. В. ненавидел большевизм как антикультуру, антисвободу, антиправо, и всегда страстно выступал за "правду антибольшевизма".

Свою книгу воспоминаний "Дань прошлому" (1954 г.) М. В.

заканчивает так: "Когда в июне 40-го года одна только Англия, изнемогая в неравной борьбе, продолжала сопротивляться, Черчиль произнес в Палате Общин незабываемые слова: "Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, на морях и в океане, мы будем драться в воздухе, будем защищать свой остров любой ценой, на побережье, и там, где приземляются самолеты, в полях, на улицах и на холмах — но мы не сдадимся". Что в западном мире, — пишет М. В. — и еще поразительнее, в русском политическом зарубежье не создалось аналогичного отношения к большевицким узурпаторам и палачам, является едва ли не наибольшей трагедией современности".

Вспоминаю замечательную статью М. В. в "Новом Русском Слове". Тема ее: надо ли было делать русскую революцию, если бы знать, во что она превратится? И М. В. твердо и ясно ответил: — Нет. Не надо было. Так писал М. В. Вишняк — старый эсер, всю сознательную жизнь до революции отдавший делу подготовки русской революции. Но — М. В. по-настоящему любил Россию и ее культуру. Он был подлинным *русским интеллигентом* в самом хорошем и высоком смысле этого понятия. И именно поэтому он и ненавидел так страстно большевизм, с которым боролся как мог в продолжение всей своей жизни на Западе. Да будет легка ему чужая земля свободной Америки.

Роман Гуль

Д. В. ГРИШИН

Дмитрий Владимирович Гришин родился в 1908 году в Саратовской губернии, близ г. Камышина. На Волге больше, чем в других местах, сохранились старые обычаи и народные песни, а Поволжье было местом больших народных волнений в XVII-XVIII веках. Юный Гришин еще в школе интересовался народной жизнью и русским фольклором, а в более поздние годы начал изучать русскую литературу XIX века, как сокровищницу русской культуры. Высшее образование он получил в Саратов-

ском университете. По окончании университета он вскоре был приглашён работать в Московском университете; накануне второй мировой войны представил кандидатскую диссертацию о ранних литературных взглядах Ф. М. Достоевского. Война прервала начатую научную работу, а после окончания войны Гришин оказался за границей.

С 1952 г. он до самой смерти в 1975 году жил в Австралии и работал в русском отделении Мельбурнского университета. В 1957 г. он получил степень доктора философии за диссертацию о "Дневнике писателя" Ф. М. Достоевского. В университете он был лектором русского языка и литературы, и в конце жизни получил звание "Ридера", что в Америке соответствует получению Associate Professor. Он вёл курсы по русской литературе XIX века и организовал для студентов Чеховское общество, что по существу было семинаром по русской литературе.

Главными научными произведениями Д. В. Гришина были четыре книги о Достоевском. Свою диссертацию Гришин переработал в книгу, обратив особенное внимание на участие Достоевского в революционном кружке Петрашевского и разрешая вопрос, был ли Достоевский революционером и в какой мере (1966 г.) Позже Гришин выпустил книгу "Достоевский, человек, писатель, и мифы". В Париже была издана его книга "Афоризмы и высказывания Достоевского" (1975 г.). Подготовил он еще одну книгу, которая сейчас, после его смерти, скоро выйдет из печати: "Ранний Достоевский", где Гришин разбирает литературные произведения писателя до его ссылки. В журналах Австралии и Новой Зеландии Гришин напечатал много статей по вопросам русской литературы. Печатать по-русски в Австралии было трудно, а потому автор обращался для этой цели в славянские страны, как Польша или Чехия. Некоторые его статьи были напечатаны там отдельными изданиями.

В Австралии каждые два года устраиваются литературные конгрессы университетских преподавателей иностранных языков и литератур, и Гришин был деятельным участником таких конгрессов. Он также читал доклады на пятилетних съездах славистов в разных европейских странах. Он участвовал в создании международной ассоциации по изучению Достоевского

в Европе и Америке. Был председателем на двух конференциях такой ассоциации.

Димитрий Владимирович Гришин оставил значительное литературное наследство. Как университетский преподаватель, Гришин был предан своей работе и умел вызвать интерес у своих студентов, а со своими сослуживцами был всегда в дружеских отношениях. Об этом свидетельствует Сборник, составленный ими и выходящий скоро из печати. До последнего дня жизни Д. В. работал в университете. Скончался Д. В. Гришин скоропостижно.

И. И. Гапанович

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ОБРАЗНОЕ АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ В МУЗЫКЕ

На недавнем интервью Эрих Лейнсдорф сказал: "Недостаточно знать произведение только с чисто музыкальной стороны. Дирижер должен прибегать к указаниям красочным и точным, которые в то же время способны вдохновить. Например, в эпизоде восхода солнца во Второй Сюите Дафнис и Хлоя Равеля я всегда требую от оркестра слепящей звучности и подчеркиваю: я не сказал оглушающей звучности. В течении многих лет я опасался делать экстра-музыкальные замечания", сказал маэстро улыбаясь, "но больше не боюсь этого. Я знаю, о чем я говорю. Это то, над чем я работаю, во что вникаю сегодня — значение, смысл музыки."

То, что музыкальные образы как то связываются с разнообразными явлениями реальной жизни и с внутренним состоянием человека, было известно давно. Этот факт привлек внимание Рэнэ Декарта ("Компендиум музыки", 1618). Гектор Берлиоз заметил этот феномен: в то время, как композитор средствами музыки во всей ее сложности (мелодия, гармония, метро-ритм, структура и т. п.) обращается к слуху слушателя, у последнего могут возникать ощущения, которые обычно возникают лишь при стимуляции других органов чувств, а именно ощущения темноты, света, теплоты, холода, различные цветовые представления и т. п. Мы ощущаем холод, слушая среднюю часть "Шествия гномов" Эдварда Грига или Вступление к опере Римского-Корсакова "Снегурочка". Это ощущение вызвано особенностями гармонии и структуры (интервалы) и, как во втором примере, оркестровкой.

Гуго Лейхтентритт ("Анализ фортепианных произведений Шопена") говорит о "волшебном эффекте", производимом внезапным сдвигом

ладо-тональности в до диэз мажор в заключительной части Восьмого Ноктюрна Шопена (оп. 27 №1): "Звезды появляются на темном ночном небосклоне". В фигуральном сопровождении следующего Ноктюрна (оп. 27 № 2) он видит мерцание и блеск слегка зыблящейся воды, отражающей лунный свет".

Хотя музыка протекает во времени, многие ее элементы, высотные соотношения звуков, мелодический рисунок, полифония и др., вызывают пространственные ощущения.

Мне известны случаи, когда люди, независимо друг от друга, после прослушивания ре-минорной сонаты Бетховена говорили, что эта музыка вызывает в их представлении образ бурного океана.

До какой степени подобные ассоциации могут совпадать, указывают два примечательных примера.

Несколько лет назад один из моих студентов, обсуждая восьмую сонату Прокофьева, указывал, что в разработке этой сонаты, две страницы перед репризой вызывают в нем представление "картины трагического разрушения". Меня это поразило потому, что незадолго до того я прочитал в журнале "Советская музыка", что Святослав Рихтер почти жаловался инженеру звукозаписи, что исполняя эту сонату он не может отделаться в этом месте от назойливого образа опустошенного пространства, поломанных телеграфных столбов, спущенных проводов.

Другой пример, пример еще более точного совпадения. Этот же самый студент говорил мне, что исполняя начало Третьей Баллады Шопена он часто представляет себе образ распускающегося цветка. Много лет это начало связано в моем представлении с цветком, раскрывающимся их бутона. Это видение настолько живо и сильно, что я почти ощущаю запах цветка, исполняя вторую фразу, третий такт Баллады.

Феномен, о котором идет речь, касается функциональных связей центральной нервной системы. Современная наука, физиология высшей нервной деятельности человека, дает нам объяснение феномена ассоциативного мышления. Дело в том, что анализаторы* воспринимающих

* Анализатором называется нервный механизм, который осуществляет связь живого существа с действительностью. Он состоит из 1) периферического конца (ухо, глаз и т.д.), трансформирующего внешнюю энергию в нервный процесс, 2) передаточной инстанции — афферентного нерва и 3) мозгового конца, рецепторных клеток центрального органа, в которых полученная стимуляция разлагается на элементы.

органов являются взаимно связанными таким образом, что раздражение одного анализатора вызывает функцию другого. Эти связи проявляются у одних лиц сильнее, у других — слабее.

Таким образом открываются новые перспективы в области изучения природы ассоциативного мышления в музыке. Ясно значение такого изучения для понимания сложного динамического процесса музыкального творчества, исполнения и восприятия.

Однажды на показательном уроке я привел как пример Тридцать две Вариации в до-миноре Бетховена. Если пианист будет играть 22-ую вариацию форте и последующую пианиссимо, как указано автором, это будет, конечно, вполне правильно. Но если, исполняя эти две вариации, он будет иметь яркое представление тяжелых, энергичных шагов, приближающихся к пропасти, внезапную остановку перед обрывом, и внизу темную глубину — эффект от его исполнения будет совершенно иным, значительно более впечатляющим.

Как часто не только словесные описания (как например "царапнуть ухо" каким нибудь украшением — мордентом, группетто), но и жест, движения тела и т. п. могут помочь передать студенту понимание, как тот или иной пассаж должен звучать. Репетируя "Море" Дебюсси Артуро Тосканини никак не мог добиться от оркестра желаемой звучности. Ни слова, ни пение не помогали. Тогда дирижер вынул носовой платок, и бросил его высоко. Платок падал паря в воздухе. Музыкантам моментально стало ясно, что Тосканини хотел, и соответствующее место было исполнено к его полному удовлетворению.

Вдохновение высшего порядка, богатство образных ассоциаций является решающим фактором в выдающемся исполнении. Взывая к воображению студента (вспомним постоянный призыв Клары Шуманн — "образные видения, побольше образного видения!") мы развиваем в нем способности к ассоциативному образному мышлению, которое обогащает его исполнение. Но не надо забывать, что ассоциативное мышление в музыке очень субъективное, глубоко интимное переживание. Обращаться с ним надо крайне осторожно. Иногда оно не может быть высказано и разделено с другими лицами. И часто, выраженное словесно, может перейти границы хорошего вкуса. Точный словесный "перевод" музыкальных впечатлений, которые всегда несколько неопределены, туманны, может быть очень рискованным делом.

Хотя музыка может вызывать цветовые ощущения (явление так называемого "цветного слуха"), эксперименты в синтезировании слухо-

вых и зрительных, цветовых ощущений (А. Скрябин и последующие эксперименты) нельзя признать удачными. И это по трем веским основаниям: 1) соотношение тональности и представления цвета крайне субъективно и не совпадает у разных лиц, 2) восприятие многообразной музыкальной фактуры очень сложно в противоположность простоте более примитивного восприятия цвета, и 3) физиологически восприятие одним анализатором (зрительным) препятствует восприятию другим (слуховым) и таким образом затрудняет процесс слушания и восприятия музыки.

Георгий Кочевицкий.

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ

(Письмо в редакцию)

Раз уже сама редакция "Нового Журнала" (№ 125) призывает к дискуссии о статье И. А. Мацкевича, сем-ка и я что-то попробую сказать о тактике борьбы с коммунизмом. Но начну издалека. Сам Фома Аквинский писал, что хотя власть короля законна, но могут быть такие короли — тираны, и такие обстоятельства, которые оправдывают восстание народа. А восстание никак без крови и жертв не может произойти.

Говорил я недавно с одним сведущим леводумным профессором. Он и спросил: "Сколько, вы полагаете, в Союзе (СССР) настоящих диссидентов?". Я ответил: тысячи три-четыре. "Ну-с, — продолжил мой собеседник, а сколько было активных диссидентов, всех мастей революционеров, будирующих явно и т.д. в Российской Империи, скажем, в 1916 году?". Задумался я, грешный. — Да тысяч пятьсот. — "То-то же! — заметил леводумный, — этим я и объясняю отказ Солженицына от вооруженной борьбы".

Другой пример. Совсем недавно член Квебекского правительства гремел против англофонов и федералистов. И вот, бывший на собрании редактор газеты "Сабурбан" ("Suburban") в Монреале был поражен реакцией аудитории, — главным образом, прекрасного пола. Ни острых, ни толковых вопросов, ни язвительного замечания. Все, как овечки, приняли и правду и неправду секретаря министра культуры. И

дивился редактор: Видите, нет ни мужества, ни силы сопротивляться. Не было и принципиальности: если всегда была-де ужасна дискриминация, неравенство в Квебеке, то почему же дискриминация в самом федеральном правительстве, где и четверти нет англофонов (англичан), а их в стране втрое больше, чем французов!? Нет, все головы опустили и ни гу-гу, ни тпру, ни ну. Идеи идеями, правда — правдой, а нет волевого импульса и ничего нет, захлестнет волна "нового класса", о котором первый писал не М. Джилас, а Д. Летич. Суть же в слабоволии и слабо-мыслии.

Ответ же по-моему, один: всегда и везде бороться *всеми* средствами против дьявольщины коммунизма. И существуют в разные моменты разные возможности. Принцип же несопротивления злу силой давно прекрасно осмеял проф. И. А. Ильин. И верю: и мечом, и крестом, и пестом, и пером надо вести борьбу. Да, кто чем может, кто чем хочет. Все в силе волевого хотения. А если его нет, если кругом: "С одной стороны нельзя же сознаться, а с другой нельзя же и не признаться" — дело гиблое. Или — или, третьего нет! Можно, очень можно избежать всегда войны, т.е. свободно, не противясь, идти в рабство. Кстати, именно к рабству идет самая ровная и гладкая дорога — тут ни сучочка, ни задоринки!

P. Плетнев

ОТ РЕДАКЦИИ

К нашему сожалению, проф. Л.Д. Ржевский из-за своей перегруженности литературной работой не может больше работать в редколлегии. Но, конечно, остается другом журнала и его постоянным сотрудником.

БИБЛИОГРАФИЯ

**ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ, ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ, т. 1,
Имка-пресс, 1976, стр. 250.**

Книга Л. К Чуковской делает нас свидетелями страшного духовного поединка, который систематически, изо дня в день ведет государство полицейской идеологии и идеологизированной полиции — с человеком, поэтом, женщиной. Снаряды-аресты всё ближе. Но Ахматова или "ровна, спокойна, грустна" (стр. 188), или "белые глаза и синие губы" (стр. 179), или "Уже несколько раз, в другие мои посещения, когда А.А. провожала меня..." или в минуты длинных её молчаний среди разговора — мне слышалось... "Лёва!" — повторяла она одним дыханием. Даже не звук — тень звука, стона или зова..." (стр. 143), Ахматова — "В старом макинтоше, в нелепой старой шляпе... в стоптанных туфлях — статная, с прекрасным лицом..." (стр. 28).

В этой документальной и написанной с большим тактом книге различимы два "метода" воздействия тоталитарной среды на Ахматову: метод прямого давления — травли, шантажа, надругательства над материнскими чувствами, и метод совращения на обмежанивание, на бытовое приспособленчество.

Будни Ахматовой настолько жутки, что порой кажутся воплощением чьей-то бесовской фантазии — "Вечером... уснешь, а утром увидишь, что тебе за ночь руку или ногу отъели" (стр. 167). Она ската со всех сторон слежкой, физической нищетой не в риторическом, а буквальном смысле, будничной пошлостью и хамством своих соседей по коммунальной квартире, включая своего бывшего мужа Н.Н. Пунина. "Шаги и пластинки за стеной... ежеминутные унижения" (стр. 59), "Обратила день в ночь, и ей, конечно, от этого плохо. К тому же ничего

не ест. Да и ничего не налажено" (стр. 64), "Н.Н... раздраженный, злой... Он скуп. Слышно, как кричит в коридоре: "Слишком много людей у нас обедает". А это всё родные... Когда-то за столом он произнёс такую фразу: "Масло только для Иры". Это было при моём Лёвшке. Мальчик не знал, куда глаза девать" (стр. 45), но "он (Н.Н.) человек, профессор, а я кто? Падаль" — говорит Ахматова (стр. 76).

Среди всего этого кошмара общение урывками между Анной Андреевной и Л.К. Чуковской, собственно, и составляющее содержание книги — поистине "пир" духа во время большевицкой чумы, оно совершенно иного "дыхания", иной душевной повадки, чем окружающие предательства, "общая свалка" (стр. 142). И дело не только в содержании их разговоров, в проявляющейся в них "тоске по мировой культуре" и даже не в чтении стихов вслух, а в том, что в эти остановившиеся мгновения их подсоветской жизни их сердца были открыты "в немом привете" и в этом мире в них торжествовала честность, абсолютное бескорыстие, человеческое достоинство, доброта без сентиментальности, просветлённость душ.

Интересны наблюдения Чуковской над "антипрофессионалистскими" настроениями А.А. "... мне всё равно, как кто относится к моим стихам" (стр. 164), "мне нисколько не мешает, если человек не любит моих стихов" (стр. 91), "... профессиональных болезней во мне нет... И знаете почему? Я *не литератор*" (разрядка моя. В.З.) (стр. 92). И еще — "Видели ли вы когда-нибудь поэта, который так равнодушно относился бы к своим стихам?" (стр. 51). Если к этому добавить отсутствие с её стороны внимания к датам стихов и к пунктуации в стихотворении, о чём во многих местах книги свидетельствует Чуковская, то приходит мысль, что вообще поэт даже в самом высоком смысле — не последняя глубина личности Ахматовой. Повидимому, для А.А. поэзия с годами всё более и более становилась средством для выражения мистических состояний, проявлением её сокровенной связи с бытием. С годами способность переживать мистические состояния необычайно усиливалась в Ахматовой, вызовя к жизни цикл "Тайны ремесла" (что, конечно же, не о тайнах ремесла, а о том, как человек попадает в мистическое облако, выходит из него, и как всё это остаётся в памяти его души) и многие стихотворения, которые А.А. писала в 60-70-летнем возрасте.

Вообще, "великую четвёрку" — Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Цветаева — можно рассмотреть не искусствоведчески, а фило-

софско-психологически, интерпретируя их поэтические индивидуальности как выражение их духовных индивидуальностей. Пастернак и Цветаева тогда — чудотворцы Логоса, в них Логос творит чудеса, парадоксальной образностью и мощью сопоставлений конструируя в их поэзии более целокупный, чем в данной извне реальности, мир. Мандельштам же и Ахматова — мистики Логоса. И стихи их не магические, а мистические. Соприкасаясь с тою бездонностью, с тем Ungrund-ом, который был и до Слова, они воспроизводят в своей душе Его рождение, приобщая нас к великому таинству Воплощения. В Пастернаке и Цветаевой дух строит, в Мандельштаме и Ахматовой рождается, обретается, дышит.

Именно в силу того, что поэзия в Ахматовой всё более и более по мере лет вытекает из мистики, её "приобретённый профессионализм" не вооружает её, мастерство, владение техникой версификации, техническое владение языком не даёт ей ничего: "Я решилась спросить у неё сейчас, после стольких лет работы, когда она пишет новое — чувствует она за собой свою вооружённость, свой опыт, свой уже пройденный путь? Или это каждый раз — шаг в неизвестность, риск? — Голый человек на голой земле. Каждый раз." — ответила Ахматова (стр. 115). И далее — "Слушаешь, и кажется, будто, нету слов, размеров, ритмов, рифм, а просто — просто! — говорит сама душа, минуя форму, сама собой, чудом." (стр. 176). Но ведь именно так говорят миру святые.

"Писать надо только о том, что любишь" — говорила Ахматова (стр. 62). И любила она не только людей, детей, предметы, слова, книги, природу, но и тайну, ту тайну, которая есть последняя глубина всего на свете.

И голос вечности зовёт
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье лёгкий месяц льёт.

В этих строках вечность и временность, потустороннее и посюстороннее, бытие и прозябанье смыкаются в личном существовании человека, обретая ту непринуждённую гармонию, которую ощущаешь в лучших мистических стихах А.С. Пушкина.

В заключение хочется поблагодарить Л.К. Чуковскую не только за этот ценнейший документ о жизни и личности А.А. Ахматовой — за эту книгу "о мужестве, женственности, о воле, о постоянном ощущении себя и своей судьбы внутри русской культуры, внутри человеческой и рус-

ской истории..." (стр. 116) и, добавим, внутри мировой духовно-мистической традиции, но и за то, что на протяжении описанных в книге лет она была вместе с Анной Андреевной, будучи для неё душевной и моральной поддержкой.

В. Зубов.

OPERATION KEELHAUL. THE STORY OF FORCED REPARATION FROM 1944 TO THE PRESENT. BY JULIUS EPSTEIN. The Devin-Adair Company. 255 pages.

Профессор Джулиус Эпштейн — историк, журналист, знаток международного права, бескомпромиссный противник насильтственной репатриации. Свою книгу о бесчеловечной выдаче множества людей на расправу коммунистам он писал почти двадцать лет. Все изложенное в книге основано на фактах и многочисленных документах. Использованная им библиография обширна: 72 книги, 130 статей разных авторов на многих языках, 60 своих собственных статей, 17 американских и британских официальных документов, тексты шести международных соглашений о военнопленных.

Опираясь на положения международного права, Эпштейн неопровержимо доказывает преступность насильтственной репатриации. Впрочем, и сами виновники насильтственной репатриации отдавали себе полный отчет в творившемся их руками. Неспроста они назвали ее килеванием, тем ужасным наказанием, которому когда-то подвергались голландские и английские матросы.

В первой главе "Операция килевания в 1970 году" Эпштейн отмечает выдачу американской береговой стражей радиста Симаса Кудирки, бежавшего с советского корабля и просившего о предоставлении ему политического убежища в США.

Эпштейн пишет, что как Гаагские конвенции 1899 и 1907 г.г., так и Женевские конвенции 1929 и 1949 г.г. не признавали насилия при репатриации военнопленных. Женевские конвенции требовали гуманного обращения с военнопленными и защиты их "от актов насилия, оскорблений и постороннего любопытства". Конвенции также воспрещали применение репрессий против военнопленных.

Эпштейн подчеркивает, что Советская Россия в своих двадцати

семи международных соглашениях 1918-1921 г.г. признавала принцип добровольной депатриации военнопленных и гражданских лиц.

Но во время Второй мировой войны эти гуманные принципы были забыты. Западные союзники пошли навстречу требованиям Сталина, знаяшего, что многие военнопленные, огульно объявленные в СССР дезертирами и предателями, не захотят возвращаться на советскую родину. Предвидя нарождение новой многочисленной политической эмиграции, Сталин заблаговременно вступил в переговоры с западными союзниками.

26 сентября 1944 г. британские военные власти вручили американскому военному министерству меморандум о секретном соглашении с СССР о выдаче советских военнопленных, захваченных в немецкой форме и содержавшихся в британских лагерях. Американские власти приняли это сообщение как естественное и не возражали против насильственной депатриации. Это было прелюдией к печально знаменитому соглашению в Ялте 11 февраля 1945 г., под которым поставили свои подписи американский генерал Джон Дин и советский генерал Грызлов.

Эпштейн указывает на то, что в тексте ялтинского соглашения не было прямого требования применять силу. Тем не менее, западные военные власти, в том числе и главнокомандующий союзными силами генерал Айзенхауэр, понимали депатриацию как обязательную.

Сдаваясь американцам, генерал А.А. Власов заявил, что РОА — прежде всего политическая организация, противостоящая коммунистическому строю. Его аргументация была отвергнута, и выдача Сталину большей части РОА была первым крупным актом насильственной депатриации. За этой выдачей последовали другие — из лагерей для перемещенных лиц.

Особенно жестокими были англичане, действовавшие с ведома премьер-министра У. Черчилля. Кошмар Лиенца в конце мая 1945 года, выпавший на долю казаков, не желавших возвращаться под власть Сталина, вызвал возмущение во многих странах свободного мира. Не взирая на протесты, военные власти продолжали применять силу при депатриации. Англичане выдали СССР даже старых русских эмигрантов, совсем не подпадавших под ялтинское соглашение. Выдавались не только военнопленные, но и гражданские лица, женщины и дети.

Как пишет Эпштейн, к осени 1945 г. свыше пяти миллионов человек были депатриированы военными властями западных стран. Из них очень многие — против собственного желания.

БИБЛИОГРАФИЯ

В феврале 1946 г. американские власти выдали Сталину около трех тысяч власовцев, содержавшихся в лагере Платтлинг. Эта выдача тем более ужасна, что к тому моменту многим американцам стало ясно политическое лицо власовцев, как идейных и убежденных противников коммунизма. Но холодная война еще по-настоящему не развернулась, и союзники продолжали ублажать "доброго дядю Джо".

В связи с заключением мирного договора с Австрией в 1955 году, нависла опасность выдачи Сталину тридцати тысяч бывших советских граждан, живших в лагерях на австрийской территории. С большим трудом удалось западным странам добиться исключения из текста договора обширной 16-й статьи, требовавшей депатриации бывших советских граждан.

Впоследствии австрийские власти продолжали насиливо депатрировать беженцев, подменяя их политический статус статусом экономическим.

Ублажали не только Сталина, но и Тито. Многие тысячи беглецов из Югославии, как "экономические", возвращались насильственно австрийскими, а также и итальянскими властями в пятидесятых годах — при молчаливом согласии США, поддерживавших Тито в противовес Сталину. Да и до сих пор беглецы из красного Китая возвращаются обратно британскими властями Гонг-Конга.

Эпштейн отмечает выступления противников насилиственной депатриации. Твердо отстаивал принципы Женевских конвенций заместитель государственного секретаря США Джозеф Гру; генерал А.И. Деникин и бывший глава Временного правительства А.Ф. Керенский письменно обращались к генералу Айзенхауеру; протестовали Юджин-Лайонс и многие видные журналисты свободного мира, потерявшие жестокостями военных властей Запада.

Эпштейн не только описывает многочисленные случаи насилиственной депатриации. Ценнее всего его неутомимая и упорная борьба за раскрытие всех тайн насилиственной депатриации. Много раз он обращался к военным властям и Конгрессу США с просьбой опубликовать секретные документы и всякий раз встречал решительный отказ. В апреле 1954 г. в хранилище исторических документов в Александрии (Вирджиния) ему удалось обнаружить в каталоге карточку "383.7-14.1 — *Forcible Repatriation of Displaced citizens — Operation Keelhaul*". В просьбе дать ему этот документ для ознакомления было отказано. И поныне этот документ остается за семью печатями, несмотря на то, что

его опубликование, в соответствии с разпоряжением президента Айзенхауера № 10501 и распоряжением президента Кеннеди № 10964, не может причинить никакого вреда обороне США.

Предложенная по совету Эпштейна резолюция конгрессмена Альберта Боса об образовании специального комитета по расследованию насильтвенной депатриации в 1945-1947 г.г. трижды была положена под сукно Процедурным комитетом Палаты Представителей.

Опираясь на принятый Конгрессом в 1966 г. закон о свободе информации, Эпштейн в мае 1968 г. подал в суд на министра сухопутных сил США Резора, требуя от него опубликования бумаг о килевании. Но федеральный судья в Сан-Франциско Оливер Картер стал на сторону военных и отказал Эпштейну в его требованиях.

Итак, килевание по-прежнему остается тайной военных, совершивших преступление против человечности и нарушивших международные конвенции о военнопленных.

Эпштейн объясняет это желанием оградить от неприятностей главных виновников насильтвенной депатриации.

По мнению Эпштейна, существующие положения международных соглашений не достаточны для защиты прав военнопленных. Поэтому, в главе 17-й, он предлагает свой проект "Международной конвенции против насильтвенной депатриации". В этом проекте, впервые опубликованном в 1956 году, предусматривается отсутствие каких-либо лазеек для насильтвенной депатриации. До сих пор этот проект остается только проектом. Его принятие цивилизованным миром было бы достойной наградой Эпштейну, как борцу за право человека на свободную жизнь в свободном мире.

Б. Прянишиников

ОЛЬГА АНСТЕЙ. "НА ЮРУ". 1976.

Книга стихов Ольги Анстей — оригинальный и характерный сплав душевных состояний, на пересечении памяти, преображенной опытом жизни и зрелого поэтического мастерства. Книга — результат богатого художественного опыта. Но одновременно в ней и опыт целого поколения. Художественный след единичной судьбы, судьбы, взятой преимущественно в лирическом ключе, в то же время — историчен.

Пройденный автором путь от конкретного исторического момента неотделим — это придаёт книге лирики своеобразную эпичность. Сборник "На юру" представляет собой некое единство, хотя и состоит из стихотворений, написанных в разное время и, так сказать, на разном фоне. Фон, в данном случае, очень важен. Киев — Бавария — Нью-Йорк — вот основные координаты книги. Именно в этих географических координатах закреплён психологический путь, пройдённый многими представителями того поколения, к которому принадлежит автор книги. Трагичность этого пути — характерна. Память всякого человека, тем более поэта — это огромная, неповторимая и неистребимая культурно-психологическая реальность, неотделимая от чувства родины. Читая стихи Ольги Анстей, припоминаешь и понимаешь, как звучали голоса Пастернака, Гумилёва, Мандельштама в советские тридцатые-сороковые годы. Стихи этих поэтов были аккомпанементом трагической эпохи, в которую довелось жить автору. В стихах Ольги Анстей — собственно, не воздействие одного поэта на другого, а кровное братство с поэтами, скреплённое единством судьбы. И даже в особо личной лирике поэта, можно сказать, в каждой строке слышится отзвук пути, пройдённого многими:

К твоим прикрытым ставням,
К барабанной шаткой дверце
В паломничестве давнем
Стоптало туфли сердце.

* * * * *

Узнать, как спиши, чем дышишь,
Что думаешь, что куришь,
Какую строчку пишешь,
Кого в глаза целуешь.

Но одновременно в эти строфы характерно и органично вплетена тема искусства, художественного осмыслиения жизни, свидетельства о жизни — через поэзию. Цельность книги чрезвычайно затрудняет чтение. Цельность эту жалко разбивать. В смысле цельности и особой трагической насыщенности особенно интересно стихотворение "Последний день", где упоминается о разрушении Андреевской церкви в Киеве. Эта церковь для автора книги символ детства и юности и, возможно, реальности еще более крупной (родина), из чего в целом

именно и возникает поэзия как большое искусство. В книге очень много удач, специально выделять их было бы странно — в творчестве такого поэта, как Ольга Анстей, они — норма. Великолепна концовка одного из лирических стихотворений:

Всё — как плакал, как сходил с ума,
Звал меня то кротко, то сердито —
Это Пенноликая сама,
Это наша мать Афродита!

Соединение обостренного лиризма с классичностью является одним из характерных признаков художественного почерка Ольги Анстей.

Сквозь город мой, бушующий дождём,
Я и автобус — оба вплавь идем.

* * * * *

Вон Ангел Дальних Странствий, родич рострам,
О постамент крылом черкает острым.

Петербург-Ленинград дан не только в своём реальном аспекте, но во всём богатстве своих ассоциаций. Ангелом Дальних Странствий вписана в стих судьба автора книги. Для творчества Ольги Анстей характерно религиозное осмысление своего пути. Много стихотворений посвящено дочери. Одно из самых ярких стихотворений этого цикла "У загадки нет разгадки..." заканчивается великолепной концовкой:

Угол локтя. Угол книги.
Свечка. Яблоко. Собака. —

и может служить примером художественной выразительности и экономии поэтических средств. Книга "На юру" — крупная удача автора.

Олег Ильинский.

"WAS KARL MARX A SATANIST" BY PASTOR RICHARD WURMBRAND. Diane Books Publishing Co. 1976. На русском языке издана миссией Jesus to the Communist World, Inc. Glendale, California.

В весьма кратком, но ярком и общедоступном очерке автор знакомит читателя с духовным и моральным обликом Маркса.

Главный тезис брошюры: первичной основой всей деятельности Маркса был его ожесточенный антитеизм. А социализм и коммунизм

были вторичными, подсобными идеями, взятыми им "на вооружение", как лучшее и надежное оружие для борьбы с Богом.

В детстве и ранней юности Маркс, сын евреев-христиан, был очень верующим. Первый письменный труд его назывался "Союз верующих со Христом". Но по поступлении в университет он превращается в воинствующего антитеиста. Маркс не был *атеистом*, т.е. человеком не верящим в существование Бога. Он по-прежнему верил, что Бог есть, но считал Его врагом своим и всю жизнь посвятил борьбе с Ним. Он даже верил, что борьба эта не пройдет безнаказанно для него. В стихотворении "Бледная Дева" он писал:

Небо я потерял,
Знаю это отлично.
Моя душа, когда-то верная Богу,
Осуждена идти в ад...

Маркс старался разрушить не Божие Бытие, а Его Божественность.

Многочисленными цитатами, в основном из коммунистических источников, Р. Вурмбранд доказывает, что первостепенность антитеизма в марксистской идеологии была воспринята всеми верными последователями Маркса. В 1871 году, во время коммунистического мятежа в Париже, коммунар Флоренс заявил: "Наш враг — Бог. Ненависть к Богу — начало мудрости". Для Ленина Бог тоже был главным врагом. И нынешние ком. вожди утверждают: "Мы боремся не против верующих и даже не против духовенства. Мы боремся против Бога, стараясь оторвать от Него верующих".

Ожесточенное озлобление против Бога, неизбежно привело Маркса к такому же озлоблению против окружавших его людей, против социальных классов (в том числе и "пролетариата"), наций и всего человечества. Одними из первых жертв поистине дьявольской ожесточенности Маркса были его дети. Две дочери и зять покончили самоубийством, а другие три ребенка умерли из-за общего расстройства семейной жизни.

Своих ближайших единомышленников он терпел только пока те покорно следовали за ним. Но и их в душе презирал и награждал презрительными кличками. Лассала называл еврейским негром, Либкнехта — быком. Одного Энгельса ценил высоко и то, может быть, лишь за то, что на протяжении жизни получил от него около 6 миллионов франков.

Проповедуя коммунистическое безденежное общество, Маркс знал

цену деньгам. За причитающиеся ему наследства цеплялся мертвый хваткой. Когда дядя его жены был при смерти, он написал Энгельсу: "Если эта собака умрет, я освобожусь от материальных затруднений". Энгельс ответил: "Поздравляю с болезнью человека, стоящего на пути к наследству". После смерти дяди Маркс пишет: "Какое счастье! Вчера мы получили известие о смерти дяди... Мы возможно даже получим больше, чем предполагали, если эта старая собака не завещала части своего имущества женшине, управлявшей его хозяйством". (Письмо Маркса к Энгельсу от 8 марта 1855г).

Борясь с Богом, он из человека, созданного по образу Божию, превратился в зверя, не знающего ни родственных чувств, ни уважения к человеку. И это человеконенавистничество неотступно сопутствует развитию и претворению в жизнь марксизма. Оно является тем ядом, который убил и изуродовал многие миллионы людей, а сотни миллионов сделал несчастными.

Борясь с Богом Маркс и марксисты, естественно, отвергают и тысячелетия существующую христианскую "шкалу ценностей", по которой каждый человек ценится прежде всего как носитель Духа Божия (Божией Искры), как неповторимая личность. Марксисты же стремятся угасить эту Искру и превратить человечество в стадо покорных животных. Р. Вурмбранд пишет:

"Марксизм является первой систематизированной и детально разработанной философией, которая опошила понятие — Человек. По Марксу главное в человеке — его желудок, который необходимо постоянно наполнять. Отсюда важнейшей для человека является забота об его экономической обеспеченности. Он работает для обеспечения своих материальных потребностей. Ради этого же вступает в социальное общение с людьми".

Понятно, почему Маркс избрал социализм, как оружие для богооборчества. Социализм заманчив своей вульгарной плотскостью, своим обоготовлением низших животных потребностей человека. Потакая плотским страстям, легче всего превратить людей из "рабов Божиих" в Его ненавистников. И, в то же время, оскотинив людей, лишив их свободолюбивой Искры Божией, легче держать человеческое стадо в повиновении.

По сути своей Маркс был прежде всего сатанистом, а потом уж социалистом и коммунистом. К сожалению, сатанизм — активный антитеизм — нынче мало кого волнует. Один "модерный" богослов

пишет о брошюре Вурмбранда: "Маркс может быть и занимался черной магией, но этого не стоит принимать в расчет. Все люди грешники, всех охватывают греховные помышления. Не стоит об этом волноваться".

Р. Вурмбранд ответил: "Это верно, что все люди грешники, но не все преступники... Преступления последователей коммунизма не имеют себе равных. Какая иная политическая система убила 60 миллионов человек в течение полутора столетий, как это случилось в СССР? А уничтожение других 60-ти миллионов в красном Китае? Надо различать степень греховности и преступности. Наивысшая преступность вытекает из наивысшего влияния сатанизма на основателя современного коммунизма. Грехи марксизма, как и нацизма, непомерно превосходят "норму". Они сатанистские".

И сейчас, "в борьбе за новые кадры марксистов", сатанизм играет первостепенную роль. Вурмбранд пишет: "проникновение марксизма в молодежную среду идет параллельно с проникновением сатанизма, хотя внешне их связь и не всегда бывает заметной".

Прочитав брошюру Р.Вурмбранда становится понятно: почему коммунисты так борются с религией. Потому что христианский идеализм и вера в Бога являются единственным лекарством, с помощью которого можно исцелить человечество.

С. Женук

А. В. БАДМАЕВ, ПРАКТИЧЕСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ СТАРОКАЛМЫЦКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. Элиста, 1971 г., 100 стр.

В деятельности калмыцких научных работников в Сов. Калмыкии наметился новый поворот. Они обратились к старым сочинениям, писанным старокалмыцким письмом.

Полвека уже прошло с того времени, как калмыки были оторваны от своего традиционного письма. В 1924 г. они перешли на русскую транскрипцию. В 1930 г. их перевели на латинский шрифт. А в 1938 г. вернули их на русский алфавит. И каждый раз издания новых или переиздания старых сочинений, учебников или произведений народного творчества проводили с учетом новых политических веяний в стране. Все это делалось по программе ЦК Партии и Коминтерна, в порядке развития социалистического духа у отсталых народов.

В этом месте я должен дать некоторое разъяснение.

Мой способ обозрения произведений, напечатанных в Сов. Союзе, вызывает острые возражения. Мне говорят, что в обозрение произведений научного характера нельзя вмешивать политику. Такая позиция кажется мне ошибочной. Она появилась под влиянием пропаганды советских агентов и просоветских попутчиков, которые угнездились в американских университетах. Их пропаганда заворожила американских ученых в такой степени, что они перестали замечать простой факт: в Сов. Союзе ничего не печатают без определенных политических мотивов, исходящих из одного центра и проводящихся под бдительным надзором специальных агентов. В Сов. Союзе науки находятся на поводу у коммунистов и обслуживаются в первую очередь надобности коммунистической партии и коммунистического государства, а потому исключать политический уклон в произведениях, выпущенных в Сов. Союзе, означает не видеть слона!

Новый этап у калмыков начался с 1968 года. В этом году они отпраздновали 320-тилетие существования ойратской письменности. В связи с этим они стали издавать старые сочинения, писанные старокалмыцким письмом.

Появление сочинений старокалмыцким письмом, повидимому, вызвало у калмыков большой интерес, но беда была в том, что среди калмыков почти не оказалось людей, владеющих своим старым письмом. Новые поколения калмыков, выросшие в условиях советского быта, были отчуждены от своего старого письма (по политическим мотивам). Теперь появилась потребность научить калмыков снова их старому письму и поэтому в 1971 году была издана книга А. В. Бадмаева "Практический самоучитель старокалмыцкой письменности".

В первой части своего труда Бадмаев знакомит читателя со знаками алфавита Зая-пандиты. Калмыцким авторам подобных трудов надо иметь в виду не только то, что было у нас в прошлом, но как наша письменность должна развиваться в будущем. Это может дать культурный прогресс калмыкам. Это означает, что им надо писать на основании прошлого, но с мыслью о будущем!

По моей мысли, Бадмаеву надо было сперва выяснить не число знаков в зая-пандитском алфавите, а фонетический состав современного калмыцкого языка. Этим он определил бы тот фундамент, на котором должно покончиться развитие нашего письма в будущем. Деление знаков

нашего алфавита на гласные, согласные и галик отличает его от европейских алфавитов. Галик знаки были введены для обозначения чуждых звуков, которые пришли в наш язык с переводом буддийской литературы с санскритского и тибетского языков.

Влияние санскритского и тибетского языков на развитие нашего языка можно считать законченным. В будущем нам следует ожидать влияние с запада, от западных народов и наплыв большого числа терминов из европейских языков, а потому нам надо подготовиться к этому заранее. Если мы составим галик знаки для звуков: в, п, ф, то этого будет вполне достаточно, чтобы мы могли справиться с выписыванием терминов из европейских языков на нашем письме.

Во второй части своего труда Бадмаев собрал тексты для чтения и переписывания, писанные старокалмыцким письмом. Это — хороший и правильный путь к изучению зая-пандитского шрифта. Он привел примеры из устного творчества нашего народа: пословицы, загадки, сказки, песни, мактальы, йералы, предание о победе ойратов над монголами, пролог из национального эпоса "Джангар" и письма ойратских ханов к русским официальным лицам.

Подбор текстов можно было бы признать вполне удовлетворительным, если бы автор не проводил сугубо советскую антирелигиозную политику включением в свою книгу бранных песен о калмыцком буддийском духовенстве. Это тем более неуместно, что калмыцкое буддийское духовенство в целом было уничтожено и калмыцкие хурулы закрыты по распоряжению советских властей.

Бадмаев весь материал для своего труда подготовил сам, собрал и собственноручно переписал. Это — похвальная работа, но с ней связано одно отрицательное явление. Маленькая халатность или невнимательность к работе проявляется в ряде ошибок, описок и искажений. В текстах книги Бадмаева встречаются часто ошибочно написанные слова, происхождение которых трудно установить: по вине ли самого Бадмаева они возникли или он списал их ранее ошибочно написанные.

Все это мелкие ошибки, но большое число мелких ошибок обременяет труд Бадмаева и умаляет его ценность. Можно только выразить пожелание, чтобы Бадмаев при переиздании своего труда постарался бы их устраниТЬ.

Содман Кульдинов

ШАУЛ ЧЕРНИХОВСКИЙ. СТИХИ И ИДИЛЛИИ. Изд. Библиотека "Алия". 1974. (206 стр.).

Шаул Черниховский (1875-1943) — крупный еврейский поэт последнего десятилетия девятнадцатого и первой четверти двадцатого века. Своими лучшими произведениями Черниховский завоевал себе прочное и видное место в истории еврейской литературы. Стихи Черниховского относятся к лучшим достижениям новой израильской поэзии. Наряду с Хаимом Нахманом Бяликом (1873-1934), Черниховский является одним из основоположников новой еврейской поэзии.

В своих стихах и идиллиях Шаул Черниховский является мастером поэтического пейзажа.

Луной очаровано, море
Колышется, словно во сне,
И шепчется ветер с листвою
В безмолвной ночной тишине.

Идиллии и сихи Шаула Черниховского отличаются большой лиричностью и жизнерадостностью. Эти качества поэзии поэта отчетливо выделяются в сборнике.

Черниховский как переводчик мировой литературы на иврит сыграл такую же роль как В. А. Жуковский в русской литературе. Как и Жуковский, Черниховский явился Колумбом для еврейской литературы. Черниховский указал на немецкую и английскую литературу. Он переводил баллады Шиллера и Гете. Он переводил древнегреческих писателей: Анакреонта, Гомера, Платона, Софокла и др. И если Жуковский в своих переводах осваивал предмет и передавал русским языкам иностранную поэзию так, как будто это была его собственная поэзия, то Черниховский-переводчик старался передать все точности оригинала: стихотворный размер, рифму, оттенок выражений и т.д.

Своими переводами мировой литературы, Черниховский не только "познакомил" современную еврейскую литературу с эпической поэзией, но и обогатил современный еврейский язык новыми словами и выражениями.

Обстоятельная вступительная статья профессора Льюиса Бернхардта ("Шаул Черниховский и возрождение поэзии на иврите") освещает литературные и общественно-жизненные пути Шаула Черниховского. Эта небольшая, но емкая статья служит канвой очерчивающей своеобразие личности и таланта этого замечательного

еврейского поэта. Биографические факты совмещаются с разбором особенностей художественного мастерства в главнейших поэмах и стихах поэта — от самых ранних и до последних. Статья профессора Л. Бернхардта помогает осмыслить значение литературного наследства поэта.

Профессор Бернхардт пишет, что "творчество Черниховского можно разделить на пять периодов, тесно связанных с его биографией". Для "Одесского периода" (1890-1899) характерно увлечение Черниховского "европейской поэзией и ее богатыми ритмами". Разбор второго — "Гейдельбергско — Лозаннского периода" (1899-1906) заключается замечанием Бернхардта о двух направлениях в поэзии Черниховского, "которые противоборствуют и примиряются друг с другом", а именно: лирико-сентиментальный стиль и эпический стиль. "Русский период" (1906-1922) Черниховского отличается его переводами. Поэт переводил на иврит художественные произведения из мировой литературы. Пишет Черниховский и прозу. Мастерство Черниховского заключается в его умении соединить еврейскую культуру с универсальной культурой. "Универсальная культура включает также культуру его родного народа с его мессианскими чаяниями, истоки которых лежат в религии", пишет по этому поводу Бернхардт. "Берлинский период" (1922-1931), как и его "Русский период" отличается великолепными переводами на иврит с английской, немецкой, французской и древнегреческой литератур. В эти годы, как и в предыдущие, Черниховский продолжает сочинять баллады, эпические поэмы и лирические стихотворения. "Палестинский период" (1931-1943) Черниховского был весьма плодотворным. Поэт становится активным деятелем в общественной и политической жизни Израиля (тогдашняя Палестина). В Палестине Черниховский продолжает писать поэзию и прозу.

Переводы стихов и идиллии Черниховского в этом сборнике сделаны в большинстве Владиславом Ходасевичем (1886-1939), Львом Яффе (1875-1948), Валерием Брюсовым, К. Липскеровым, О. Румером. Отчетный сборник стихов и идиллий Черниховского удался. Редактору этой книги, профессору Льюису Бернхардту, удалось дать ясную картину Черниховского-поэта. Вступительная статья и удачный выбор материала дают нам представление о жизни и творчестве Шаула Черниховского.

ВИКТОР РОБСМАН. "ПЕРСИДСКИЕ НОВЕЛЛЫ и другие рассказы," изд. "Посев", 1975. 152 стр.

Отчетная книга может с первого взгляда показаться очень обычным для нашего времени рассказом об удавшемся побеге из "социалистического рая" и о дальнейших злоключениях в, увы, мало гостеприимном для беглецов свободном мире. Действительно, стержень повествования состоит из рассказа, носящего характер большой автобиографичности, о первых шагах бывшего корреспондента "Известий" со своей молодой женой после перехода персидской границы, их первоначального интернирования, (в весьма примитивных условиях), дальнейшей жизни в Иране, еще раз поспешного бегства от советских войск, оккупировавших северный Иран во время 2-ой Мировой войны и "счастливого конца" — увода советских войск под давлением Запада.

В своих наблюдениях мало известного нам Ирана Виктор Робсман имел преимущество знания языка: окончил Московский Институт Востоковедения по персидскому языку.

На фоне повествования, выполненного в виде шести связанных между собой новелл, даются яркие описания быта и характера жителей Ирана, природы и условий страны. Как живые проходят перед читателем обитатели приграничного захолустья, солдаты, полицейские, местное начальство (перед которым расстилаются простые обыватели). Вот начальник пограничного поста: он, правда, спас беглецов от полицейского урядника, собиравшегося продать их обратно советским властям, но при расставанье этот начальник выклянчивает у них последние деньги под самым замечательным предлогом: "Зачем вам деньги? Ведь пока они у вас будут, их будут у вас выманивать...".

Эта книга не дневник счастливо окончившегося побега из СССР: она человеческий документ. Она говорит о человеке. Примитивные условия быта дают возможность автору показать человека более выпукло, чем, скажем, в причесанных и подстриженых условиях цивилизации. Автор показывает, как в человеке уживаются рядом хищник и альтруист. Те же самые солдаты и полицейские, которые выпрашивали у беглецов последние копейки, заботятся о них, об их родившемся в тюрьме ребенке, кормят и поят их — последнее в Иране существенно: там вода очень ценится!

Кстати, долгое содержание беглецов в тюрьмах было вызвано

желанием оградить их от очень длинных рук "родной власти" (времена меняются: увы! случай Засимова оказался совсем другим!).

Кажется, что злоключения беглецов кончаются: они освобождаются, муж получает работу в далекой провинции. У них есть хижина, они обзаводятся домашним хозяйством, разводят птицу... И вдруг нужно всё бросить и опять бежать: Красная Армия оккупирует страну. Тегеран защищен западными союзниками. Длинные руки Советов протягиваются к иранской нефти. Но Запад был тогда еще достаточно силен, чтобы сказать: "Руки прочь!", и страна освобождается.

Виктор Робсман пишет не как поверхностный наблюдатель, а как знаток страны — и сам незаметно проникается в своих новеллах духом Востока. Новеллы написаны очень живым и образным языком, — способом кинокадров. Это избавляет читателя от длиннотных описаний, но в то же самое время у читателя возникает ощущение полной зримости слова, что бывает в литературе не часто. Автор всё время держит читателя в состоянии неослабевающего интереса: "а что же будет дальше?...". Достоинства книги заключаются и в этом образном изложении, и в чувстве высокой гуманности, и в сообщении интересных фактов.

В книгу включены еще два рассказа из времен тяжелой русской были: "Современная история" — повесть о том, как может любить простая человеческая душа, и "Голодная смерть" (из сборника "Царство тымы"). Это — жуткий рассказ о смерти изголодавшейся девочки, набросившейся, как звереныш, на кусок хлеба и погибшей в мучениях от этого.

Яркая книга Виктора Робсмана читается с неослабевающим интересом.

Борис Нарциссов

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. "Зияющие Высоты". Изд. L'Age d'Homme, Лозанна, Швейцария, 1976 /561 стр./.

Этот номер был уже заверстан, когда мы получили книгу А.А. Зиновьева "Зияющие Высоты", изданную по-русски в Швейцарии. Это большой (561 стр. петитом) и замечательный труд об Ибанске, "никем не

населенном населенном пункте, которого нет в действительности". Увы, Ибанск очень напоминает Советский Союз.

Проф. А. Зиновьев (род. в 1922) — доктор философских наук, автор многих научных трудов, переведенных на иностранные языки. До последнего времени он работал в Московском ун-те имени Ломоносова. Сейчас как известно, из-за опубликования заграницей "Зияющих Высот" проф. А. Зиновьев лишен советской властью ученой степени и звания профессора (конечно, как "клеветник"). В ближайшей книге "Нового Журнала" мы дадим подробный отзыв об этом значительном труде А. Зиновьева, для написания и опубликования которого нужно было исключительное мужество.

Приведем хотя бы предисловие А. Зиновьева к его книге:

"Эта книга составлена из обрывков рукописи, найденных случайно, т. е. без ведома начальства, на недавно открывшейся и вскоре заброшенной мусорной свалке. На торжественном открытии свалки присутствовал Заведующий с расположенным в алфавитном порядке заместителями. Заведующий зачитал историческую речь, в которой заявил, что вековая мечта человечества вот-вот сбудется, т. к. на горизонте уже видны зияющие высоты социзма. Социзм есть вымышленный строй общества, который сложился бы, если бы в обществе индивиды совершали поступки друг по отношению к другу исключительно по социальным законам, но который на самом деле невозможен в силу ложности исходных допущений. Как всякая внеисторическая нелепость, социзм имеет свою ошибочную теорию и неправильную практику, но что здесь есть теория, и что есть практика, установить невозможно, как теоретически, так и практически. Ибанск есть никем не населенный населенный пункт, которого нет в действительности. А если бы он даже случайно был, он был бы чистым вымыслом. Во всяком случае, если он где-то возможен, то только не у нас, в Ибанске. Хотя описываемые в рукописи события и идеи являются, судя по всему, вымышленными, они представляют интерес как свидетельство ошибочных представлений древних предков ибанцев о человеке и человеческом обществе".

Никого поименно автор в своей книге не называет, но как указано в аннотации к книге — "Под прозрачными псевдонимами угадываются живые люди: Солженицын — Правдец, Евтушенко — Распашонка, Синявский — Двурушник, Галич — Певец и. т.д.".

ИЛЬЯ ЗИЛЬБЕРБЕРГ, "НЕОБХОДИМЫЙ РАЗГОВОР С СОЛЖЕНИЦЫНЫМ". Изд. автора, Англия, 1976 (188 стр.)

Эта книга прислана нам для отзыва. Но отзыва она не заслуживает. Она похожа на книгу Решетовской и на "биографию", написанную Давидом Бургом.

Р. Г.

Н. А. ДМИТРИЕВА. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ. Очерки. Выпуск I. От древнейших времён до 16-го века. Институт Истории Искусств Министерства Культуры СССР. Издательство "Искусство". Москва 1968. стр. 347

Н. А. ДМИТРИЕВА. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ. Очерки. Выпуск II. Северное Возрождение; страны Западной Европы 17-18 веков; Англия; Россия 18 века. Москва, "Искусство", 1975. стр. 343

Интерес к искусству в СССР большой и этим можно объяснить, что первый выпуск книги Н. Дмитриевой был издан в количестве 50 тысяч экземпляров, а второй уже в 100 тысяч экземпляров.

В специальном предисловии на суперобложке говорится, что в книгах предлагается "общий взгляд на историю искусства и очерки имеют целью не заменить собою полную, строго научную историю искусства, а лишь подвести к ней читателя." Особенно интересно дальнейшее замечание в предисловии, что "некоторые из имеющихся суждений и оценок, возможно, не во всем совпадают с общепринятыми и являются выражением точки зрения автора. Автор оставил за собой право на высказывание собственных мнений и вкусов, полагая что при восприятии искусства элемент личного отношения неизбежен."

Среди советских искусствоведов Н. А. Дмитриева не новичок, её перу принадлежат многие статьи по истории искусства. Упоминание в её книгах имени проф. Б. Р. Виппера даёт предположение, что она вышла из его школы, да и сам проводимый ею взгляд на искусство, как на особый акт познания, тождествен с взглядами проф. Б. Р. Виппера.

На все темы, затронутые Н. Дмитриевой в двух книгах, нет возможности откликнуться, я остановлюсь на обзоре русского искусства, но и другие главы читаются с большим интересом.

Н. Дмитриева считает, что древнее русское искусство не было ни ответвлением византийского, ни аналогией западно-европейского

искусства — у него был свой путь и его можно назвать искусством эпически былинного склада. По мнению Н. Дмитриевой "в русском искусстве средних веков нет острого драматизма, характерного для готики; русское искусство устойчиво в своей иконографии — как всякий эпос, оно дорожит целостностью старинного предания, в нем больше спокойствия и ясности. Светлые начала, заложенные в эпоху Киевской Руси, оказались стойкими. Если в готике образы святых и мучеников воплощают страдания и смуты настоящего, то в русском искусстве красной нитью проходит величавая народная сага, полная затаённых воспоминаний о славном прошлом, стойких надежд на победу добра, стремление к благообразию жизни."

Говорить о религиозной сущности икон и традициях церковных в СССР не полагается, и Н. Дмитрева принуждена свидетельствовать, что в иконе "многое идёт от русского сказочного фольклора", она даже вынуждена сказать, что "богословский сюжет "Троицы" Рублева сейчас уже (очевидно в СССР) мало кому известен". Приведу её описание этой иконы: "Это библейский миф о трех таинственных путниках, посетивших старца Авраама, чтобы возвестить ему о будущем рождении сына. Христианская догматика истолковывала этих путников-ангелов как три ипостаси единого Божества: Бог-Дух, Бог-Отец и Бог-Сын. Андрей Рублев изобразил их сокровенную беседу, протекающую как бы в молчании. Три кротких ангела легкими склонениями голов, легкими движениями рук предрешают будущую судьбу мира. Они предвидят печали, и жертвы, и крестный путь, но это находит высшее, конечное разрешение в умиротворяющей гармонии. Какая-то необыкновенная чистота излучается не только взорами ангелов, но и всем строем картины, её золотисто-голубой красочной гаммой и мягкостью силуэтов. Столь любимые нашими предками волнообразные и круговые ритмы здесь доведены до самого совершенного выражения: линии плывут и поют. Живопись становится почти музыкой, тема победы добра воспринимается музыкально."

Говоря о мастере Дионисии, Н. Дмитриева замечает, что в его иконе "Распятие" "ничто не говорит о страдании Христа, раскинутые руки кажутся широким жестом благословения. Нет ни крови, ни судорог... Ласкающая глаз, светлая и богатая гамма цветов начинает и довершает ощущение радости: Христос распят, но Он жив. Это песня, у которой заранее известен хороший конец, и потому мелодия исполнена бодрости, даже когда слова печальны".

"Может показаться, что слишком велик разрыв между средневековой русской культурой и новой, что почти нет общего между иконописью и живописью 19-го века, старым русским зодчеством и архитектурой современных городов, между "Словом о полку Игореве" и "Войной и миром" Толстого. Но такое суждение будет слишком поспешным. На всех крутых поворотах истории русская культура, расставаясь со своим прошлым, сохраняла его в глубинах духа. Оно продолжало жить в народных характерах и народных песнях, в думах Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Блока, в исканиях Толстого и Достоевского, в исторических прозрениях Сурикова, в пейзажах Левитана, в симфониях Чайковского, в картинах Врубеля, Периха, А. Васнецова, Петрова-Водкина. Если вслушаться и взглянуться в мелодии, интонации, краски, ритмы русских художников нового времени пристально, как всматриваются в воды глубокого озера, — то где-то на дне почудятся зарево пожаров и звон колоколов, алый стяг Георгия и тихие взоры ангелов Рублёва. И как бы потом ни углублялось и ни расширялось вширь озеро, — это в нем всегда останется в глубине."

К числу досадных недочётов издания надо отнести ужасающие красочные репродукции картин. В этом, конечно, никак нельзя винить автора книги, тут виновна типография в гор. Калинине, бывшей Твери, где книги печатались. Лучше бы не было совсем этих порочащих издание репродукций, а были бы только черно-белые репродукции.

Книги читаются с большим интересом и хочется вскоре видеть и третий выпуск, посвященный 19-му и 20-му векам.

E. Климов

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1977 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена на 1977 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков

**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

**THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025**

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня